ВЕСТНИК
МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

MOSCOW
UNIVERSITY
BULLETIN

Moscow University Bulletin

JOURNAL

founded in November 1946
by Moscow University Press

Series 9

PHILOLOGY

NUMBER THREE

MAY – JUNE

Published in 6 issues per year
on behalf of the Faculty of Philology
by Moscow University Press

Moscow University Press • 2018

Вестник Московского университета

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Основан в ноябре 1946 г.

Серия 9
ФИЛОЛОГИЯ

№ 3

МАЙ – ИЮНЬ

Выходит один раз в два месяца

Издательство Московского университета • 2018

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор — д. ф. н., проф. **М.Л. Ремнёва**
Зам. главного редактора по лингвистике — д. ф. н., проф. **И.М. Кобозева**
Зам. главного редактора по литературоведению — д. ф. н., проф. **В.М. Толмачев**
Отв. секретарь по лингвистике — д. ф. н., проф. **С.В. Князев**
Отв. секретарь по литературоведению — д. ф. н., проф. **Г.В. Зыкова**
Оргсекретарь — к. п. н., доц. **И.Э. Стрелец**
Выпускающий редактор англ. версии — к. ф. н., доц. **Д.С. Мухортов**

Члены редколлегии:

д. ф. н., проф. **О.В. Александрова**; к. ф. н., доц. **А.Е. Беликов**; д. ф. н., проф. **Т.Д. Венедиктова**; д. ф. н., проф. **Д.П. Ивинский**; д. ф. н., проф. **А.И. Изотов**; д. ф. н., проф. **С.И. Кормилов**; д. ф. н., проф. **Н.Т. Пахсарьян**; д. ф. н., проф. **Е.В. Петрухина**; д. ф. н., проф. **А.И. Солопов**; д. ф. н., проф. **С.Г. Татевосов**; д. ф. н., ст. науч. сотр. **О.Е. Фролова**

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

PhD, проф. **А. Аматуцци** (Италия, Туринский ун-т); PhD, проф. **М. Бёмиг** (Италия, Неаполитанский ун-т); PhD, проф., акад. **Р. Бентцингер** (Германия, Берлинский технический ун-т); PhD, проф. **Я. Вавжиньчик** (Польша, Варшавский ун-т); д. ф. н., проф. **А.Л. Верлинский** (Россия, СПбГУ); PhD, проф. **Ю. Вольф** (Германия, Марбургский ун-т, Ин-т немецкой филологии Средних веков); д. ф. н., проф. **А.А. Гугнин** (Беларусь, Полоцкий гос. ун-т); PhD, проф. **А. Лашре-Дюжур** (Франция, ун-т Западный Париж – Нантер); PhD, проф. **К. де Ландшир** (Бельгия, Антверпенский ун-т); д. ф. н., проф. **В.З. Демьянков** (Россия, ИЯ РАН); PhD, проф. **Дж. Дёйч-Корнблатт** (США, Ун-т Висконсина); д. ф. н., проф., чл.-корр. РАН **А.В. Дыбо** (Россия, ИЯ РАН); д. ф. н., проф. **В.И. Заботкина** (Россия, РГГУ); д. ф. н., проф. **Т.А. Золотова** (Россия, Марийский гос. ун-т); д. ф. н., проф. **О.Ю. Инькова-Манзотти** (Швейцария, Женевский ун-т); PhD, проф. **Т. Йованович** (Сербия, Белградский ун-т); PhD, проф. **М.К. Лейте** (Бразилия, ун-т Сан-Паулу); д. ф. н., проф. **Г.В. Медведева** (Россия, Иркутский гос. ун-т); PhD, проф. **Б. Мирчевская-Бошева** (Македония, ун-т Свв. Кирилла и Мефодия в Скопье); PhD, проф. **Э. Моттирони** (Швейцария, Женевский ун-т); PhD, проф. **А. Мустайоки** (Финляндия, Хельсинкский ун-т); д. ф. н., **А.Л. Налепин** (Россия, ИМЛИ РАН); д. ф. н., проф. **Д.О. Немец-Игнашева** (США, Карлтон колледж); PhD, проф., акад. **Х.Г. Нессельрат** (Германия, Геттингенский ун-т); PhD, проф., акад. **Ж. Нива** (Франция, Европейская академия); PhD, проф. **А. Орландо Кавальере** (Бразилия, ун-т Сан-Паулу); PhD, проф. **Н.Ф. Палмер** (Великобритания, Оксфордский ун-т); д. ф. н., проф. **В.В. Полонский** (Россия, ИМЛИ РАН); PhD, проф. **Э. Раскини** (Франция, Эколь Нормаль); PhD, проф. **Дж. Робертс** (Великобритания, Лондонский ун-т); PhD, доц. **М. Ухлик** (Словения, ун-т Любляны); д. ф. н., проф. **С. Цэрэнчимэдийн** (Монголия, Монгольский гос. ун-т)

Редактор *И.В. Луканина*

Адрес редакции:
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 51, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический факультет, к. 902
Телефон: +7 495 939-53-80, +7 499 391-28-31. E-mail: edit@philol.msu.ru

Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ.
Свидетельство о регистрации № 016651 от 7 октября 1997 г.

Подписано в печать 25.06.2018. Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Ньютон.
Усл. печ. л. 17. Уч.-изд. л. 19,9. Тираж экз. Изд. № . Заказ №

Издательство Московского университета.
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 15 (ул. Академика Хохлова, 11).
Тел.: (495) 939-32-91; e-mail: secretary@msupress.com
Отдел реализации. Тел.: (495) 939-33-23, e-mail: zakaz@msupress.com

© Издательство Московского университета, 2018
© «Вестник Московского университета», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Статьи

Гуревич Д.Л. Метафоричность в семантике индихенизма в португальском языке Бразилии 9
Жолудева Л.И. Средства выражения деонтической модальности в итальянском языке XVI в.: dovere и avere da/a 25
Мухортов Д.С., *Цзи Сяосяо*. Metaphor Clustering in American Presidential Inaugurals: From George H.W. Bush to Donald Trump 39
Гимадеев И.Р. О происхождении и развитии слов *κόλλιξ* и *collyra* 73
Кофман А.Ф. Латиноамериканский негризм: обретение собственных смыслов 86
Новикова Н.К. Цикл монологов Роберта Браунинга «Кольцо и книга»: жанровое своеобразие и философия творчества 101
Скальная Ю.А. Египетская мифология в пьесе «Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу: взаимодействие текста и контекста 116
Дулина А.В. Телесное в прозе Г. Мелвилла (новеллы 1850-х годов) . . 128

К 150-летию М. Горького

Колобаева Л.А. И. Анненский о М. Горьком 140
Михайлова М.В. Символический код драматургии М. Горького (пьеса «Фальшивая монета») 152

Творчество Ш. Бронте и его рецепция: гендерные аспекты

Аникудимова Е.Н. Шарлотта Бронте alias Каррер Белл (о функции мужского псевдонима в женской прозе) 162
Сарана Н.В. Русская «Дженни Ир»: рецепция творчества Ш. Бронте в романе Ю.В. Жадовской «Женская история» 173

Рецензии

Кравченко А.В. Рецензия на кн.: К о ш е л е в А. Д. Очерки эволюционно-синтетической теории языка. М.: Издательский Дом ЯСК, 2017 182
Николаева Ю.В. Рецензия на кн.: Г р и ш и н а Е л е н а. Русская жестикуляция с лингвистической точки зрения. Корпусные исследования. М.: Издательский Дом «Языки славянской культуры», 2017. 194
Радбиль Т.Б. Рецензия на кн.: Ч е р н е й к о Л. О. Как рождается смысл: Смысловая структура художественного текста и лингвистические принципы ее моделирования. М.: Гнозис, 2017 199
Пахсарьян Н.Т. Рецензия на кн.: Г о л у б к о в А. В. Прециозность и галантная традиция во французской салонной литературе XVII в. М.: ИМЛИ, 2017 209
Мотеюнайте И.В. Рецензия на кн.: Н.С. Лесков в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, публ. воспоминаний

О.А. Фрибес, А.Е. Зарина и Е.И. Зариной, коммент. Л.И. Соболева; публ. фрагментов дневника С.И. Смирновой-Сазоновой и коммент. к ним Л.С. Даниловой и В.В. Соминой; предисл. А. Рančина. М.: Новое литературное обозрение, 2018. (Серия «Россия в мемуарах) 217

Научная жизнь

Добровольская В.Е., *Ипполитова А.Б.* IV Всероссийский конгресс фольклористов 222

Башко У.В., *Бурцева А.О.*, *Воробьева О.А.*, *Пастернак Е.А.* VII Международная конференция молодых исследователей «Текстология и литературный процесс» (МГУ, 15–17 марта 2018 г.) 228

Дулина А.В., *Черепанов Д.Д.* XI Международная научная конференция «XVIII век: смех и слезы в литературе и искусстве эпохи Просвещения» (МГУ, 22–24 марта 2018 г.) 237

Беликов А.Е. День науки на филологическом факультете — 2018 247

Архангельская А.В., *Пауткин А.А.* Научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Ф.И. Буслаева, на филологическом факультете МГУ 251

Стойнова Н.М. Первая российская конференция по вопросам преподавания фундаментальной и прикладной лингвистики. 256

CONTENTS

Articles

Gurevich, *D.L.* Semantic Imagery of Indigenismo in Brazilian Portuguese 9
Zholudeva, *L.I.* Deontic Modality in 16th-century Italian: dovere and avere da/a 25
Mukhortov, *D.S.*, *Ji Xiaoxiao.* Metaphor Clustering in American Presidential Inaugurals: From George H.W. Bush to Donald Trump 39
Gimadeyev, *I.R.* The Origins and Evolution of *κόλλιξ* and *collyra* 73
Kofman, *A.F.* Literary Negrism in Latin America: In Pursuit of a Sense of Identity 86
Novikova, *N.K.* Robert Browning's 'The Ring and The Book': Questions of Genre and Philosophy of Poetic Composition 101
Skalnaya, *Yu.A.* Egyptian Myths in George Bernard Shaw's 'Caesar and Cleopatra': The Text-Context Interplay 116
Dulina, *A.V.* The Corporeal in Herman Melville's Prose (Short Stories of the 1850s) 128

150th anniversary of Maxim Gorky

Kolobaeva, *L.A.* I. Annensky on M. Gorky 140
Mikhailova, *M.V.* The Symbolic Code of M. Gorky's Plays ('The Counterfeit Coin') 152

Charlotte Bronte's Literary Career and Its Reception: Gender Aspects

Anikudimova, *E.N.* Charlotte Bronte, alias Currer Bell (the role of a male pseudonym in women's prose) 162
Sarana, *N.V.* Russian Jane Eyre: An Echo of Charlotte Bronte in Yu.V. Zhadovskaya's Zhenskaya Istoriya ('The Story of a Woman') 173

Reviews

Kravchenko, *A.V.* Book Review: K o s h e l e v, A. D. Essays on the Evolutionary-Synthetic Theory of Language. M.: YaSK Publishing House, 2017 182
Nikolaeva, *Yu.V.* Book Review: G r i s h i n a E l e n a. Russian Gestures from a Linguistic Perspective. A collection of corpus studies. Moscow: Publishing House "Languages of Slavic Culture", 2017. 194
Radbil, *T.B.* Book Review: C h e r n e y k o, L. O. The Birth of Sense: The Semantic Structure of a Literary Text and Linguistic Principles of Semantic Structure Modelling. M.: Gnosis, 2017 199
Pakhsaryan, *N.T.* Book Review: G o l u b k o v, A. V. Affected Manners and the Galant Tradition in the 17th – century French Drawing-room Literature. M.: IMLI RAN edition, 2017 209
Motiejunaite, *I.V.* Book Review: N.S. Leskov in the Memoirs of Contemporaries / Ed. by O.A. Fribes, A.E. and E.I. Zarina, commentary

by L.I. Sobolev; L.S. Smirnova-Sazonova diary fragments publication and commenting by L.S. Danilova and V.V. Somina; preface by A. Ranchin. Moscow: New literary review, 2018. 832 p. (Series "Russia in memoirs") 217

Scientific Life

Dobrovolskaya, *E.V.*, *Ippolitova*, *A.B.* The 4th Russian Congress on Folk Research 222

Bashko, *U.V.*, *Burtseva*, *O.A.*, *Vorobyova*, *O.A.*, *Pasternak*, *E.A.* The 7th International Conference for Young Researchers 'Textology and Literary Process', Lomonosov Moscow State University, March 15–17, 2018 . . . 228

Dulina, *A.V.*, *Cherepanov*, *D.D.* The 11th International Scientific Conference 'The 18th Century: Laughter and Tears in the Literature and Arts of the Age of Enlightenment' (Lomonosov Moscow State University, March 22–24, 2018) 237

Belikov, *A.E.* Science Day at the Faculty of Philology — 2018. 247

Arkhangelskaia, *A.V.*, *Pautkin*, *A.A.* Conference dedicated to the 200th anniversary of F.I. Buslaev, at the Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University 251

Stoynova, *N.M.* The first Russian Conference on teaching Fundamental and Applied Linguistics 256

СТАТЬИ

Д.Л. Гуревич

МЕТАФОРИЧНОСТЬ В СЕМАНТИКЕ ИНДИХЕНИЗМА В ПОРТУГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ БРАЗИЛИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Бразильский вариант португальского языка противопоставлен пиренейскому по наличию как структурных, так и функциональных особенностей на всех уровнях языковой системы, что объясняется влиянием внешне- и внутрилингвистических причин. Наибольшими отличиями обладают уровень фонетики и лексики, причем последняя включает лексику романского и неромanского происхождения, в том числе индейские заимствования, представленные в количестве нескольких тысяч лексических единиц, встречающихся с разной степенью частотности. Индихенизмы[1], являющиеся частью лексического корпуса бразильского варианта португальского языка, входят как составная часть в более представительную лексическую подгруппу бразилизмов, отражающих национальные языковые особенности. Проблема семантической классификации индейских заимствований окончательно не решена. Принято считать, что индихенизмы, особенно имена нарицательные, относятся к ограниченному кругу понятий с четко выраженной предметной семантикой, так называемые слова-вещи (типа caju «орешки кешью», jaguar «ягуар» или capivara «капибара»). Для индихенизмов этого типа характерно наличие семантической аналогии между внутренней формой слова (если она прозрачна) или значением слова в языке-источнике (в большинстве случаев в языке тупи) и значением заимствованного слова в португальском. Собственно метафорическое употребление индихенизмов, которое связано с национально-культурной спецификой бразильского варианта, до сих пор не рассматривалось. В статье показана возможность устойчивого вхождения метафоризованных индихенизмов в состав

Гуревич Дмитрий Львович — кандидат филологических наук, доцент кафедры иберо-романского языкознания филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: caipira@yandex.ru).

[1] В данной работе мы используем термин «индихенизм», впервые введенный в отечественную филологическую традицию описания языков Латинской Америки Г.В. Степановым (1963), который использовал этот термин наряду с термином «индианизм» [Степанов, 1963: 48]. Позднее термин «индихеизм», понимаемый как лексическое заимствование из индейских языков, получил развитие в работах Н.М. Фирсовой, О.С. Чесноковой, Е.А. Плеуховой, О.А. Курчаткиной, В.В. Морено, Ю.А. Карасевой, М. Радович и др.

лексико-семантических групп, в частности анализируется метафорическое употребление индихенизмов, относящихся к лексико-семантической группе «простак; деревенщина», ядро которой преимущественно составляют также индихенизмы, что подтверждается их более высокой частотностью и широкой лексической сочетаемостью. Делается вывод о необходимости более детальной классификации индихенизмов с учетом их возможной метафоризации, неразрывно связанной с национально-культурной языковой спецификой.

Ключевые слова: португальский язык Бразилии; индихенизмы; лексико-семантическая группа; метафризация; оценочное значение.

1. Введение

Португальский язык Бразилии, как известно, отличается от других национальных вариантов португальского языка, прежде всего европейского, рядом фонетических, морфосинтаксических и лексических особенностей. Эти отличия объясняются как внешне-, так и внутрилингвистическими факторами.

К внешнелингвистическим можно отнести следующие: 1) суперстратность португальского языка и 2) влияние адстратных языков Африки. Суперстратность португальского по отношению к субстратным индейским языкам обусловило его бытование преимущественно в среде европейцев-колонистов, причем именно в среде городского или пригородного населения, включая местную администрацию, и как следствие, приводило к его ограниченному употреблению в течение первых веков колонизации Бразилии на фоне более распространенных языков, обобщенно называвшихся *lingua geral* и представлявших собой, собственно говоря, индейские койне [Mattos e Silva, 2004; Noll, Dietrich, 2016], на которых говорило не только индейское население, но и многочисленные потомки смешанных браков. Африканские адстраты (преимущественно группы банту), привнесенные в страну завезенными рабами и оставившими существенный след не только в лексике, но и в грамматике португальского языка Бразилии (что особенно заметно в неформальных регистрах речи), а также низкий уровень школьной грамотности вследствие слабого доступа даже к начальному образованию вплоть до второй половины XX в., все это повлекло за собой формирование специфической языковой ситуации в стране, где де-факто имеют место элементы диглоссии. В данном случае в ситуации диглоссии участвуют не португальский язык, противопоставленный индейским или африканским языкам, а две коммуникативные подсистемы одного и того же языка. Одна из них — это литературный португальский язык, мало отличающийся от пиренейской нормы и реализуемый преимущественно в письменной

сфере, вторая — разговорно-просторечная форма языка, характеризующаяся значительными морфологическими и синтаксическими модификациями, возникшими в силу как внутренних законов языкового варьирования, так и вследствие частичной креолизации.

К внутрилингвистическим факторам можно отнести некоторые тенденции португальского языка, которые после лингвистического разделения Португалии и Бразилии оказывали различное влияние на развитие языковых систем обоих национальных вариантов (например, тенденция к препозиции клитик в бразильском варианте на фоне тенденции к постпозиции в пиренейском, или тенденция к использованию форм единственного числа в ряде грамматических значений вместо форм множественного).

Наибольшие отличия в качественном отношении (т.е. в характере языкового материала) и в количественном отношении (т.е. в разнообразии языкового материала) между европейским и бразильским вариантами касаются фонетики и лексики как наиболее подвижных и подверженных вариативности уровней языковой системы. Если реализация морфосинтаксических (т.е. собственно грамматических) особенностей бразильского варианта или, наоборот, отказ от них в пользу более «универсальной» пиренейской модели во многом зависят от функционального стиля, регистра речи и не в последнюю очередь от устного или письменного характера речи, а также от образовательного уровня говорящего, то фонетические или лексические особенности проявляются «автоматически», независимо от лингвистической рефлексии говорящего и независимо от ситуации общения. Можно сказать, что «бразильская фонетика» и «бразильская лексика» — это константы данного национального варианта, а «бразильский морфосинтаксис», т.е. в традиционном понимании грамматика, — это вариативный компонент, реализация которого зависит от целого ряда социолингвистических факторов и причин функционально-стилистического характера.

Данная статья посвящена проблеме развития лексических значений некоторых широко употребительных индихенизмов.

2. Количественная характеристика индихенизмов

Лексический состав бразильского варианта представляет собой результат комплексного взаимодействия трех основных пластов лексики: индейского субстрата, собственно португальского языка европейских колонистов и африканского адстрата. Другие адстраты, например, итальянский, испанский и, позже, английский, не оказали системного влияния на складывание лексического корпуса, заимствованные из этих языков лексемы не многочисленны и,

главное, не образуют устойчивых лексико-семантических групп, объединенных по денотативному (понятийному) или по коннотативному (стилистически маркированному или прагматически значимому) признакам, в отличие от лексики, заимствованной из индейских или африканских языков. Основой лексического корпуса бразильского варианта является, естественно, лексика португальского языка, который понимается в данном случае как общий для всех лузофонов язык с единой надвариантной языковой системой и лексикой [Houiss, 1992; Lima Sobrinho, 2000], т.е. такой язык, который субъективно воспринимается носителями любого национального варианта как родной, хотя и имеющий некоторые отличия, а объективно входит в генетическую и типологическую классификации и противопоставлен как родственным, так и неродственным языкам по ряду известных параметров.

Очевидно, что такая надвариантная языковая система обладает рядом особенностей в каждом из национальных вариантов. Естественные для бразильского национального варианта модификации общепортугальского лексического корпуса носят традиционное название «бразилизмы» (по-португальски “brasileirismos”), они могут трактоваться по-разному, широко или узко, в зависимости от теоретических критериев. В узком смысле к бразилизмам, или в более широкой трактовке термина, — к американизмам — относятся лексемы целиком либо какие-то их значения, отсутствующие в других национальных вариантах данного языка [ср.: Houaiss, 2009: 324 (“brasileirismo”); Oliveira, 2002; Степанов, 1963; Фирсова, 2009]; в широком смысле — все аспекты лексико-семантического плана слова, включая коннотации, стилистическую и прагматическую нагрузку, стандартизованные вербальные реакции [Гуревич, 2016].

Отдельное место в ряду бразилизмов занимают индихенизмы, способные, как уже отмечалось, образовывать устойчивые ЛСГ. Подавляющее большинство индихенизмов является заимствованиями из языков тупи-гуарани, поскольку языки этой разветвленной семьи были наиболее распространены на обширных территориях будущей Бразилии, от Амазонии и Боливийской границы до Парагвая и Аргентины [Noll, Dietrich, 2016]. По разным оценкам, общая численность индейского населения к моменту начала колонизации составляла от 4,5 до 9 млн человек [Houaiss, 1992] или от 2 до 6 млн [Basso, Gonçalves, 2014] (для сравнения, по последней переписи 2010 г., количество индейского населения приближается к 800 тыс.); количество языков, преимущественно родственных, принадлежащих к группе тупи-гуарани восточной ветви семьи прото-тупи, оценивалось в 100–200 языков [Houaiss, 1992] или в 120–150 [Villar, 2000] (из них сохранились или хотя бы описаны несколько десятков

[Noll, Dietrich, 2016; Castilho, 2010]. По данным различных лексикографических источников, количество индихенизмов оценивается приблизительно в 2500–3500 лексем [Ferreira, 2010; Michaelis]. Общее число индихенизмов приближается, по оценке некоторых исследователей, к 10 тыс. [Noll, Dietrich, 2016], куда также включаются и топонимы, разбросанные практически по всей центральной и южной части Бразилии. Таким образом, с количественной точки зрения индейский компонент имеет определенный вес в языковой культуре Бразилии и представлен достаточно широко лексически, особенно если учесть ничтожную роль индейских языков и культур в современном бразильском обществе.

Принято считать [Houaiss, 1992: 71–72; Noll, Dietrich, 2016: 89–90; Nascentes, 1955: XXIX; Villar, 2000: 311; Степанов, 1963: 69–70; Фирсова, 2009], что в абсолютном большинстве случаев индихенизмы представляют собой существительные с предметным значением либо имена собственные. Как показывает наше исследование, это не совсем так.

3. Качественная характеристика индихенизмов

В лексико-семантическом отношении индихенизмы можно разделить на несколько групп.

К первой группе относятся имена собственные — топонимы и антропонимы, эта группа наиболее многочисленна. Среди более или менее известных топонимов можно назвать: город *Paraty* в штате Рио-де-Жанейро (от тупи *parati'y*, где *parati* — тип рыбы, *'y* — «река»); район и парк *Ibirapuera* в г. Сан-Паулу (от тупи *ybyrá* «дерево» + *pûer* «старый», т.е. «старые деревья»); район *Butantã* также в г. Сан-Паулу (от тупи *ybý* «земля; почва» + *atã-atã* «жесткий»); район *Ipanema* в г. Рио-де-Жанейро (от тупи *'y* «река» + *paném* «бесполезный», то есть «бесполезная река» (без рыбы)); река *Uruguai* (тупи *uruguá* «поворот воды» + *'y* «река»).

К антропонимам относятся имена собственные двух типов: исконные, т.е. восходящие к индейской языковой культуре, такие как *Maraíra* «любительница меда»; *Iaci* «Луна»; *Iara* «властительница вод»; *Kaique* «водоплавающая птица»; и искусственные, возникшие вследствие моды на все индейское под влиянием индианизма, в частности романов Жозе де Аленкара, таких как «Ubirajara», «Iracema» или «O guarani», это имена: *Iracema* («девушка, вышедшая из меда»), *Moacir* («рожденный от страданий [матери]»), *Ubirajara* («властелин копья»). Любопытно, что в период империи (1822–1889) бразильская знать получала от императора титулы по названию земель, носящих индейские названия: Barão de Baependi (от топонима тупи

mba'e pendi — «расчищенное место, лужайка»); Barão de Itambi (от топонима тупи *itã* «раковина» + *í* «диминутивный суффикс», то есть «раковинка»). Современная городская топонимика Бразилии отражает эту историко-лингвистическую особенность: улица Barão de Itambi (Рио-де-Жанейро); улица Barão de Abiaí (Сан-Паулу); улица Barão de Airuoca (Белу-Оризонти).

Внутренняя форма индихенизмов имен собственных, как правило, не важна для функционирования слова в португальском. Даже если она прозрачна (как в случае с именем Iracema — «девушка, вышедшая из меда»), она не предопределяет развитие коннотаций.

Ко второй группе относятся имена нарицательные, которые можно разделить на два принципиально разных подкласса, взяв в качестве критерия их противопоставления такой параметр, как метафоричность или неметафоричность появляющегося в португальском языке нового значения.

В первый подкласс входят индихенизмы-экзотизмы, так называемые слова-вещи, чье существование в языке обусловлено наличием соответствующего феномена материального мира, природного или рукотворного, не встречающегося или не встречавшегося ранее за пределами американского континента. Сюда включаются представители флоры и фауны: caju (тупи *akaju*)[2]; abacaxi (тупи *ïwaka'ti* «пахнущий фрукт», то же что и ananás «ананас»)[3]; guaraná (тупи *wara'ná* (одноименное растение и тонизирующий напиток, получаемый из его плодов); maracujá (тупи *moroku'ya* «маракуйа»); mandioca (тупи *mani'oka* «маниок»); capivara (тупи *kapi'i-gwár-a* букв. «трава-маркер принадлежности-падежный аффикс», т.е. «имеющий отношение к траве; живущий в траве»)[4], jaguar (тупи *jaguar* «ягуар»); jiboia (тупи '*y* «вода» + *mboi* «змея» + a «падежный аффикс», т.е. «змея, имеющая отношение к воде; водяная змея»)[5]. А также артефакты, это, как правило, связанные с бытом и кулинарией названия блюд или продуктов: tapioca (маниоковая мука, *typy'og* «отжимать сваренное, вы-

[2] Откуда англоязычное название орешков кешью в русском (ср. англ. *cashew*).

[3] Лексема abacaxi, как и лексема ananás, является заимствованием из тупи. В Бразилии большее распространение получила первая лексема, в испаноязычных странах Латинской Америки и в Португалии более распространена вторая лексема. Строго говоря, эти названия обозначают несколько отличающиеся между собой плоды [Noll, Dietrich, 2016: 64–65].

[4] Этимология *capivara* трактуется в источниках по-разному: лексикографические источники, созданные в середине — второй половине XX в. и переиздаваемые до сих пор, возводят его к сочетанию *kapii 'gwara*, где ka'pii «трава» + 'gwara «поедатель» [ср. Houaiss, Villar, 2009; Ferreira, (1986) 2010; Cunha, 1982; Nascentes, 1966]. Современные исследования, на которые мы также опирались, предлагают этимологию с учетом грамматической структуры слова в языке тупи и правил словосложения, что представляется более убедительным [Noll, Dietrich, 2016: 91; Rodrigues, 2011].

[5] См. [Noll, Dietrich, 2016: 92].

сушивать сваренное»); tucupi (соус из вареной и натертой маниоки, *tyku-pyr* «отжимать жидкость»); mingau (каша из злаков, от *mi-ka'u* «то, что едят; съедобное»).

Характерной особенностью индихенизмов данного типа является часто встречающаяся полная идентичность либо близость значения в языке-источнике и в современном португальском языке (типа jaguar (идентичность) или guaraná (близость: «ягода» → «тонизирующий напиток из этих ягод»). Метафоры возможны (типа capivara или mingau — см. выше), но значение внутренней формы в этом случае прозрачно и тесно связано со значением слова в португальском. Можно сказать, что индихенизмы данного типа практически не претерпевают изменения значения при переходе из языка-источника в язык-адресат, а их денотативное значение первично.

Во второй подкласс входят понятия непредметного характера (типа babaquara «деревенщина; простак» от тупи *mbae'be* «ничего» + *kwa'a* «знать» + *-ara* суффикс деятеля, *букв.* «тот, кто ничего не знает») либо предметные, но утратившие семантическую связь с предметом обозначения (типа piraquara примерно с тем же значением: «сельский обыватель; деревенщина», от *pira'kwara* «рыбный садок; рыбное место» (от *pira* «рыба» (ср. пиранья) и *kwara* «нора, убежище»), т.е. «тот, кто живет рыбалкой; поселянин». Как предметные, так и непредметные обычно имеют оценочный характер, для них денотативный компонент значения вторичен по отношению к коннотативным компонентам, тогда как в случае с экзотизмами первично денотативное значение. В отличие от индихенизмов, обозначающих экзотизмы (флора, фауна, артефакты и т.п.), эти лексемы, как правило, обозначают людей, но не по этнографическому или региональному признакам (типа индихенизмов carioca — «житель города Рио-де-Жанейро» или gaúcho — «житель штата Рио-Гранди-ду-Сул»), а характеризуют их с социальной или культурной точки зрения.

Принципиальным отличием между первым и вторым подклассами нарицательных индихенизмов является именно наличие коннотаций, т.е. оценочных понятий, у слов второго подкласса и, как следствие, переносного значения, способного нести стилистически нагруженную информацию. Внутренняя форма, обычно прозрачная и читаемая, не совпадает со значением слова в португальском языке и не имеет прямого отношения к существующему современному значению. Таким образом, второй подкласс составляют слова с метафоризацией, причем именно метафорическое значение индихенизма является для португальского языка основным, тогда как первичное значение, близкое или совпадающее со значением этимона в языке тупи, не является ни главным, ни наиболее частотным.

4. Индихенизмы, входящие в ЛСГ «деревенщина, простак»

В качестве иллюстрации мы взяли синонимический ряд, образующий лексико-семантическую группу с общим значением «сельский обыватель; простак; деревенщина; неотесанный мужлан». Эта группа включает, если скомпилировать данные разных словарей, — всего восемь словарей: четыре бразильских и пять португальских (см. список литературы) — 70 слов, не считая однокоренные и графические или фонетические варианты, что немало, если принять во внимание, что понятие «деревенщина; сельский обыватель» не является одним из самых частотных:

araruama; **babaquara**; **baicuara/baiquara**; **biriba/biriva**; **botocudo**; **caapora**; **caboclo**; **caburé**; **cafumango**; **caiçara**; **caipira**; **cangongo**; **canguçu**; **capiau**; **capuava**; **curau**; **guasca**; **jeca**; **mandi/mandim**; **mandioqueiro**; **mocorongo**; **piraguara/piraquara**; **saquarema**; **tabaréu**; **tapiocano**;

cambembe; canguaí; capurreiro; catatuá; catimbó; curumba; mambira; maratimba; mixuango/muxuango; moqueta; mucufo; pioca;

acanhado; avarento; babeco; baiano; beiro-corgo; beiradeiro; bruaqueiro; calça-foice; camisão; camponês; capa-bode; casaca; casacudo; casca-grossa; chapadeiro; fadista; groteiro; inculto; labrego; malandro; mano-juca; mateiro; matuto; pé-duro; pé-no-chão; pica-fumo; queijeiro; restingueiro; roceiro; rude; rústico; sertanejo; sitiano.

Жирным шрифтом выделены лексемы с подтвержденной индейской этимологией; подчеркиванием — лексемы с неясной, возможно, индейской этимологией; без выделения — лексемы с романской или — шире — индоевропейской этимологией. Как видно из списка, из 70 найденных лексем 37 (т.е. больше половины) имеют неромансное происхождение, из них 25 лексем имеют подтвержденную индейскую этимологию и восходят к языкам группы тупи, а 12 лексем имеют неясную этимологию, некоторые этимоны возводятся предположительно к тупи, другие предположительно к языкам банту.

Любопытно, что список синонимов, образующих близкую по значению ЛСГ «невежа, грубиян, неотесанный человек», где ядром группы выступают лексемы с аналогичным значением типа “grosseiro” “rude» “inculto», а синонимические ряды отчасти пересекаются с синонимическим рядом интересующей нас ЛСГ (общими лексемами, например, являются *inculto*; *mambira*; *matuto*; *rude*; *rústico*, из которых одна только лексема “mambira» — неромансного происхождения), содержит почти исключительно романские по своему происхождению лексемы. Индихенизмы характерны именно для «деревенщины; сельского простака», и, вероятно, это не случайно.

В ходе дальнейшего анализа мы выделили внутри ЛСГ «сельский житель; деревенщина» ядро и периферию [Кузнецов, 2005]. В качестве критериев выделения мы опирались на частотность слова, его сочетаемостные возможности, подразумевающие полисемию, на наличие словообразовательного гнезда, а также на использование слова в качестве базовой доминанты синонимического ряда при толковании значения периферийного слова данной ЛСГ в толковом словаре. Частотность слова и его сочетаемостные возможности мы определяли по электронному корпусу португальского языка Corpus do português. Web/Dialects; наличие словообразовательного гнезда и употребительность слова в качестве гиперонима определялось по данным словарей.

Таким образом, в соответствии с выделенными критериями, к ядру интересующей нас ЛСГ можно отнести следующие шесть лексем с указанием частотности, по корпусу: caipira — 2034; caboclo — 1863; caiçara — 442; jeca — 711; provinciano — 714; matuto — 380. Первые четыре имеют индейскую этимологию, две последние — романскую. Как мы видим, частотность индихенизмов значительно превосходит частотность романских по происхождению лексем, что говорит об употребительности индихенизмов в устных и письменных жанрах и, как следствие, об отсутствии у этих лексем значения экзотизма. Иными словами, индихенизмы преобладают в составе данной ЛСГ не только количественно, но и по частотности.

Этимология лексем, входящих в ядро, определяется словарями следующим образом:

caipira: 1) tupi *kai'pora* ← *kaa'pora* образовано от *ka'a* «mato» (лес) и *'pora* «habitante de» (житель), [Houaiss, Villar, 2009; Ferreira, 2010; Machado, 2003; Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, 2001; Cunha, Sobrinho, 1982]; 2) tupi *kuru'pira* «diabo, entre os indígenas, na crendice popular, ente fantástico que vive nas matas, tem os pés voltados para trás» (злое мифилогическое существо в верованиях индейцев) [Figueiredo, 1996]; 3) tupi *kai'pira* [Nascentes, 1966];

caboclo: 1) tupi *kara'ïwa* «homem branco» (белый человек) е '*oka* «casa» (дом) [Houaiss, Villar, 2009; Ferreira, 2010; Cunha, Sobrinho, 1982]; 2) tupi *kari'boca* «procedente do branco» (потомок белого человека) [Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, 2001; Nascentes, 1966]; 3) tupi *kaa'boc* «casa no mato» (дом в лесу) [Figueiredo, 1996];

caiçara: tupi *kaaï'sa* «cerca de ramos» (изгородь из веток) (все словари);

jeca: tupi. Forma reduzida do Jeca Tatu, nome do personagem literário, tornado substivo comum (сокращенная форма от имени персонажа Жека Тату, ставшего именем нарицательным) (все словари);

provinciano lat. *provincia* + *ano* (все словари);

matuto lat. *mata* + *-uto*; lat tard *matta* «esteira; tecido grosso» (циновка; плотная ткань) (все словари).

Как мы видим, не все авторы словарей единодушны в определении некоторых индейских этимонов, но сама индихенистская этимология сомнению не подвергается.

Этимология некоторых других индихенизмов, менее частотных, представлена в следующем списке:

caburé (*kawu're* «птица отряда совиных»); biriba (*mbï'rïbi* «маленькое дерево»); araurama (*a'rara* «попугай» + *uama* «кормушка, поилка»); babaquara (*mbae'be* «ничто» + *kwa'a* «знать» + *-ara* «суффикс деятеля»); curau (звукоподражение крику птицы); canguçu (*akangu'su*, «ягуар», букв. «большеголовый»); guasca (*uáskha* «веревка»); tabaréu (*taba're* «тяготеющий к деревне»; mandioqueiro (*mandi'oka* «id» + *eiro* «тот, кто ест маниок») [Houaiss, Villar, 2009; Ferreira, 2010; Nascentes, 1966].

Как показывает этимологический анализ, значительное количество этимонов обозначают предметные понятия (типа caiçara — «палисадник», caboclo — «дом белого человека» или caipira — «лесной житель»), не несущие никакой коннотативной нагрузки, а значение «деревенщина» является следствием метафорического переноса, причем исконное индейское значение часто утрачено в португальском, а возникшее португальское значение не зафиксировано в известных нам словарях, содержащих сведения о языке тупи [Nascentes, 1966; Dicionário Tupi-Guarani].

Сочетаемостные возможности интересующих лексем, как правило, коррелируют с их частотностью. Наибольшим семантико-синтаксическим разнообразием обладают лексемы caipira; caboclo; jeca; provinciano, что видно по их частотности. Так, в частности, "caipira" может относиться к очень разным понятиям, необязательно одушевленным:

1а) к человеку как индивидууму — E **eu** sempre **tão caipira**... a primeira vez a que fui a um café, coloquei o sequilho dentro da xícara, achando que fosse pra dissolver!;

1б) к человеку как типажу — O personagem Jeca Tatu, criado pelo escritor Monteiro Lobato como o protótipo do **caipira brasileiro**;

2) к предмету — Coube a dupla Jaumir e Chico a missão de resgatar o som da **viola caipira** no palco do evento;

3) к стилю или направлению в искусстве — O post me fez lembrar duma **música** em **estilo caipira**;

4) к профессиональной деятельности — Pois nosso Mestre nos envia mais uma curiosidade do **jornalismo caipira**;

5) к традициям и обычаям — Existem muitas brincadeiras típicas da festa junina como a pescaria, fogueira, correio elegante, cadeia e o tradicional **casamento caipira**;

6) к целой стране — A massa de estrangeiros que aqui chegavam iam se abrasileirando e deixando suas influências para este **Brasil caipira**;

7) к фонетическим особенностям, акценту — Porque, volta e meia há um ator com **sotaque caipira** fazendo o papel dum lorde.

Наличие широких сочетаемостных возможностей предполагает, помимо полисемии, в том числе и оценочный характер лексемы caipira, проявляющийся отчетливо в примерах 1а); 1б); 4); 6) и 7). Наличие оценочного значения подкрепляет метафоричность исходного значения.

Словообразовательные возможности индихенизмов, входящих в ядро ЛСГ «деревенщина, простак», проявляются в наличии более или менее богатого словообразовательного гнезда, что свидетельствует об освоенности данного понятия языком, особенно если имеются дериваты, принадлежащие различным частям речи. Так, слово caboclo имеет, например, следующие дериваты:

cabocla (*сущ.*) (разновидность земляного голубя; также травянистое растение);

caboclinho/caboclinha (*сущ.*) (уменьшительное от caboclo; также вид птиц);

caboclote (*сущ.*) (уменьшительное от caboclo);

cabocolinho (*сущ.*) (вид птиц овсянок; также вид индейского танца на карнавале);

caboclada (*сущ.*) (собирательное от caboclo, группа сельских жителей);

acaboclar (*глаг.*) (наделять чертами caboclo, опроститься);

acaboclado (*прич.*, *прил.*) (имеющий черты caboclo; опростившийся)

5. Выводы

Таким образом, как показал наш анализ, не все индихенизмы обладают только предметным, денотативным значением, хотя таких и большинство. Наличие в португальском языке целой ЛСГ «простак, деревенщина, сельский обыватель», содержащей несколько десятков лексем, половина которых представляет собой индихенизмы, а ядро которой содержит индихенизмы по преимуществу, свидетельствует о метафорическом переносе исходных индейских предметных значений, утративших свою предметность в пользу оценочности и различных коннотаций при переходе в португальский язык. То, что понятие «деревенщина, простак, неотесанный человек» оказалось тесно связано в бразильском языковом сознании с индихенизмами, возможно, объясняется тем фактом, что в культурологическом отношении

Бразилия распадается как бы на две части, где противопоставляются урбанистическая индустриальная цивилизация, ассоциирующаяся с португальской лексикой, и индейская или полуиндейская сельская глубинка, ассоциирующаяся с автохтонным индейским миром. Здесь срабатывает значимая для Бразилии оппозиция Litoral — Interior (т.е. «побережье» — «глубинные районы»), где побережье — это мир белых или мулатов, а глубинные районы — это мир индейцев и потомков смешанных браков, мир простой и незатейливый. Не случайно одна из глав известной книги бразильского социолога Д. Риберу «Народ Бразилии» (D. Ribeiro «O povo brasileiro») носит название «Разные Бразилии в истории» ("Os Brasis na história"), в которой автор пишет о нескольких центрах, где шло историко-культурное формирование бразильского этноса, которые он называет o Brasil crioulo, o Brasil caboclo, o Brasil sertanejo и o Brasil caipira. Любопытно, что "caboclo", "sertanejo" и "caipira" — именно индихенизмы.

Список литературы

Гуревич. Д.Л. Лексические бразилизмы и их типы // Древняя и новая романия. 2016. № 1 (17). С. 45–56.

Кузнецов Ю. А. Лексико-семантическое поле смеха как фрагмент русской языковой картины мира: Дисс. ... канд. филол. наук. СПб, 2005. С. 215.

Степанов Г.В. Испанский язык в странах Латинской Америки. М., 1963. С. 204.

Фирсова Н.М. Избранные труды. Т. II: Современный испанский язык в Испании и странах Латинской Америки. М., 2009. С. 524.

Almeida Costa J., *Sampaio e Melo*. A. Dicionário da Língua portuguesa. (5a ed.) Porto, 1979. P. 1556.

Basso, *R.M.*, *Gonçalves*, *R.T.* História concisa da língua portuguesa. Petrópolis, 2014. P. 328.

Castilho, *Ataliba T.* Nova gramática do português brasileiro. São Paulo, 2010. P. 768.

Corpus do Português: *Web/Dialects*. URL: www.corpusdoportugues.org (дата обращения: 14.03.2018).

Cunha, *A. G.*; *Sobrinho*, *C. M. et al.* Dicionário etimológico. Nova Fronteira da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 1982. P. xxix; P. 839.

Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. Lisboa, 2001. P. 3809.

Dicionário de sinónimos. Porto, 1977. P. 1125.

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. [Электронный ресурс]. URL: https://www.priberam.pt/dlpo

Dicionário Tupi — Guarani / Português. URL: https://scribd.com/doc/117761152/dicionario-tupi-guarani (дата обращения: 14.03.2018).

Ferreira, *Aurélio B.H.* Dicionário Aurélio da lingua portuguesa (5a ed.). Curitiba, 2010. P. 2272.
Figueiredo, *C.R.G.* Grande dicionário da língua portuguesa. Venda Nova, 1996. 2 Vols. P. XXXI; P. 2865.
Houaiss A., *Villar M.S.* Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 2009. P. 1986.
Houaiss A. O português do Brasil. 3 ed. Rio do Janeiro, 1992. P. 168.
Mattos e Silva, *R.V.* Ensaios para uma sócio-história do português brasileiro. São Paulo, 2004. P. 176.
Lima Sobrinho B. A língua portuguesa e a unidade do Brasil. Rio de Janeiro, 2000. P. 264.
Machado, *J.P.* (coord). Grande dicionário da língua portuguesa. Vols 5. Lisboa: Publicações Alfa, 1991.
Machado J.P. Dicionário etimológico da língua portuguesa com a mais antiga documentação escrita e conhecida de muitos dos vocábulos estudados. 5 Vols. Lisboa, 2003.
Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa [Электронный ресурс.]. URL: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues
Nascentes, *A.* Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 1955. P. XXXV; 534.
Nascentes, *A.* Dicionário etimológico resumido. Rio de Janeiro, 1966. P. 791.
Noll, *V.*, *Dietrich*, *W.* (orgs). O português e o tupi no Brasil. São Paulo, 2016. P. 240.
Oliveira, *S.E.* Um espaço de enunciação para dizer os brasileirismos // Nunes, José Horta (org). História do saber lexical e constituição de um léxico brasileiro. São Paulo, 2002. P. 253.
Rodrigues, *A.D.I.* A composição em Tupí // Revista Brasileira de Linguística Antropológica. Vol. 3, Número 1, Julho de 2011. P. 23–29.
Villar, *M.S.* Tupinismos, africanismos, asiaticismos e o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa // Filho, L.A. Azevedo (org). Brasil 500 anos de Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, 2000. P. 372.

Dmitry L. Gurevich

SEMANTIC IMAGERY OF INDIGENISMO IN BRAZILIAN PORTUGUESE

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The Brazilian variant of Portuguese (PB) is opposed to European Portuguese by a number of structural and functional features at all levels of language structure, which is due to both internal and extralinguistic reasons. The difference is most

obvious in phonetics and lexis; the latter includes Romance and non-Romance units, among which there are many borrowings from indigenous languages (several thousands of high- and low-frequency words). Indigenisms that make up an important part of the PB lexis are part of a larger group, brazilisms, that reflect the national-cultural specificity of this region. By now it is not quite obvious how to classify indigenisms semantically. It is often assumed that indigenisms, especially common nouns, mainly refer to a particular set of concepts associated with object semantics — so-called thing-words (like cashew, jaguar or capibara). The indigenisms of this type usually show a correlation between the inner form of the word (if it is clear) or the meaning of the word in the source language (mainly tupi), on the one hand, and the meaning of the loan word in Portuguese, on the other hand. The metaphoric use of indigenisms that has to do with the national-cultural peculiarity of PB has not yet been subject of a special study. The present paper shows how metaphorized indigenisms can become a stable part of certain lexical-semantic groups. It is shown, for instance, that indigenisms are core words in the lexical-semantic group "simpleton", "countryman", which is evident from their high-frequency patterns of use and wide combinability. The conclusion is that indigenisms call for a more detailed classification that should take into account eventual metaphorization and national-cultural specificity of uses.

Key words: Brazilian Portuguese (PB); indigenisms; lexical-semantic group; metaphor; evaluative meaning.

About the author: *Dmitry L. Gurevich* — PhD (linguistics), associate professor, Department of Ibero-romance linguistics, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University (e-mail: caipira@yandex.ru).

References

Gurevich, D.L. Leksicheskie brazilizmy i ih tipy [Lexical brazilianisms and their types]. *Drevnyaya i Novaya Romaniya* [*Old and New Romania*]. 2016, 1 (17), pp. 45–56. (In Russ.)

Kuznetsov, Ju.A. *Leksiko-semanticheskoe pole smeha kak fragment russkoi yazykovoi kartiny mira*: diss. ... kand. filol. nauk. [Lexical-semantic field "laughter" as a fragment of the Russian linguistic image of the world: PhD dissertation in philology] St. Petersburg, 2005. 215 p. (In Russ.)

Stepanov, G.V. *Ispanskiy yazyk v stranah Latinskoy Ameriki*. [Spanish language in Latin American countries] Moscow, 2009. 204 p. (In Russ.)

Firsova, N.M. *Izbrannie trudy*. T. II. Sovremenniy ispanskiy yazyk v Ispanii i stranah Latinskoy Ameriki. [Selected papers. Vol. II. Modern Spanish in Spain and Latin American countries] Moscow, 2009. 524 p. (In Russ.)

Almeida Costa, J., Sampaio e Melo, A. *Dicionário da Língua portuguesa*. [Dictionary of Portuguese] (5a ed.) Porto, 1979. 1556 p. (In Portuguese)

Basso, R.M., Gonçalves, R.T. *História concisa da língua portuguesa*. [Concise history of Portuguese] Petrópolis, 2014. 328 p. (In Portuguese)

Castilho, Ataliba T. *Nova gramática do português brasileiro*. [New grammar of Brazilian Portuguese] São Paulo, 2010. 768 p. (In Portuguese)

Corpus do Português [Corpus of Portuguese]: Web/Dialects. URL: www.corpusdoportugues.org (access 14.03.2018) (In Portuguese)
Cunha, A.G.; Sobrinho, C.M. et al. *Dicionário etimológico. Nova Fronteira da língua portuguesa*. [Etymological dictionary. New boundary of the Portuguese language] Rio de Janeiro, 1982. xxix p.; 839 p. (In Portuguese)
Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa. [Dictionary of the Contemporary Portuguese language of the Academy of Sciences of Lisbon]. Lisboa, 2001. 3809 p. (In Portuguese)
Dicionário de sinónimos. [Dictionary of synonyms]. Porto, 1977. 1125 p. (In Portuguese)
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. [Priberam dictionary of the Portuguese language] [Electronic resourse] URL: https://www.priberam.pt/dlpo (In Portuguese)
Dicionário Tupi — Guarani. Português. [Dictionary of Tupi-Guarani / Portuguese] URL: https://scribd.com/doc/117761152/dicionario-tupi-guarani (access 14.03.2018) (In Portuguese)
Ferreira, Aurélio B.H. *Dicionário Aurélio da lingua portuguesa*. [Aurélio dictionary of the Portuguese language]. (5a ed.). Curitiba, 2010. 2272 p. (In Portuguese)
Figueiredo, C.R.G. *Grande dicionário da língua portuguesa*. [Big dictionary of the Portuguese language] Venda Nova, 1996. 2 Vols. P. XXXI; P. 2865. (In Portuguese)
Houaiss, A., Villar, M.S. *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. [Houaiss dictionary of the Portuguese language] Rio de Janeiro, 2009. 1986 p. (In Portuguese)
Houaiss, A. *O português do Brasil*. [Brazilian Portuguese]. 3 ed. Rio do Janeiro: Revan, 1992. 168 p. (In Portuguese)
Mattos e Silva, R.V. *Ensaios para uma sócio-história do português brasileiro*. [Essays for the social history of Brazilian Portuguese] São Paulo, 2004. 176 p. (In Portuguese)
Lima Sobrinho, B. *A língua portuguesa e a unidade do Brasil*. [The Portuguese language and the unity of Brazil. Rio de Janeiro, 2000. 264 p. (In Portuguese)
Machado, J.P. (coord). *Grande dicionário da língua portuguesa*. [Big dictionary of the Portuguese language] Vols 5. Lisboa, 1991. (In Portuguese)
Machado, J.P. *Dicionário etimológico da língua portuguesa com a mais antiga documentação escrita e conhecida de muitos dos vocábulos estudados*. [Etymological dictionary of the Portuguese language with the oldest documentary evidence known for all the entries] 5 Vols. Lisboa, 2003. (In Portuguese)
Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. [Michaelis Brazilian dictionary of the Portuguese language]. [Electronic resourse.] URL: http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues. (In Portuguese)
Nascentes, A. *Dicionário etimológico da língua portuguesa*. [Etymological dictionary of the Portuguese language] Rio de Janeiro: Livraria Academica, 1955. XXXV p.; 534 p. (In Portuguese)

Nascentes, A. *Dicionário etimológico resumido*. [Brief etymological dictionary]. Rio de Janeiro, 1966. 791 p. (In Portuguese)
Noll, V., Dietrich, W. (orgs). *O português e o tupi no Brasil*. [Portuguese and Tupi in Brazil] São Paulo, 2016. 240 p. (In Portuguese)
Oliveira, S.E. Um espaço de enunciação para dizer os brasileirismos. [Enunciation space for the use of brazilianisms]. *História do saber lexical e constituição de um léxico brasileiro*. [History of lexical knowledge and the composition of Brazilian language]. Nunes, José Horta (org). São Paulo, 2002. 253 p. (In Portuguese)
Rodrigues, A.D.I. A composição em Tupí. [Composition in Tupi] *Revista Brasileira de Linguística Antropológica*. [Brazilian Journal of Anthropological Linguistics] Vol. 3, Núm. 1, Julho de 2011. P. 23–29 (In Portuguese)
Villar, M.S. Tupinismos, africanismos, asiaticismos e o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa. [Tupinisms, africanisms, asiatisms and the Houaiss dictionary of the Portuguese language]. *Brasil*: *500 anos de Língua Portuguesa*. [Brazil: 500 years of the Portuguese language]. Filho, L.A. Azevedo (org). Rio de Janeiro, 2000. 372 p. (In Portuguese)

Л.И. Жолудева

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ДЕОНТИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ В ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ XVI в.: DOVERE И AVERE DA/A

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Статья посвящена анализу дистрибуции базовых средств выражения деонтической модальности (модального глагола *dovere* и перифразы «*avere a/da* + инфинитив») в итальянских морально-философских и дидактических трактатах XVI в. Вопреки высказывавшейся в недавних работах С. Телве точке зрения о низкой частотности глагола *dovere* как модального в итальянском языке до XVII–XVIII вв., данное исследование показывает, что в трактатах флорентийских авторов, а также авторов, так или иначе воспроизводящих флорентийскую модель, на долю *dovere* приходится от 80% и выше всех контекстов, где эксплицитно (при помощи модального глагола или перифразы) выражается деонтическая модальность. Значительные отличия от описанной картины наблюдаются в узусе сиенского автора А. Пикколомини, что, предположительно, можно отнести на счет диалектного варьирования внутри Тосканы. Возможно, расхождения между данными исследования С. Телве и нашего исследования объясняются спецификой материала. Поскольку нашей целью было рассмотреть как можно больше контекстов, где эксплицитно выражается деонтическая модальность, мы намеренно ограничили материал дидактическими трактатами, где в силу жанра и тематики можно ожидать частотности интересующих нас структур. С. Телве опирался на данные корпусов LIZ и OVI, в первом из которых представлены только художественные произведения (с заметным преобладанием текстов, принадлежащих авторам первой величины), а во втором, наряду с флорентийскими текстами, представлены образцы различных (не только тосканских) средневековых диалектов Италии, развитие которых было вполне самостоятельным и не оказало существенного влияния на литературный итальянский язык. Вероятно, подобные корпуса и базы данных, формально отвечающие требованиям репрезентативности, в отдельных случаях могут показывать сомнительные результаты, требующие проверки на другом материале.

Жолудева Любовь Ивановна — кандидат филологических наук, старший преподаватель филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: l.zholudeva@gmail.com).

Ключевые слова: итальянский язык; история итальянского языка; деонтическая модальность; модальные глаголы; диалекты Тосканы; корпусные исследования.

1. Введение

Базовым средством выражения деонтической модальности в современном итальянском языке является модальный глагол *dovere*. Вместе с другими двумя модальными глаголами *volere* и *potere* он входит в группу служебных глаголов, присоединяющих инфинитив смыслового глагола и соответствующим образом модифицирующих семантику и прагматику глагольной синтагмы [Serianni, 1988: 334–335; Dardano, Trifone, 1997: 300]. Со структурной точки зрения для модальных глаголов (в отличие от глаголов, также выражающих модальные значения, но не являющихся служебными) характерна тесная синтаксическая связь с инфинитивом, выражающаяся в том, что проклиза / энклиза безударных местоимений затрагивает не ядро синтагмы, а всю конструкцию «модальный глагол + инфинитив смыслового глагола»: *te lo voglio dire / voglio dirtelo*, но **voglio te lo dire*. Особый статус модальных глаголов проявляется и в закономерностях выбора вспомогательного глагола (*essere/avere*) в сложных временах: он определяется тем, инфинитивом какого смыслового глагола управляет модальный.

Морфосинтаксическое поведение модальных глаголов становилось предметом внимания грамматистов начиная с раннего этапа развития итальянской грамматикографии. П. Бембо в «Беседах о народном языке» (1525) и, позже, Л. Кастельветро в комментариях к труду Бембо (1563) отмечали закономерности выбора вспомогательного глагола при конструкциях с *volere* и *potere* в сложных временах [Telve, 2007: 314–316]. Тот факт, что грамматисты в данной связи не рассматривали *dovere*, С. Телве объясняет низкой частотностью *dovere* в модальной функции (в отличие, скажем, от адъективированного причастия *dovuto — подобающий*, а также *dovere* в лексическом значении — *быть должником*) в итальянском языке до XVII–XVIII вв. В качестве подтверждения исследователь приводит данные корпусов OVI[1] и LIZ[2], первый из которых содержит только староитальянские тексты (XIII–XIV вв.), а второй — только литературные произведения от XIII до XX в. Согласно С. Телве, в корпусе староитальянских текстов насчитывается менее 20 примеров *dovere* как модального

[1] URL: http://gattoweb.ovi.cnr.it/(S(rrz3ro2pyuyakkzqokvj5tvq))/CatForm01.aspx OVI — Opera del Vocabolario Italiano

[2] URL: https://www.zanichelli.it/ricerca/prodotti/liz-4-0-letteratura-italiana-zanichelli

глагола, а в корпусе LIZ за период по XVII в. таких примеров всего порядка семидесяти. В работе 2009 г., посвященной синтаксическим и семантическим свойствам форм *potuto*, *voluto* и *dovuto*, исследователь также пишет о позднем встраивании *dovere* в систему модальных глаголов. По его данным, вплоть до XVIII в. *dovuto* встречается в тех же функциях, что засвидетельствованы в корпусе OVI: чаще всего это адъективное употребление (*dovuto* = *debito*) и причастное употребление ("tutte le cose *sono dovute* a voi"); значительно реже *dovuto* управляет инфинитивом [Telve, 2009: 630–631].

Не подвергая сомнению основной тезис, С. Телве о более позднем встраивании *dovere* в систему служебных глаголов, нам хотелось бы уточнить, а) не повлияла ли на результаты его исследования жанрово-стилистическая природа исследуемых текстов; и б) какие альтернативные средства выражения деонтической модальности конкурировали с *dovere* на ранних этапах развития языка. С этой целью мы проанализировали средства выражения деонтической модальности в тематически, жанрово и хронологически однородной группе текстов — итальянских морально-философских и дидактических трактатах XVI в. Выбор этой группы сочинений обусловлен тематикой, предполагающей частотность интересующих нас контекстов. Хронологические рамки определяются тем, что грамматические описания, упомянутые в работе С. Телве [Telve, 2007], относятся к XVI в., т.е., с одной стороны, к эпохе, предположительно предшествующей распространению *dovere* в модальной функции, а с другой — к периоду, когда объем и жанровое разнообразие текстов на итальянском языке резко возрастает, и на нем начинают писать не только уроженцы Тосканы, но и те, для кого итальянский был вторым или иностранным языком. Именно в XVI столетии флорентийский диалект в его обработанной форме, наряду с традиционным названием *fiorentino*, получает наименование *italiano* [Жолудева, 2016а].

Объектом нашего исследования послужили следующие трактаты:

- Giovanni Della Casa "Il Galateo overo de' costumi" (1558)[3]
- Leone Ebreo "Dialogi d'Amore" (1535)[4]
- Baldassar Castiglione "Il Cortegiano" (1528)[5]

[3] *Della Casa G.* Galateo, overo De' costumi. A cura di Emanuela Scarpa. Modena, 1990. 166 p. Электронная версия. URL: https://www.liberliber.it/online/autori/autori-d/giovanni-della-casa/galateo-overo-de-costumi/ (дата обращения: 23.03.2018).

[4] *Ebreo L.* Dialoghi d'amore. Электронное издание: http://prin.iliesi.cnr.it/testi/Ebreo_Dialoghi_1535.pdf (дата обращения: 23.03.2018).

[5] *Castiglione B.* Il libro del Cortegiano. A cura di Giulio Preti. Torino: Einaudi, 1960. 441 p. Электронная версия: https://www.liberliber.it/online/autori/autori-c/baldassarre-castiglione/il-libro-del-cortegiano/

– Alessandro Piccolomini (Stordito Intronato) “Dialogo de la bella creanza de le donne” (1539)[6]
– Federico Luigini da Udine “Libro della bella donna” (1554)[7]
– Giovanni Battista Modio “Il convito overo Del peso della moglie” (1554)[8]
– Michelangelo Biondo “Angoscia, Doglia e Pena, le tre furie del mondo” (1546)[9]

Мы также обращались к трактату флорентийца Леона Баттисты Альберти “I libri della famiglia”[10] (1433–1440).

2. К истории вопроса

Неоднократно цитировавшееся здесь исследование С. Телве [Telve, 2007] посвящено не столько семантике и функционированию итальянских модальных глаголов, сколько интерпретации закономерностей выбора вспомогательного глагола при конструкции «модальный глагол+инфинитив» в свете инаккузативной гипотезы. Впрочем, это не мешает автору акцентировать внимание на изменениях функционирования *dovere* в диахронии на с. 316–317; С. Телве также упоминает свое на данный момент незаконченное исследование “Funzioni sintattiche e modali del participio passato di ‘dovere’ in italiano antico e moderno”, что свидетельствует о его пристальном внимании к проблеме эволюции *dovere*. По-видимому, в рамках

[6] *Piccolomini A.* Dialogo de la bella creanza de le donne // Alessandro Piccolomini, Michelangelo Biondo, Federico Luigini, Giovanni Battista Modio, Trattati del Cinquecento sulla donna. A cura di Giuseppe Zonta. Bari, 1913, pp. 1–70. Электронная версия. URL: https://archive.org/details/056TrattatiDelCinquecentoSullaDonnaSi262 (дата обращения: 23.03.2018).

[7] *Luigini F.* “Libro della bella donna” // Alessandro Piccolomini, Michelangelo Biondo, Federico Luigini, Giovanni Battista Modio, Trattati del Cinquecento sulla donna. A cura di Giuseppe Zonta. Bari, 1913, pp. 221–309. Электронная версия. URL: https://archive.org/details/056TrattatiDelCinquecentoSullaDonnaSi262 (дата обращения: 23.03.2018).

[8] *Modini G.B.* Il convito overo Del peso della moglie // Alessandro Piccolomini, Michelangelo Biondo, Federico Luigini, Giovanni Battista Modio, Trattati del Cinquecento sulla donna. A cura di Giuseppe Zonta. Bari, 1913, pp. 309–371. Электронная версия. URL: https://archive.org/details/056TrattatiDelCinquecentoSullaDonnaSi262 (дата обращения: 23.03.2018).

[9] *Biondo M.* Angoscia, Doglia e Pena, le tre furie del mondo // Alessandro Piccolomini, Michelangelo Biondo, Federico Luigini, Giovanni Battista Modio, Trattati del Cinquecento sulla donna. A cura di Giuseppe Zonta. Bari: Laterza, 1913, pp. 71–220. Электронная версия. URL: https://archive.org/details/056TrattatiDelCinquecentoSullaDonnaSi262 (дата обращения: 23.03.2018).

[10] *Alberti L.B.* I libri della famiglia. A cura di R. Romano, A. Tenenti e F. Furlan. Torino:Einaudi, 1994. 478 p. Электронная версия. URL: https://www.liberliber.it/online/autori/autori-a/leon-battista-alberti/i-libri-della-famiglia/ (дата обращения: 23.03.2018).

данного продолжающегося проекта С. Телве опубликовал статью [Telve, 2009], где в диахронном аспекте рассматривается изменение широты употребления причастий *potuto*, *voluto* и *dovuto* в различном синтаксическом окружении и в составе различных форм времен и наклонений. В том, что касается количественных данных о модальном и не-модальном *dovere* и хронологической дистрибуции различных употреблений этого глагола в корпусе OVI, автор повторяет данные, приведенные в его работе 2007 г. (cfr. [Telve, 2007: 317] и [Telve, 2009: 630]) и далее переходит к морфосинтаксическим аспектам исследования. Развитие итальянской системы модальных глаголов и, в частности, конкуренция *dovere* с перифрастическими средствами не относится к числу тем, часто привлекающих исследовательское внимание, что, по-видимому, объясняется незначительностью формальных изменений в этой части итальянской языковой системы от староитальянского периода до современности. Однако за этим поверхностным сходством можно обнаружить отличия функционального порядка. Некоторые из них отмечает М. Сквартини в разделе «Грамматики староитальянского языка» [Salvi, Renzi, 2010], посвященном средствам выражения модальности [Squartini, 2010].

Первым обращает на себя внимание то, что М. Сквартини, в отличие от С. Телве, рассматривает *dovere* в одном ряду с *volere* и *potere*, не подвергая его дискриминации на основании частотности или иных признаков. У *dovere*, как и в современном итальянском, выделяются два основных употребления, деонтическое и эпистемическое. Наряду с *dovere* в качестве альтернативных средств выражения деонтической модальности описываются перифразы — «*essere a* + инфинитив» и «*essere da / avere a* + инфинитив». Первая перифраза обладала одновременно временным (футуральным) и модальным (деонтическим) значением; в современном итальянском языке она не сохранилась. Собственно деонтические перифразы «*essere da* + инфинитив» и «*avere a* + инфинитив» М. Сквартини рассматривает вместе, указывая на их дополнительную дистрибуцию: «*essere da* + инфинитив» по функции соответствует обобщенно-личному и безличному пассиву, тогда как «*avere a* + инфинитив» обладает активным субъектом [Squartini, 2010: 588]. Вариант перифразы «*avere a* + инфинитив» с предлогом *da* в грамматике не упоминается, что неудивительно, учитывая позднее возникновение этого предлога и разнообразие его функций, часть из которых развилась или закрепилась уже по окончании староитальянского периода.

Конструкция «*essere da* + инфинитив» сохраняет употребительность в современном литературном языке. Что же касается перифразы «*avere a / da* + инфинитив», которую с глаголом *dovere* объединяет

как деонтическая семантика, так и залоговые свойства, ее статус в современном итальянском скорее можно назвать маргинальным[11]. Эта структура упоминается в исследованиях языкового варьирования на территории Италии как характерная особенность южных диалектов Италии, а также *italiano regionale* южных областей [Berizzi, 2012; Padovan, Penello, 2007; Girardi, 2007].

3. *Dovere* vs *avere a/da* в итальянских трактатах XVI в.

Из упомянутых выше структур мы сосредоточимся на двух с собственно деонтической семантикой — модальном глаголе *dovere* и перифразе «*avere a / da* + инфинитив». Поскольку в работах С. Телве говорится о постепенном усилении роли *dovere* с XVII–XVIII в., было бы логичным предположить, что в XVI в. для этого складывались предпосылки, и существовали некие конкурировавшие с *dovere* средства эксплицитного выражения деонтической модальности, впоследствии уступившие модальному глаголу первенство по частотности. Засвидетельствованная в староитальянском языке и ушедшая на периферию в современном итальянском деонтическая перифраза «*avere a / da* + инфинитив» представляется вполне вероятным конкурентом *dovere*, особенно учитывая их совпадение по залоговым характеристикам и отсутствие у «*avere a / da* + инфинитив» обобщенно-личного оттенка, характерного для «*essere da* + инфинитив».

Чтобы проверить данное предположение, мы произвели подсчет контекстов, где в трактатах XVI в. употребляется глагол *dovere* и перифраза «*avere a / da* + инфинитив»[12]. Поиск и подсчет контекстов производился с учетом чередования основ и полиморфии. При подсчете контекстов, где встречается глагол *dovere*, мы исключали из рассмотрения примеры лексического употребления и субстантивированные инфинитивы. Среди учтенных контекстов встречаются примеры не только а) деонтического, но и б) эпистемического употребления *dovere*:

а) Per la qual cosa né vantare ci **debbiamo** de' nostri beni, né farcene beffe, ché l'uno è rimproverare agli altri i loro difetti, e l'altro schernire le loro virtù; ma **dèe** di sé ciascuno, quanto può, tacere (G. Della Casa "Galateo");

[11] Об уходе перифразы *avere a/da + inf.* на периферию ("le perifrasi concorrenti <...> saranno state a poco a poco emarginate") пишет, в частности, С. Телве, связывая этот процесс с возрастанием частотности сложного перфекта, в котором редко встречались деонтические перифразы [Telve, 2009: 641].

[12] Применялся автоматизированный поиск по электронным версиям рассматриваемых текстов. Общий объем материала составил порядка 515 000 слов.

Ed Aristotele, che è tenuto il maestro di coloro che sanno, nell'ottavo della Politica non biasma questa costuma, anzi, poi che ci ha avisato la musica **doversi** usare nelle cose allegre, soggiunge, allegando Omero, essere ben fatto che 'l citaredo suoni fra le delizie convivali (F. Luigini "Il libro della bella donna")

Penso adunque, e nella materia del libro e nella lingua, per quanto una lingua po aiutar l'altra, aver imitato autori tanto degni di laude quanto è il Boccaccio; né credo che mi si **debba** imputare per errore lo aver eletto di farmi piú tosto conoscere per lombardo parlando lombardo, che per non toscano parlando troppo toscano (B. Castiglione "Il Cortegiano");

...in te adunque è la vera bellezza, e non in me; io **dovria** amare te, e non tu me (L. Ebreo "Dialoghi");

Sí che sappi, insipido amante, che 'l furore scaccia la sapienzia e soverte l'inteletto: donque se **deve** fugir la donna piú che il naufragio di 'l mare (M. Biondo "Angoscia, Doglia e Pena");

б) Si può dunque conchiudere, senza altro dire, che da Bacco, perchè è un dio cornuto, sia venuta l'origine delle corna, posciaché con l'uso del suo liquore concilia le mogli a Venere e fa divenir i mariti cornuti. Il qual effetto, come a prima causa, si **deve** anco attribuir ad Amore (G.B. Modio "Il Convito");

Mi fate ricordar, madonna Raffaella, di uno di codesti fastidiosi, senese, che, gittando i limoni a la dama in presenzia del marchese del Vasto, fece mille civette, perchè ella avessi da fargli favore in presenzia del marchese, acciochè i segni si ricontrassero con quello che gli **doveva** aver detto (A. Piccolomini "Dialogo de la bella creanza").

Учитывая при подсчетах и деонтические, и эпистемические употребления *dovere*, мы руководствовались тем, что а) тезис С. Телве о малой употребительности данного глагола касался не только контекстов с деонтической модальностью, но и функционирования *dovere* в качестве модального глагола вообще; б) для перифразы «*avere a / da* + инфинитив» также характерно двоякое употребление:

– деонтическое:

Dico che molto **ha da** guardarsi una giovine di non vestir di molti colori, e massime di quei che non convengano insieme, com'è il verde col giallo, e 'l rosso con lo sbiadato, e simili altre mescolanze da bandiere, perchè questa mistura di colori è sgarbatissima (A. Piccolomini "Dialogo de la bella creanza");

Perché, secondo questi quattro gradi de la generazione d'amore che t'ho detto, ne li quattro elementi, che son causa de la generazione di tutt'i corpi composti ne li quattro gradi di composizione, **hai da** intendere altrettanti gradi d'odio (L. Ebreo "Dialoghi");

– эпистемическое (с футуральным оттенком):

E' mi vien certo una compassione di te la maggiore che si credesse mai, perchè io veggo chiaro, chiarissimo, come in un specchio, come tu vieni

negli anni di qualche cognoscimento, **hai da** rimordertene e disperarti e arrabiarne di sorte, che questa disperazione ti metterá fra i denti del diavolo viva viva. E come puoi viver, meschinella, a questo modo? (A. Piccolomini "Dialogo de la bella creanza").

Результаты подсчетов представлены в табл. 1.

Таблица 1

	dovere	«*avere a* / *da* + инфинитив»
G. Della Casa	32 (97%)	1 (3%)
L. Ebreo	140 (94,5%)	8 (5,5%)
B. Castiglione	269 (87%)	40 (13%)
A. Piccolomini	33 (26%)	93 (74%)
F. Luigini da Udine	35 (79,5%)	9 (20,5%)
G.B. Modio	30 (88%)	4 (12%)
M. Biondo	71 (91%)	7 (9%).

Количественные данные показывают: контексты с глаголом *dovere* в модальной функции явно превалируют над контекстами с деонтической перифразой. Это касается всех авторов, кроме А. Пикколомини, в трактате которого, напротив, наблюдается бесспорное преобладание перифразы. К причинам такого очевидного нарушения общей тенденции мы обратимся чуть ниже.

Первое, что становится очевидным по результатам подсчета, — это важность опоры на репрезентативный корпус текстов при исследованиях подобного рода. С. Телве учитывал преимущественно данные художественных произведений; стоит также заметить, что корпус LIZ, на основании данных которого были сделаны выводы об употребительности *dovere* в XIV–XX вв., обладает существенной особенностью. В нем собраны произведения 109 авторов, однако они представлены не вполне пропорционально: в случае с писателями первой величины в корпус включались все сочинения полностью, тогда как второстепенные авторы представлены избирательно и фрагментарно.

Неизбежное в подобной ситуации искажение перспективы дополняет тот факт, что во втором из использованных корпусов, OVI, присутствуют не только тексты на флорентийском диалекте, территориальной базе литературного итальянского языка, но и данные самых разных итальянских вольгаре, не исключая в ряде случаев даже миноритарных языков[13]. Наше количественное исследование, ни в коей мере не претендующее на всеохватность, было призвано продемонстрировать, что модификация набора текстов, исполь-

[13] См. "Norme per la redazione del *Tesoro della lingua italiana delle origini*". URL: http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/

зуемых при подсчетах, способна кардинальным образом изменить результаты.

Не менее существенным нам представляется тот факт, что в нашем случае поиск контекстов употребления глагола *dovere* не ограничивался формой причастия прошедшего времени, как в работах С. Телве. Поскольку модальность долженствования соотносит некое положение вещей с мнимым идеалом, прагматически более ожидаемы — а значит и более частотны — ситуации, когда говорящий высказывается о чем-то, что еще не совершилось, что совершается в настоящем или может совершиться в будущем (ср. рус. «я должен работать» = «я сейчас должен работать» или «я должен буду работать в будущем»). Кроме того, как отмечает сам исследователь [Telve, 2009: 642], частотность причастия прошедшего времени *dovuto* коррелирует с частотностью употребления сложного перфекта, возрастающей от староитальянского периода к современному; в этой связи не вполне понятным остается, почему С. Телве связывает возрастающую употребительность формы *dovuto* с возрастающей частотностью глагола *dovere* в модальной функции, а не с экспансией *passato prossimo*.

XVI в. в истории итальянского языка примечателен тем, что в это время флорентийский диалект в его обработанной форме начинает массово использоваться уроженцами других регионов Италии и даже иностранцами; примером тому является один из трактатов в нашем списке, — «Диалоги о любви» Леона Еврея (Иегуды Абрабанеля), португальского сефарда, нашедшего убежище в Неаполе, а затем переехавшего на север Италии. Таким образом, начиная с XVI в. уже нецелесообразно исключать из рассмотрения тексты, написанные нефлорентийцами, если того не требуют особые задачи исследования. В нашем случае, напротив, представляет интерес то, как происхождение авторов влияет на частотность *dovere* и деонтической перифразы.

Среди рассматриваемых нами авторов флорентийцем по рождению был только Дж. делла Каза. Б. Кастильоне был уроженцем Ломбардии, Ф. Луиджини — Удине, Дж. Б. Модио — Венеции, М. Бьондо — Калабрии. Учитывая мобильность, характерную для представителей образованного класса в Италии XVI века, не вызывает удивления, что жизнь всех перечисленных авторов, по большей части, проходила вдали от малой родины, но это не отменяет того факта, что Б. Кастильоне, Ф. Луиджини, Дж. Б. Модио и М. Бьондо писали трактаты на флорентийском диалекте, который для них не являлся родным, а И. Абрабанель излагал свои мысли на иностранном языке. И таких случаях освоение неродного языка/диалекта бывает сопряжено с имитацией узуса его носителей. В распространении обработанной формы флорентийского диалекта в качестве литературного языка Италии особую роль сыграл язык флорентийских писателей XIV в., а также, до определенной степени, речь образованных

уроженцев Тосканы (преимущественно флорентийцев). Таким образом, сравнительная частотность *dovere* и перифразы «*avere a / da* + инфинитив» у не-флорентийских авторов и Джованни делла Каза вполне может отражать одну и ту же — флорентийскую — структуру функционально-семантического поля «долженствование».

Алессандро Пикколомини — единственный из авторов в нашем списке, кто, не будучи флорентийцем, при этом также был носителем одного из диалектов Тосканы — сиенского. Сиена из всех тосканских городов дольше всего боролась за независимость от Флоренции; из диалектов Тосканы сиенский имеет больше всего общих черт с южными диалектами Италии. В Сиене, как и во Флоренции, существовала академия, во многом противопоставлявшая себя Академии делла Круска. Узус сиенских писателей по ряду особенностей обнаруживал регулярные отличия от флорентийского [Жолудева, 2016b], что, по-видимому, было проявлением принципиальной позиции сиенцев, не желавших уступать роль «хозяев» литературного языка уроженцам Флоренции. С учетом всего этого представляется вполне вероятным, что преобладание деонтической перифразы над глаголом *dovere* в трактате А. Пикколомини обусловлено диалектными различиями внутри Тосканы. Косвенным свидетельством в пользу данной гипотезы можно считать тот факт, что перифраза «*avere a / da* + инфинитив» в настоящее время воспринимается как регионально маркированная (южная) особенность.

Для подтверждения данной гипотезы о причине различий в частотности *dovere* и деонтической перифразы у А. Пикколомини и других авторов из нашего списка необходимо проанализировать гораздо больший объем текстов, чем наш небольшой корпус, причем, как мы имели возможность убедиться, это должны быть тексты разных жанров. Здесь мы ограничимся тем, что наметим перспективу дальнейшего исследования.

4. Деонтическая перифраза и модальный глагол *dovere* в трактате Л.Б. Альберти

Сопоставив частотность двух средств выражения деонтической модальности у авторов XVI века, мы выявили различия в узусе флорентийцев и не-тосканцев, с одной стороны, и сиенца, с другой. В этой связи может возникнуть вопрос, не идет ли речь о хронологическом сдвиге, переходе во флорентийском диалекте XV–XVI вв. от доминирования перифразы к доминированию модального глагола (что отчасти объяснило бы позицию С. Телве и процитированных им ранних итальянских грамматистов). Это побудило нас расширить материал исследования, включив в него трактат Л.Б. Альберти «О семье» (“I libri della famiglia”).

Соотношение *dovere* и деонтической перифразы у Л.Б. Альберти выглядит следующим образом:

Таблица 2

	dovere	«*avere a* / *da* + инфинитив»
L.B. Alberti	135 (85,5%)	23 (14,5%)

Как мы видим, узус Л.Б. Альберти не обнаруживает существенных отличий от узуса флорентийских и не-тосканских авторов XVI в. Вероятнее всего, глагол *dovere* во флорентийском диалекте составлял ядро функционально-семантического поля «долженствование» уже начиная с эпохи первых памятников, как показано в грамматике староитальянского языка [Salvi, Renzi, 2010], и между XIV и XVI вв. в структуре данного поля не происходило резких изменений.

Возвращаясь к вопросу о том, почему в ранних грамматических описаниях итальянского языка среди модальных глаголов не упоминается *dovere*, позволим себе предположить, что статус *dovere* мог вызывать сомнения из-за частотности лексического употребления («быть должником», «быть подобающим»). В современном итальянском языке подобная ситуация возникает в связи со статусом глагола *sapere* («знать»), у которого модальное употребление («мочь», «уметь»), по меньшей мере, не является основным, хотя глагол соответствует некоторым из критериев, описывающих морфосинтаксическое поведение модальных глаголов (*non lo so fare* / *non so farlo*, **non so lo fare*).

5. Выводы

В ходе исследования мы получили следующие ответы на поставленные вопросы: а) дистрибуция базовых средств выражения деонтической модальности в итальянском языке XVI в. (модального глагола *dovere* и деонтической перифразы) не обнаруживает столь существенных отличий от современной ситуации, как заявлено в [Telve, 2007]; б) в этой связи возникает вопрос о репрезентативности корпуса текстов, на основании которых проводилось исследование С. Телве в той части, которая касалась частотности модального глагола *dovere*. Несмотря на то что набор текстов, послуживших материалом для нашего исследования также не может считаться достаточным для обобщений глобального характера, вместе с данными авторитетной «Грамматики итальянского языка» [Salvi, Renzi, 2010] наши соображения могут послужить отправной точкой для исследования эволюции ФСП «долженствование» в итальянском языке на более обширном и разнообразном материале.

Список литературы

Жолудева Л.И. Проблема национальной идентичности в итальянских исторических и лингвистических сочинениях XVI века // Вестн. Моск. ун-та. Серия 9. Филология. 2016. № 1. С. 111–119.

Жолудева Л.И. Черты диалектов Тосканы в пьесах итальянских комедиографов XVI века // Stephanos. 2016. № 18. С. 105–116.

Berizzi, *M.* Toccare come verbo deontico nei dialetti italiani // Quaderni di Lavoro ASIt. 2012. Vol. 14. C. 191–208.

Dardano, *M.*, *Trifone*, *P.* La nuova grammatica della lingua italiana. Bologna, 1997. 746 c.

Girardi, *A.* Storia linguistica e storia letteraria by Alfredo Stussi // Belfagor. Vol. 62. № 2. 2007. C. 235–240.

Grammatica dell'italiano antico / A cura di Salvi G., Renzi L. Bologna, 2010. 2 vols. 1745 p.

Padovan A., *Penello N.* I verbi modali nei dialetti pugliesi // Quaderni di lavoro ASIt. 2007. Vol. 7. C. 1–17.

Serianni, *L.* Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. Torino, 1988. 712 c.

Squartini, *M.* L'espressione della modalità // Grammatica dell'italiano antico / A cura di Salvi G., Renzi L. Vol. 2. Bologna, 2010. C. 583–593.

Telve, *S.* Essere o avere? Sull'alternanza degli ausiliari coi modali potuto, voluto (e dovuto) davanti a infiniti inaccusativi in italiano antico e moderno // Studi linguistici per Luca Serianni / A cura di Della Valle V., Trifone P. Roma, 2007. C. 313–325.

Telve, *S.* Proprietà sintattiche e semantiche di "dovuto", "potuto" e "voluto" nella storia dell'italiano. *Sintassi storica e sincronica dell'italiano. Subordinazione*, *coordinazione e giustapposizione*, *Atti del X Congresso SILFI*, *cur. A. Ferrari*, *Firenze*, *Cesati*. Firenze, 2009. Vol. 3, pp. 629–645. (In Italian)

Liubov I. Zholudeva

DEONTIC MODALITY IN 16th-CENTURY ITALIAN: DOVERE AND AVERE DA/A

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The article focuses on the distribution of means of expressing deontic modality (*dovere* as a modal verb vs periphrasis «*avere a / da* + inf.») in the 16th-century Italian didactic and moral-philosophical treatises. In contrast to recent viewpoint

by S. Telve that *dovere* is not frequently found in its modal function well until the 17th–18th-centuries, research shows that in the Florentine and Florentine-oriented treatises, that is, expressed by means of a modal verb or deontic periphrasis. Considerable deviations from the general tendency are observed only in the treatise by a Siena-born author, A. Piccolomini, which, in our view, can reflect the dialectal variation within Tuscany. It seems probable that the difference in results between our study and the study performed by S. Telve can be explained by looking more closely at the texts under analysis. Given that our aim was to find many contexts with explicit deontic modality, we have limited our material to didactic treatises where, due to their genre and content, it is natural to expect an elevated number of instances of *dovere* and *avere da / a*. S. Telve, in his turn, relies on the evidence from the two corpora — LIZ and OVI. The first one contains only pieces of fiction (with considerable preference for famous writers), and the second one, alongside with Florentine texts, contains evidence from a variety of other medieval Italian dialects (including the non-Tuscan ones), the development of which was fully independent and had no visible influence of the history of Italian as a standard language. Probably, the corpora and databases of this type, while being representative as such, in certain cases can show dubious results, and the data obtained with their help need to be checked on a different kind of material.

Key words: Italian language; history of Italian; deontic modality; modal verbs; Tuscan dialects; corpora-based studies.

About the author: *Liubov I. Zholudeva* — PhD, senior lecturer at Lomonosov Moscow State University, Faculty of Philology, Department of Romance Linguistics (e-mail: l.zholudeva@gmail.com).

References

Zholudeva, L. I. Problema natsionalnoi identichnosti v italianskih istoricheskih i lingvisticheskih sochineniyah XVI veka [The problem of national identity in the 16th — century Italian historical and linguistic treatises]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 9*: *Filologya* [*Moscow State University Bulletin. Series 9*: *Philology*], 2016, 1, pp. 111–119. (In Russ.)

Zholudeva, L. I. Cherty dialektov Toskany v piesah italianskih komediografov XVI veka [Tuscan dialect features in the 16th — century Italian comedies]. *Stephanos*, 2016, 18, pp. 105–116. (In Russ.)

Berizzi, M. Toccare come verbo deontico nei dialetti italiani. [Toccare as deontic verb in Italian dialects] *Quaderni di Lavoro ASIt*, 2012, 14, pp. 191–208. (In Italian)

Dardano, M., Trifone, P. *La nuova grammatica della lingua italiana*. [The new grammar of the Italian language]. Bologna, 1997. 746 p. (In Italian).

Girardi, A. Storia linguistica e storia letteraria by Alfredo Stussi. [Linguistic history and history of literature by Alfredo Stussi]. *Belfagor*, 2007, 2 (62), pp. 235–240. (In Italian)

Grammatica dell'italiano antico / A cura di Salvi G., Renzi L. [Grammar of Old Italian. Ed. by G. Salvi, L. Renzi] Bologna, 2010. 2 vols. 1745 p. (In Italian)

Padovan, A., Penello, N. I verbi modali nei dialetti pugliesi. [Modal verbs in Apulian dialects]. *Quaderni di lavoro ASIt*, 2007, 7, pp. 1–17. (In Italian)

Serianni, L. *Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria*. [Italian grammar. Common Italian and literary language] Torino, 1988. 712 p. (In Italian)

Squartini, M. L'espressione della modalità. *Grammatica dell'italiano antico*. A cura di Salvi G., Renzi L. [The verb. *Grammar of Old Italian*. Salvi G., Renzi L., eds.]. Vol. 2. Bologna, 2010, pp. 583–593. (In Italian)

Telve, S. Essere o avere? Sull'alternanza degli ausiliari coi modali potuto, voluto (e dovuto) davanti a infiniti inaccusativi in italiano antico e moderno. *Studi linguistici per Luca Serianni* / A cura di Della Valle V., Trifone P. [Essere or avere? On the alteration of auxiliaries with the modal verbs *potuto*, *voluto* (and *dovuto*) before unaccusative infinitives in Old and Modern Italian. *Linguistic studies offered to Luca Serianni*. Della Valle V., Trifone P., eds.]. Roma, 2007, pp. 313–325. (In Italian)

Telve, S. Proprietà sintattiche e semantiche di "dovuto", "potuto" e "voluto" nella storia dell'italiano. *Sintassi storica e sincronica dell'italiano. Subordinazione*, *coordinazione e giustapposizione*, *Atti del X Congresso SILFI*, *cur. A. Ferrari*, *Firenze*, *Cesati*. [Syntactic and semantic features of "dovuto", "potuto" and "voluto" in the history of Italian, in: *Historical and synchronic syntax of Italian. Proceedings of the X Congress SILFI*, *ed. by A. Ferrari. Florence*, *Cesati*], Florence, 2009. Vol. 3, pp. 629–645. (In Italian)

Denis S. Mukhortov, Ji Xiaoxiao

METAPHOR CLUSTERING IN AMERICAN PRESIDENTIAL INAUGURALS — FROM GEORGE H.W. BUSH TO DONALD TRUMP

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

This paper explores the phenomenon of metaphor clustering in American presidential inaugurals. The analysis shows that metaphor clustering plays a vital role in these inaugurals. Metaphor clusters may contribute to the cognitive and structural coherence of a discourse, the elaboration of important topics within a discourse, and also the fulfillment of a discourse's central purpose. Comparing the use of metaphor clusters in eight inaugurals reveals some similarities and some differences. The central topics of fundamental American values and country development appear in metaphor clusters in each of the seven inaugurals (except Trump's inaugural). Regarding differences, it is evident that each president uses his own individual metaphor types, including a certain favored metaphor which appears more frequently than the rest. This preferred metaphor often repeats itself throughout a discourse and is also used to link together several metaphors in a metaphor cluster. For example, the *breeze* metaphor is used as a binder to link several metaphors in Bush Senior's inaugural (1989).Trump's inaugural is different from the other four presidents' in terms of the use of metaphor clusters. The instance of metaphor clustering dominated by the carnage metaphor presents a scary image, which brings him some harsh criticism.

Key words: conceptual metaphor; presidential inaugurals; metaphor clusters; metaphor relations; discourse coherence; functions of metaphor.

1. Introduction

Metaphors have been a keen intellectual interest ever since Aristotle's era. The very nature of describing and understanding one kind of thing through the terms of another poses quite a problem for scholars who are interested in truth, particularly philosophers. To name just one example here, Thomas Hobbes once regarded the use of metaphors as a kind of

Denis S. Mukhortov — Candidate of Philology; Associate Professor at Lomonosov Moscow State University's School of Philology, English Linguistics Department (e-mail: dennismoukhortov@mail.ru).

Ji Xiaoxiao — PhD student at Lomonosov Moscow State University's School of Philology, English Linguistics Department (e-mail: rabbitjixiao@163.com).

abuse of speech [Leviathan, 1996: 21], though he himself used "Leviathan" metaphorically as the title of his book. It seems as though metaphors have already become ingrained into human thought. Any attempt of thinking without them seems impossible and unnecessary.

What *is* necessary, however, is to understand them as comprehensively as possible in order to avoid misusing them, whether it be intentionally or unintentionally, and to recognize any occurrences of misuse as efficiently as possible. The ability to recognize metaphor use is highly important because of the crucial roles it plays within a number of discourses, especially in political discourse. According to Kobozeva [2001], the functions of metaphor in the field of political discourse include: a heuristic function to assist the understanding of the ever-changing political reality and formulation of new political programs, an argumentative function to convince the audience of the correctness of certain political views, and a pragmatic interactive function to mitigate the most dangerous political statements that affect controversial political problems and minimize the responsibility of the speaker for the possible literal interpretation of his words by the addressees. Additionally, metaphorical language functions as a common platform which enables addressers to input non-conventional opinions into the consciousness of the addressees [Kobozeva, 2001]. Metaphors in political discourse have the potential to be one of the most effective ways of manipulating the human consciousness [Mukhortov, 2015a]. They may be used to describe and define any actual political situation, associating positive traits with the user and negative ones with his or her opponent [Ji Xiaoxiao, 2016b].

In modern times, the Conceptual Metaphor Theory proposed by Lakoff and Johnson [1980] has inspired various metaphor studies in many different research fields. Their idea of considering metaphors in terms of thought expands the overall understanding of metaphors. People not only express their ideas through metaphors, but also **think metaphorically**, know the world through metaphors, and even try to transform the linguistic picture of the addressee during the process of communication [Chudinov, 2013: 4]. In political discourse, observing the changes in prevailing metaphors across different epochs enables us to understand their different political realities and subsequently the changes in political situations, country, culture, lifestyle and ways of thinking [Kondratjeva and Kovaleva, 2016]. For example: in the Soviet totalitarian era, the dominating metaphors are military ones; in the era of stagnation, metaphors of kinship are at the forefront; during perestroika, architectural metaphors are most prevalent; and at the end of last century, the theatrical, sexual and criminal metaphors are most common [Baranov, 1991; Budaev, 2011; Kaslova, 2003; Chudinov, 2001, cit. in Kondratjeva and Kovaleva, 2016].

Among many branches of metaphor studies, the topic of the relationship between metaphors drew a certain amount of attention from scholars. For example, Baranov [2014: 43] put forward the notion of "metaphor constellation" which refers to the totality of metaphoric models that are interrelated in terms of approximation in profiling certain properties of the source sphere and the target sphere. The focus of this notion is mainly on the relationship between metaphors which are similar to each other to some extent. Compared to the topic of the relationship between metaphors, the phenomenon of **the distribution of metaphors in a discourse** is given relatively less attention. However, its obvious existence in different discourse contexts means that it deserves much more attention and effort in exploring its nature and characteristics.

The concept of **metaphor clustering** in this paper concerns **the distribution of metaphors in a discourse and the relationship between metaphors in a discourse,** i.e. how these metaphors are distributed in a discourse and how they are related to each other. The crowding of several metaphors may form a relative complete cognitive scenario, in which either several images crowd together to form a coherent or incoherent picture, or one image repeats itself to reinforce its effect. These cognitive scenarios embody the speaker or writer's deliberate or subconscious focus in a discourse and are usually closely related to the important topics of the discourse.

One of the earliest studies written about the distribution of figurative language in a discourse comes from the field of psychotherapy. Pollio and Barlow [1975] discovered that figurative language bursts in certain periods throughout individual sessions, and the bursts of figurative language tend to demonstrate therapeutic insight. Pollio and Barlow claimed that these findings suggest that there is a correlation between changes in the rate of figurative language production and the nature and purpose of the discourse. Although there is no direct mention of the term "metaphor clustering" in the study, this research is an early glimpse at the phenomenon of the distribution of figurative language in certain discourse context and contributes to the development of the topic.

Jamieson [1980] was likely to be the first user of the term "metaphoric cluster". He studied the phenomenon of metaphoric clusters in the rhetoric of Pope Paul VI and Edmund G. Brown Jr., a politician. He believed that it was not the recurrence of a single metaphor which made their rhetoric significant, but the appearance of clusters of related metaphors. Jamieson did not provide an exact definition for the term "metaphoric cluster". However, his analysis reveals that he viewed metaphoric clusters not based on the distribution of metaphors in a discourse but based on the relationship between different metaphoric lexicons or between different metaphors. He also utilized terms equivalent to "metaphor cluster", such

as "the metaphoric networks" and "clusters of related metaphors" in the paper. Nevertheless, his work is inspiring for subsequent researchers. His claim that "recurrent patterns observable in the surface language reflect deeper rhetorical consistencies" [1980: 51] reveals the close relationship between the occurrence of a certain linguistic feature and its effect in rhetoric.

More recently, metaphor clustering has been studied in many other discourse contexts, such as college lectures, Baptist sermons, business media discourses, and conciliation conversations, which has revealed some insightful findings. Corts and Meyer [1999], in their study of three college lectures, find that figurative language and gestures frequently occur in bursts. These bursts tend to occur when teachers explain unknown and difficult topics to their students, or when different ways of understanding a known topic are presented to students. Besides this, the study finds that "metaphors and gestures both singly and in combination serve 2 functions: (a) to orient audience members to the structure and flow of the lecture and (b) to present and emphasize novel perspectives on significant lecture content" [Corts and Meyer, 1999: 81].

Aside from the college lectures, Corts and Meyer [2002] also study Baptist sermons, which inherently contain many occurrences of figurative language. They find that the clusters of figurative language in Baptist sermons contain a central root metaphor that represents the topic under consideration. The clustering of figurative language in Baptists sermons is usually rooted in a certain topic which is relatively important to the purpose of the speech. Koller [2003] researched metaphor use in business media texts on marketing and mergers and acquisitions, concluding that certain dominant metaphors are qualitatively supported by other metaphors in the metaphor clusters. Metaphor clusters fulfill certain important functions, such as relevance-production in discourse. Cameron and Stelma [2004] studied the conciliation conversations and found that metaphor clusters are "sites of intensive work relating to the central discourse purpose" [2004: 107]. Thus, it can be said that the phenomenon of clustering is closely related to the purpose of discourse itself.

Studies of metaphor clustering confirm that the phenomenon of metaphor clustering exists in many different discourses, and that it is highly important to both the structure and purpose of a discourse. However, there has not been a great deal of such research into political discourse specifically. This paper is a minor contribution to this field.

This paper will analyze metaphor clustering in presidential inaugurals, a specific type of presidential discourse. Presidential discourse, as a kind of political discourse of power, is a specific manifestation of the communication between those in power and the public, and even of the political transformation at a certain era [Gavrilova, 2004]. The study of linguistic

characteristics of a president can reveal his speech patterns, his views, and his manner of political decision-making [Mukhortov, 2015b: 93]. Additionally, his discourse is also deeply influenced by the national culture and political culture. Thus, studying his language and style, such as in the course of the pre-election debate, may reveal a linguistic culture of the nation, its value orientation, and the availability of manipulative technologies for those in power to influence national consciousness [Mukhortov, 2016: 24]. Furthermore, the analysis of specific linguistic features, such as metaphor use in presidential discourse, may reveal the influence of some national and cultural background on presidents' linguistic characteristics and their personal rhetoric [Ji Xiaoxiao, 2016a: 242].

It is a well-known fact that presidential inaugurals are usually written with the help of professional speechwriters. The appearance of speechwriters in the political sphere may partly relate to the complexity of politics and therefore the importance of proper wording; any carelessness in presidential discourse may lead to troublesome or even disastrous results. Any illogical or improper wording may damage a president's image and reputation. As for the question of who the true author of these speeches is, one reasonable answer may be that it is the person who takes the responsibility for the speeches [Chudinov, 2012: 54]. After all, it is presidents who make the final decision on whether to accept the address, with or without any changes. And when they decide to accept it, they are fully responsible for every word that comes out of their mouths.

Even so, when studying the linguistic characteristics of presidential inaugurals, we have to keep in mind that underlying these linguistic characteristics are not only the thoughts of the presidents themselves, but most of all the "collective unconscious" [Jung, 1996] that belongs to a specific party, or a whole political cycle, or even the whole nation. Therefore, the metaphor use in presidential inaugurals can reflect both the president's own personal thoughts and, more importantly, they may reflect the thoughts and consciousness of his party or his country as a whole.

2. Corpus and method

2.1. Corpus

This paper examines the possible metaphor clustering in eight inaugurals of five American presidents, including George H. W. Bush (1989), Bill Clinton (1993 and 1997), George W. Bush (2001 and 2005), Barack Obama (2009 and 2013), and Donald Trump (2017). The overall data of the addresses contains about 15,660 words. The transcripts of these speeches come from the website "The American Presidency Project": http://www.presidency.ucsb.edu/inaugurals.php

The definition of metaphor clustering

In this paper, we locate metaphor clustering wherever groups of metaphorical sentences are found. The term **metaphorical sentence** refers to a sentence that contains one metaphor or more. That is to say, metaphorical sentences are used as the basic unit for studying metaphor clustering in a discourse. **Metaphor clustering can be regarded as a textual, or discursive, phenomenon suggesting a combination of metaphors located in adjacent metaphorical sentences throughout a text**.

There are **two types of metaphor clustering**: The first type refers to different kinds of metaphors occurring together in adjacent metaphorical sentences. It is assumed that the minimum number of metaphors making up a cluster is three. Within this cluster, three additional phenomena may occur — when a target domain is metaphorically understood in terms of different source domains, when a source domain is used to understand different target domains, or the phenomenon that different source domains are used to understand different target domains. The second type refers to the phenomenon of an extended metaphor where one metaphor is repeated and developed through linked source domains and target domains in consecutive metaphorical sentences throughout a text or discourse.

The visual presentation-scatter diagram

The results of research are presented both with qualitative discussions and related diagrams. In this paper, scatter diagrams (created with Microsoft Excel) will be used to visually present the distribution of metaphors and metaphor clusters within a discourse. In the scatter diagrams the horizontal axis shows the length of a discourse, i.e. numbers of sentences from the beginning of the discourse. The vertical axis shows the number of metaphorical sentences corresponding to each sentence in a discourse. If a sentence is metaphorical, we will count 1, if not, we will leave it uncounted. This serves the purpose of making each metaphorical sentence a point of data, while non-metaphorical sentences are not counted as a data point. Therefore, these data points will form a horizontal, discontinuous trend. Each instance of metaphor clustering will be bracketed in the diagrams.

The shortcoming of using a scatter diagram here is that it only presents a rough representation of the distribution of metaphors in a discourse and the variation of the metaphor clusters. This will be further refined and elaborated upon by analyzing specific examples of the phenomenon. Another shortcoming is that more than one metaphor may exist in a metaphorical sentence. Since we only count this sentence as one metaphorical sentence, the diagram may overlook some instances of clustering. The reason why we count a metaphorical sentence that may contain more than one metaphor as one instead of two or three is that we intend to make a horizontal, straight

line of metaphor distribution in a discourse instead of a curved line, since straight lines are more visually understandable. Therefore, this shortcoming will also be solved by the qualitative example analysis.

In the examples, all metaphorical words or phrases come in bold and italics and they are confirmed after checking their basic meaning and contextual meaning with the help of the Merriam-Webster online dictionary.

3. Qualitative analysis

In this section, we will firstly look at metaphor clusters in each inaugural and attempt to answer the following questions: What are their characteristics? How are they related to the address itself? How are the metaphors in a metaphor cluster related to each other? What are their functions in the address? Secondly, an attempt will be made to compare the use of metaphor clusters in all the eight inaugurals in order to find out possible similarities and differences among them.

3.1 Metaphor Clusters in Each Inaugural

George H.W. Bush (January 20, 1989)

(1) I come before you and assume the Presidency at a moment rich with promise. We live in a peaceful, prosperous time, but we can make it better. For ***a new breeze is blowing***, and a world ***refreshed by freedom*** seems ***reborn***. For in man's heart, if not in fact, the day of the dictator is over. The totalitarian era is passing, ***its old ideas blown away like leaves from an ancient, lifeless tree. A new breeze is blowing***, and a nation ***refreshed by freedom*** stands ready ***to push on***. There is ***new ground to be broken*** and new action to be taken. There are times when the future seems thick as a fog**;** ***you sit and wait, hoping the mists will lift and reveal the right path.*** But this is a time when the future seems a door you can ***walk right through into a room called tomorrow***.

Great nations of the world ***are moving toward*** democracy through ***the door to*** freedom. Men and women of the world move toward free markets ***through the door to*** prosperity. The people of the world agitate for free expression and free thought ***through the door to*** the moral and intellectual satisfactions that only liberty allows. (January 20, 1989)

(2) Some see leadership as high drama and the sound of trumpets calling, and sometimes it is that. ***But I see history as a book with many pages, and each day we fill a page with acts of hopefulness and meaning. The new breeze blows, a page turns, the story unfolds. And so, today a chapter begins, a small and stately story of unity, diversity, and generosity — shared, and written, together.*** (January 20, 1989)

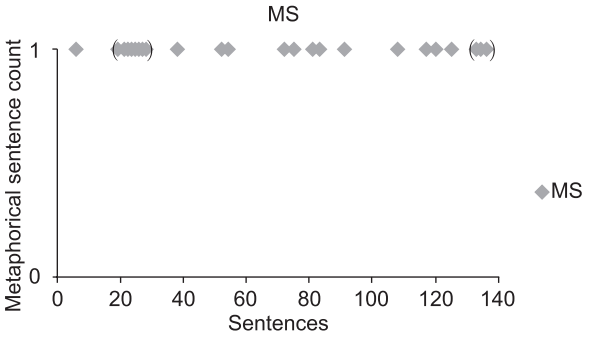


Figure 1: Distribution diagram of metaphorical sentences in the presidential inaugural of George H.W. Bush in 1989.

There are two occurrences of metaphor clustering in Bush Senior's inaugural. In example (1), several metaphors are crowded together in the two adjacent paragraphs, creating a cognitive scenario that presents the audience with a picture of an unfavorable past and a present filled with the opportunity of progress and a bright future. Moreover, the related metaphorical linguistic expressions in the address suggest that what may make this bright future a reality is the change that will come about when the president is in office.

The first metaphor that deserves our attention is the **breeze metaphor**. It appears twice in example (1), and five times throughout the address overall. A breeze is a light, gentle wind, which usually causes people to feel a sense of comfort. It is a weather phenomenon common in spring which is synonymous with rebirth and renewal. Therefore, the breeze metaphor used here by George H.W. Bush indicates that on the one hand, there will be some new changes in society during his presidential term, while on the other hand, the change will be tender and minor, which is comfortable and easy to accept, especially due to his former role as vice president to Reagan before he was elected as president.

Because a new breeze is blowing, a world is "reborn", "old ideas blown away like leaves from an ancient, lifeless tree", a nation starts to "push on", and "a new ground is to be broken". It can be noted that the breeze metaphor is combined with the birth metaphor, journey metaphor, the leaves and tree simile, and the building metaphor. All these images contribute to one picture in which a new change is on the way and that this change will have a positive impact. There are causal links between the breeze metaphor and other metaphors here: The following fog simile, journey metaphor, door simile, and room metaphor are also connected, especially the journey metaphor and the door metaphor. George H.W. Bush uses these metaphors here to present us with two pictures to compare: One is the image of a

place full of mist, in which everything is unclear and it is impossible to see an exit route, and the other is a picture of a door that waits for people to walk through it. The two pictures are all about the future. It is clear that the second picture is favorable for everyone; the future depicted in the second picture is the one everyone wants. The correlated images used by the president reinforce the fact that he is well qualified to be a president who would bring his people a brilliant future.

In example (2), Bush combines the breeze metaphor with the book metaphor and the story metaphor. History is seen as a storybook. Again, the new breeze means a new change, and the change turns a new page of the book of history and brings about new developments. It brings a bright future, unity, diversity, and generosity. Example (2) compares the image of high drama and the image of books. High drama is usually used in political discourse to signal something negative, as is the case in this instance. The second image of books is much more preferable.

All in all, we can see from the two examples that metaphors are linked to each other in each instance of metaphor clustering. They are topically related, describing one of the main topics of the address: change. Change is an eternal force in the world. It is a force unseen by humans, but the result it brings can be observed by humans. The formation and development of everything is closely related to the force of change. In presidential inaugurals, the topic of change is oft-mentioned. This instance of metaphor clustering shows the image of a negative past and a positive future. The good future will be guaranteed by the change brought about by the president.

In terms of discourse structure, example (1) appears towards the beginning of the inaugural, and example (2) at the end of the inaugural. In addition, metaphors in these two metaphor clusters are linked together by the breeze metaphor that functions as a cohesive tool. In fact, the repeated occurrence of the breeze image reveals its three main functions: First of all, it has a **cohesive function** in terms of the text itself. Like a thread, it runs through this inaugural address. In many cases, it is used with other images, such as leaves of an old tree, a beautiful kite and an unfolding book of history. Therefore, the breeze metaphor is combined with other images to make a coherent metaphor system in the discourse. Secondly, it has a **reassuring function**. The breeze is a natural phenomenon. It is a natural force that cannot be stopped or eliminated. Therefore, the change it brings *will certainly* occur. All the promises made by the presidents *will certainly be realized* because of the breeze. This metaphor reassures the audience and makes them believe that a new, positive change will soon occur. Thirdly, this metaphor has **the function of justifying an argument or enhancing the justification of an argument.** This also reinforces the qualifications of the

speaker. The arguments based on the breeze metaphor are justified because they are logically valid. The breeze can blow away leaves from an old lifeless tree, so it is logically valid that old ideas of the totalitarian era will pass. The breeze can help a kite fly higher and higher, so it is logically valid that more people will be freed when freedom is understood in terms of a kite. The breeze can blow pages of a book, so it is logically valid that people will get to experience new developments for people because of the inevitable change that will take place in the future.

Bill Clinton (January 20, 1993)

(1) We know we have to face hard truths and ***take strong steps,*** but we have not done so; instead, ***we have drifted***. And ***that drifting has eroded our resources, fractured our economy, and shaken our confidence.*** Though our challenges are fearsome, so are our strengths. Americans have ever been a restless, questing, hopeful people. And we must bring to our task today the vision and will of those who came before us. From our Revolution to the Civil War, to the Great Depression, to the civil rights movement, ***our people have always mustered the determination to construct from these crises the pillars of our history.*** Thomas Jefferson believed that to preserve the very ***foundations*** of our Nation, we would need dramatic change from time to time. Well, my fellow Americans, this is our time. Let us ***embrace*** it.

Our democracy must be not only the envy of the world but ***the engine*** **of** our own renewal. There is nothing wrong with America that cannot ***be cured by*** what is right with America. And so today we pledge an end to ***the era of deadlock and drift, and a new season of American renewal has begun.***

(2) The brave Americans serving our Nation today in the Persian Gulf, in Somalia, and wherever else they stand are testament to our resolve. But our greatest strength is the power of our ideas, which are still new in many lands. Across the world we see them embraced, and we rejoice. Our hopes, our hearts, our hands are with those on every continent who are ***building democracy and freedom***. The cause is America's cause. The American people have summoned the change we celebrate today. You have raised your voices in an unmistakable ***chorus.*** You have cast your votes in historic numbers. And you have ***changed the face of*** Congress, the Presidency, and the political process itself. Yes, you, my fellow Americans, ***have forced the spring.*** Now we must do the work ***the season*** demands. To that work I now turn with all the authority of my office. I ask the Congress to join with me. But no President, no Congress, no Government can undertake this mission alone.

In Bill Clinton's inaugural in 1993, there are two examples of metaphor clustering. In example (1), the metaphorical words and phrases in bold and italics seem to crowd into three groups. However, the last two groups are semantically much closer to each other, with one short sentence between them, so they can be identified as metaphor clustering. The metaphor cluster

consists of the building metaphor, engine metaphor, illness-curing metaphor, movement metaphor, and the seasonal metaphor. These metaphors relate to the topic of change, and past and future.

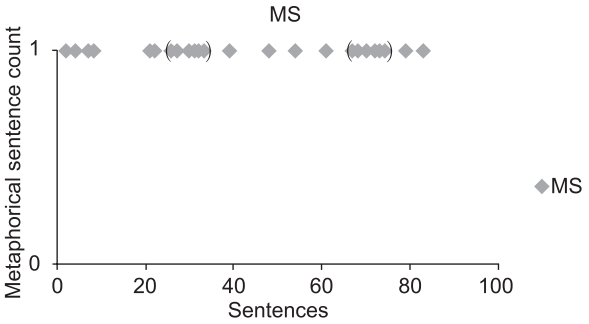


Figure 2: Distribution diagram of metaphorical sentences in the presidential inaugural of Bill Clinton in 1993.

There are two building metaphors — HISTORY IS A BUILDING and NATION IS A BUILDING. As an indispensable part of human life, buildings are everywhere: They may take the form of a house that provides shelter to people, a museum that provides knowledge to people, or a theater that provides entertainment to people. To understand an abstract concept in terms of construction may emphasize different aspects of this abstract concept with focus on different parts of construction. It may emphasize the difficulty of the building process, or it may emphasize the final product of the construction. It may even emphasize the materials used in the construction. All these possibilities depend on the user's conceptualization habits.

It is common to see a country as a construction; the development of a country requires a literal building process and a metaphorical building process. To see a country as a construction makes the abstract concept of a country seem more real and concrete. As a result, the metaphor presents the audience with an image of construction, making any contribution to the building of America visible. It is human nature to tend to believe what is visible. When something is visible it means that it is controllable. Humans are afraid of the unknown and losing control. Therefore, construction metaphors, to some extent, make abstract concepts seem less abstract and more familiar to us by concretizing the abstract concept and making it seem more real.

In the same way, seeing history as a construction process makes what seems distant and abstract seem nearer to us. Additionally, the construction metaphor makes us see what we have achieved, thus allowing us to feel a sense of accomplishment because we can vividly see the result. This sense

of accomplishment makes us feel that there is some value in our contributions, and therefore what we have is valuable. This sense of self worth is important for everyone.

The two building metaphors have different focus points: The metaphor HISTORY IS A BUILDING highlights the determination of American people who can take advantage of crises and transform them into the pillars of the building of history. It reveals a positive attitude towards crises. We know that a crisis is a situation full of problems that must be solved quickly in order to avoid the worsening of the situation. To some, it may seem like a pit that is impossible to climb out of. To others, it may be a chance which can be made use of, depending on an attitude people have towards it. The second building metaphor NATION IS A BUILDING highlights the necessity of change in order to maintain and strengthen the foundation of the nation. Here, the speaker emphasizes the importance of change.

The engine metaphor reveals the importance and indispensability of democracy in the country's development. The word "engine" refers to a machine that converts any form of energy into a mechanical force and motion. It serves as an energy source. Without it, any type of machine cannot operate. The illness-curing metaphor suggests that America has a self-healing capacity. The next metaphor is the movement metaphor. Movement is another common phenomenon in our lives. From the metaphorical linguistic expression "the era of deadlock and drift", it can be seen that the country's development is understood in terms of forward-bound movement. No development means no movement, and negative development means directionless movement. The last metaphor is the season metaphor. It refers to changes in social condition.

From the discussion above, we can see from the metaphor cluster that these metaphors are used to describe both the bad past and the promising future. The promising future is guaranteed by the change brought about by what is right with America and the traditional American ideals, such as democracy. Therefore, the metaphor clustering is **topical** in the inaugural because it helps to elaborate on one of the main topics of the inaugural, i.e. change.

In example (2), the metaphor cluster includes the building metaphor, chorus metaphor, personification, spring metaphor. The first metaphor we will talk about is the **spring metaphor**. Spring is a natural phenomenon, which relates to the abstract idea of rebirth. Spring is one of the phases in the succession of the four seasons. The succession of the four seasons in itself suggests a sense of determination and assurance, since it is certain that spring must come after winter. Therefore, the spring metaphor has a **reassuring function** here, making the audience feel certain that new change will come and everything will be better in spring. The spring metaphor ap-

pears in four places throughout the address. It has a **cohesive function** in terms of text production, it is like a thread running through the inaugural address. It sticks to the theme of the inaugural address, i.e. the renewal of America. Therefore, by using the spring metaphor, Bill Clinton suggests that his presidential term will bring a new and preferable change. Besides this, this spring/season metaphor has **the function of justifying an argument or enhancing the justification of an argument.** The arguments based on the metaphor are justified because they are logically valid.

The related linguistic expressions of the spring metaphor are also worth discussing. The linguistic expressions like "Yes, you, my fellow Americans, have forced the spring" **reveals the speaker's intention of strengthening the audience's sense of participation in the political process.** The second-person pronoun "you" unifies the audience, making each person feel that they are involved in the process which is so important and so grand. The expression "you forced the spring" is rhetorically powerful, but realistically impossible. How could humans "force" the spring? It is an impossibility. Thus, the impossibility makes the activity itself seem so exciting and grand, making the doers feel highly powerful and confident. Therefore, although this expression is realistically impossible, it is rhetorically persuasive. It makes humans feel that they are powerful. This feeling is what matters for humans. Facing nature, humans are small and sometimes powerless, and this frightens them. So, humans seek every means to be powerful and to control everything they possibly can. We can see why such an expression is a powerful and persuasive strategy: It not only satisfies and reassures the audience emotionally, but also makes them feel confident about choosing the president who speaks these words.

In this inaugural, there is a similar expression: "we force the spring". It is functionally similar to what we have discussed, and only differs in the use of pronouns. The first-person plural pronoun "we" includes both the president himself and the whole audience. The use of this pronoun unifies the audience and himself, and the use of the second-person plural pronoun "you" refers to all Americans. When the second-person plural is used, Americans get all the credit for "forcing the spring". Thus, the feeling of power strengthens. The spring metaphor is used to describe the actions that should be taken in this season. Therefore, in the expression "we must do the work the season demands" the season refers to the spring. And in spring, we have to work hard in order to harvest in fall. Spring is the season of beginnings. This sense may be closely related to the tradition of farming. In this season, farmers begin to cultivate their land and harvest all the products of autumn. Therefore, spring is related to the beginning of doing something productive. To relate the concept of spring with work and service is therefore highly convincing to the audience.

Bill Clinton (January 20, 1997)

(1) At the ***dawn*** of the 21 century, a free people must now choose to shape the forces of the information age and the global society, to unleash the limitless potential of all our people, and yes, to form a more perfect Union.

When last we gathered, ***our march to this new future seemed less certain than it does today.*** We vowed then ***to set a clear course to*** renew our Nation. In these 4 years, we have been touched by tragedy, exhilarated by challege, strengthened by achievement. ***America stands alone*** as the world's indispensable nation. Once again, our economy is the strongest on Earth. Once again, we are ***building stronger families, thriving communities, better educational opportunities, a cleaner enviroment.***.

(2) The divide of race has been America's constant ***curse***. And each new ***wave of*** immigrants gives new targets to old prejudices. ***Prejudice and contempt cloaked*** in the pretense of religious or political conviction are no different. These forces have nearly destroyed our Nation in the past. They ***plague*** us still. They ***fuel*** the fanaticism of terror. And they ***torment*** the lives of millions in ***fractured*** nations all around the world.

These obsessions ***cripple*** both those who hate and of course those who are hated, ***robbing*** both ***of*** what they might become. We cannot, we will not, succumb to ***the dark impulses*** that ***lurk*** in the far regions of the soul everywhere. We shall overcome them. And we shall replace them with the generous spirit of a people who feel at home with one another. Our ***rich texture*** of racial, religious, and political diversity will be a godsend in the 21st century. Great rewards will come to those who can live together, learn together, work together, forge new ***ties*** that ***bind*** together.

(3) Fellow Americans, we must not ***waste the precious gift of*** this time. For all of us are ***on that same journy of*** our lives, and ***our journy, too, will come to an end***. But ***the journey of our America must go on.***

And so, my fellow Americans, we must be strong, for there is much to dare. The demands of our time are great, and they are different. Let us ***meet them*** with faith and courage, with patience and a grateful, happy heart. Let us ***shape the hope of this day into the noblest chapter in our history.*** Yes, let us ***build our bridge, a bridge wide enough and strong enough for*** every American ***to cross over to*** a blessed land of new promise.

May those generations whose faces we cannot yet see, whose names we may never know, say of us here that we ***led our beloved land into*** a new century with the American dream alive for all her children, with the American promise of a more perfect Union a reality for all her people, with America's ***bright flame of freedom spreading throughout all the world.***

From the height of this place and the summit of this century, let us ***go forth.***

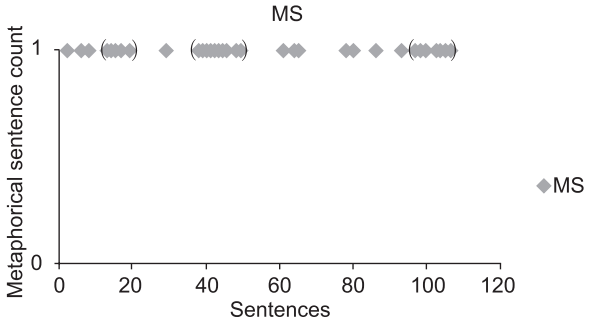


Figure 3: Distribution diagram of metaphorical sentences in the presidential inaugural of Bill Clinton in 1997.

In the second presidential inaugural of Bill Clinton, there are three occurrences of metaphor clustering. In example (1), the metaphor cluster includes the dawn metaphor, journey metaphor, personification NATION IS A PERSON, and the building metaphor. The dawn metaphor is a conventional metaphor, as the phrase "at the dawn of " is equal to "at the beginning of". The journey metaphor is used to recall the change in confidence between the past and present. From the sentences "when last we gathered, our march to this new future seemed less certain than it does today. We vowed then to set a clear course to renew our Nation", we can see that the president implicitly acclaims himself since he describes the "less certain" journey in the past as becoming clearer after his first term and implies that America became the world's most indispensable nation due to his governance. To personify America as a person standing alone is to highlights the image of a hero who is highly important. It is a political strategy to aggrandize America's status in the world. The building metaphor is used to concretize abstract concepts, therefore making the process of change visible and vivid to the audience.

In example (2), the metaphor cluster is based on one target domain with different source domains. The target domain is two kinds of negative attitudes: prejudice and contempt. These forces are metaphorical plagues, fuel, evil powers, robbers, and dark impulses. It is evident that the metaphors in this metaphor cluster are combined and accumulated to strenghthen their power to describe the negative nature of prejudice and contempt. On the contrary, the texture metaphor and tie metaphor presents a positive picture of unity and harmony.

In example (3), the gift metaphor journey metaphor, bridge metaphor, and fire metaphor are connected to each other to present a picture of a traveller on a journey. The target domains in this metaphor cluster are time, human life, the development of a country, history, and freedom. In

this example, the sentences "For all of us are on that same journey of our lives, and our journey, too, will come to an end. But the journey of our America must go on" show the speaker's distinction between a human's life and the development of the country, that is, one is a forward-oriented journey which will come to an end one day, while the other is an endless forward journey.

The journey metaphor, as a spatial movement metaphor, is drawn from the fundamental human experience. Spatial movement is an action performed by humans and other creatures in nature; it is one of the most basic states of life. In political discourse, spatial movement is mostly used to understand the abstract concepts of "growth" or "development". In this inaugural, it can be seen that, among other metaphors, the journey metaphor is relatively frequently used. The repeated use of the journey metaphors creates a coherent cognitive scenario in the address, i.e. everyone is on the same journey to an unknown, but possibly happy, destination. When politicians use journey metaphors, it is often to highlight the action of "going" and possible bright and positive destinations, thus giving their discourse a **reassuring function**.

Special attention should be paid to Clinton's combining of the journey metaphor with the bridge metaphor. Bill Clinton uses this metapor frequently in his acceptance address in 1996. He uses the bridge metaphor in almost twenty paragraphs in the address, relating his bridge metaphor to a variety of topics. Most of his bridge metaphors are used to acclaim his past accomplishements and future plans. The **interdiscursive** use of the bridge metaphor not only connects Clinton's different discourses, but also maintains the continuity of metaphor use throughout them.

The fire metaphor is used to understand freedom, depicting an image of fire with flames spreading throughout the entire world. In this example, the understanding of freedom in terms of fire highlights the "brightness" and "rapid dissemination" of fire, among other features. America's freedom is seen as a fire that can rapidly be proliferated and beneficial to other countries.

Fire has rich metaphoric associations. According to Osborn [1967], it is, primarily, a basic condition for human development, providing warmth and cooked food, thus guaranteeing their health and bodily comfort. Secondly, fire relates inseparably to light. In ancient times fire and light went together, both providing the condition for sight. Light can also represent intellectual knowledge, and so can fire. Thirdly, fire can be rapidly reproduced and spread from one place to another, so it can represent the rapid proliferation of something, such as an idea. Fourthly, fire burns and breaks down substances, therefore, it has functions of both purifying and destroying. In this case, fire sometimes relates to the religious notion of purgatory. A good example of the purifying function of fire could be found in the Early Modern period from 15th to 18th of witch-hunts in Early Modern

Europe and Colonial North America, when a lot of so-called "witches" were burned alive.

George W. Bush (January 20, 2001)

(1) I am honored and humbled to stand here where so many of America's leaders have come before me, and so many will follow. ***We have a place, all of us***, ***in a long story, a story we continue but whose end we will not see***. It is ***a story of a new world that became a friend and liberator of the old***, ***the story of a slaveholding society that became a servant of freedom***, ***the story of a power that went into the world to protect but not possess, to defend but not to conquer***.

It is the American story, a story of flawed and fallible people united across the generations by grand and enduring ideals. The grandest of these ideals is an ***unfolding*** American ***promise*** that everyone belongs, that everyone deserves a chance, that no insignificant person was ever born.

(2) Americans are called to enact this promise in our lives and in our laws. And though our Nation has sometimes ***halted*** and sometimes ***delayed,*** we must ***follow no other course.***

Through much of the last century, ***America's faith in freedom and democracy was a rock in a raging sea. Now it is a seed upon the wind, taking root in many nations.*** Our democratic faith is more than the creed of our country. It is the inborn hope of our humanity, ***an ideal we carry*** but do not own, a trust we bear and pass along. Even after nearly 225 years, ***we have a long way yet to travel.***

(3) Much time has passed since Jefferson arrived for his inauguration. The years and changes accumulate, but the themes of this day, he would know: ***our Nation's grand story of courage*** and its simple dream of dignity.

We are not this story's author, who fills time and eternity with his purpose. Yet, his purpose is achieved in our duty. And our duty is fulfilled in service to one another. Never tiring, never yielding, never finishing, we renew that purpose today, to make our country more just and generous, to affirm the dignity of our live and every life. This work continues, ***the story goes on***, and angel still rides in the whirlwind and directs this storm.

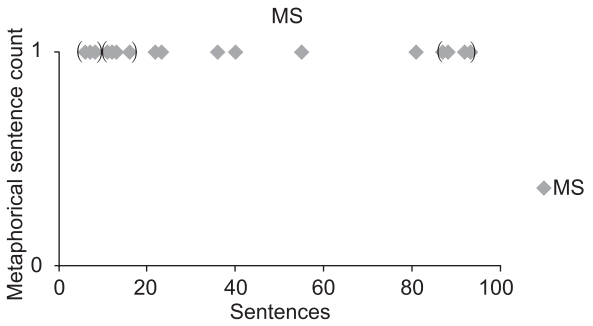


Figure 4: Distribution diagram of metaphorical sentences in the presidential inaugural of George W. Bush in 2001.

In George W. Bush's first inaugural address, there are three examples of metaphor clustering. In example (1), the story metaphor is repeated, creating a metaphor cluster. The word "story" is used metaphorically, referring to a description of events in a person's life or in the development of a country. When the president says that "we have a place, all of us, in a long story, a story we continue but whose end we will not see", he unifies the audience and gives the whole audience **a sense of participation**. This also makes such a grand and vague concept of the development of a country seem much clearer, since stories are familiar to all of us. Then, the repeated sentence structures of "it is a story of ..." and "it is the American story, a story of ..." focuses on America's history, and the positive changes America has undertaken over the centuries.

The story metaphor occurs at the beginning of the inaugural and is also repeated at the end of the inaugural. It functions as a **cohesive tool** to the structure of the address. In example (3), the sentence "we are not this story's author, who fills time and eternity with his purpose. Yet, his purpose is achieved in our duty" shows that although people cannot decide where the story is going, they can meaningfully contribute to the story. The story metaphor in this sentence encourages people to take part in the story process. The story metaphor combines what has happened in the past and what will happen in the future. It contributes to the elaboration of the topic of this address, i.e. past and future. The uses of the story metaphor at the beginning and end of the inaugural echo each other, thus making the address structurally coherent.

In example (2), the president uses a novel metaphor; America's faith in freedom and democracy is seen as "a rock in a raging sea" in the past, and "a seed upon the wind, taking root in many nations" at the time when the address is made. The two images present two different situations of America's faith in freedom and democracy. The comparison between the two images highlights the importance of change; the picture of a rock in a raging sea tells its story of being alone, under great pressure, while the image of a seed upon the wind taking root in many places reveals its vitality and quick dissemination.

Example (2) also includes the spatial movement metaphor and the journey metaphor. The conceptual metaphors NO DEVELOPMENT IS NO MOVEMENT and BAD DEVELOPMENT IS SLOW MOVEMENT are revealed by the relevant metaphorical words and phrases. The verb "halt" describes a situation in which no movement occurs, and the verb "delay" means a movement or process happens slower than usual. In this case, the negative development of a nation is understood in terms of there being no movement at all or slow movement, while the phrase "follow other course" reveals the determination of maintaining walking on the established road. The sentence "we have a long way yet to travel" also manifests the idea that the development of the country is understood in terms of a journey.

George W. Bush (January 20, 2005)

(1) Today I also speak anew to my fellow citizens. From all of you I have asked patience in the hard task of securing America, which you have granted in good measure. Our country has accepted obligations that are difficult to fulfill and would be dishonorable to abandon. Yet because we have acted in the great liberating tradition of this Nation, tens of millions have achieved their freedom. And as ***hope kindles hope,*** millions more will find it. By our efforts, we ***have lit a fire as well, a fire in the minds of men. It warms those who feel its power. It burns those who fight its progress. And one day this untamed fire of freedom will reach the darkest corners of our world.***

(2) We ***go forward*** with complete confidence in the eventual triumph of freedom, not because ***history runs on the wheels of inevitability***—it is human choices that move events; not because we consider ourselves a chosen nation—God moves and chooses as He wills. We have confidence because ***freedom is the permanent hope of mankind, the hunger in dark places, the longing of the soul.*** When our Founders declared a new order of the ages, when soldiers died ***in wave upon wave*** for a union based on liberty, when citizens marched in peaceful outrage under the banner "Freedom Now," they were acting on an ancient hope that is meant to be fulfilled. History has ***an ebb and flow of justice***, but history also has ***a visible direction,*** set by liberty and the Author of Liberty.

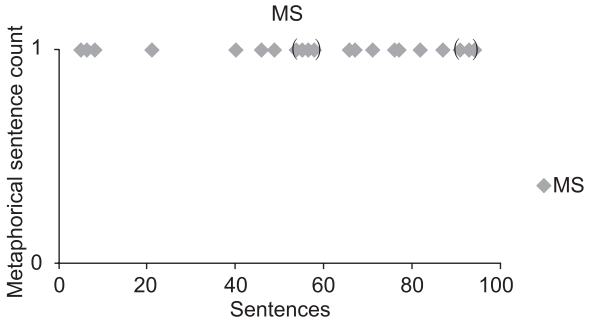


Figure 5: Distribution diagram of metaphorical sentences in the presidential inaugural of George W. Bush in 2005.

The second inaugural of George W. Bush includes two examples of metaphor clustering. In example (1), the image of fire is related to the notion of freedom and hope. As discussed above, fire has rich metaphoric associations; it provides warmth and cooked food, thus guaranteeing health and bodily comfort for humans. It relates inseparably to light, which represents intellectual knowledge. It also burns and breaks down substances, therefore it has both purifying and destructive functions. All the characteristics of fire mentioned here can be seen in example (1). The linguistic expression

"hope kindles hope" highlights the ease with which fire spreads, and the sentences "by our efforts, we have lit a fire as well, a fire in the minds of men. It warms those who feel its power. It burns those who fight its progress. And one day this untamed fire of freedom will reach the darkest corners of our world" depicts fire in full, with its quality of warmth, purifying force, rapidly-spreading nature, and illumination.

Example (2) includes the journey metaphor, machine metaphor, and sea metaphor. The sentence "we go forward with complete confidence in the eventual triumph of freedom" reveals that the development of a country is a forward-oriented movement. Here, the journey metaphor is combined with the machine metaphor to describe the notion of history. The sentence "We go forward with complete confidence in the eventual triumph of freedom, not because history runs on the wheels of inevitability — it is human choices that move events" highlights people's desire to make history. The idea that "history not runs on the wheels of inevitability" may come from Martin Luther King Jr., who once said that "Somewhere along the way — Somewhere we must come to see that human progress never rolls in on the wheels of inevitability. It comes through the tireless efforts and the persistent work of dedicated individuals who are willing to be coworkers with God" in his Methodist Student Leadership Conference Address in 1964. The idea behind these sentences is that change doesn't just happen by itself, instead, you need to work hard for it. History doesn't just happen by itself, instead, humans make history.

The sea metaphor in example (2) comes mainly from the phrase "wave upon wave". The phrase can also be used as "wave after wave", meaning large quantities of something, coming in one wave after another. Here, it is used to describe the high number of soldiers who sacrificed themselves for their nation. The phrase "ebb and flow" means a frequently changing situation. The sentence "history has an ebb and flow of justice" reveals how the condition of justice changes throughout history. Both examples use the phenomena of sea to describe some change, the first being the quantitative change and the second being the situational change.

Barack Obama (January 20, 2009)

(1) Forty-four Americans have now taken the Presidential oath. The words have been spoken during ***rising tides of*** prosperity and ***the still waters of*** peace. Yet every so often, the oath is taken amidst ***gathering clouds and raging storms.*** At these moments, ***America has carried on*** not simply because of the skill or vision of those in high office, but because we the people have remained faithful to the ideals of our forebears and true to our founding documents.

(2) In reaffirming the greatness of our Nation, we understand that greatness is never a given. It must be earned**.** ***Our journey has never been one of shortcuts or settling for less. It has not been the path for*** the fainthearted,

for those who prefer leisure over work or seek only the pleasures of riches and fame. Rather, ***it has been*** the risk-takers, the doers, the makers of things — some celebrated, but more often men and women obscure in their labor — ***who have carried us up the long, rugged path toward prosperity and freedom.***

(3) Nor is the question before us whether the market is a force for good or ill. ***Its power to generate*** wealth and expand freedom is unmatched. But this crisis has reminded us that without a watchful eye, ***the market can spin out of control***. The Nation cannot prosper long when it favors only the prosperous. The success of our economy has always depended not just on the size of our gross domestic product, but on the reach of our prosperity, on our ability to extend opportunity to every willing heart, not out of charity, but because ***it is the surest route to our common good.***

(4) America, in the face of our common dangers, in ***this winter of*** our hardship, let us remember these timeless words. With hope and virtue, let us brave once more ***the icy currents*** and endure what ***storms*** may come. Let it be said by our children's children that when we were tested, we refused ***to let this journey end***; that ***we did not turn back, nor did we falter. And with eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations.***

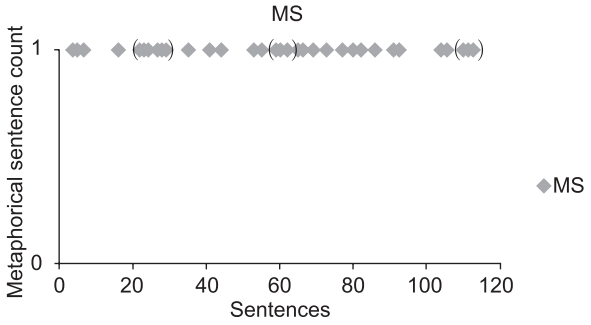


Figure 6: Distribution diagram of metaphorical sentences in the presidential inaugural of Barack Obama in 2009.

There are four occurrences of metaphor clustering in Barack Obama's first inaugural. In example (1), the nature phenomena related to the sea, like rising tides, still waters, gathering clouds and raging storms are used to describe the situation of the country. Behind these metaphors lies the ship of state metaphor. In western culture, the ship of state is a well-known and oft-used metaphor. Plato, in his Book VI of the Republic, compared the governance of a city-state to steering a ship. In modern American political culture, the ship of state metaphor is a common metaphor in which the image of the state is viewed as a ship in need of a government to command

and control it, and the head of the government is viewed as the captain of the ship. It is clear that Obama uses the ship of state metaphor implicitly here, highlighting the changeable and dynamic situations a ship may meet at sea. Here, the rising tides are used to describe the condition of a country being successful or thriving, the still waters are used to describe its stable condition, and the gathering clouds and raging storms are used to indicate a crisis situation a country may meet. These natural phenomenon metaphors are used to describe all kinds of situations a country may come across, and during these various moments, America "has carried on" due to the faithfulness to the ideals of forbearers and founding documents. The nature phenomenon metaphor is used alongside the movement metaphor, here, to present us with a picture of a ship travelling constantly through the sea, despite facing various challenging situations.

Example (2) and (4) are all about journey metaphors. In example (2), the development of a country is described as a journey: a long, rugged journey with its destination of prosperity and freedom. And only "the doer" instead of "the fainthearted" can arrive at the destination. The journey metaphor, here, is intended to inspire people to work hard to make their country great. In example (4), Obama depicts a determined traveler who keeps going forward despite of the negative situation, such as winter, the icy current and storms. The use of journey metaphors runs throughout the address, structurally functioning as a **cohesive tool**. To describe something as a journey provides a relatively concrete framework for it. When the journey metaphor is used to describe the development of a country, the abstract concept of development seems to possess the characteristics of journey-related, unpredictable circumstances along the way, forward movement, a destination-oriented nature, and, most of all, the desirable and happy end that we have no clear and certain idea of. The journey metaphor, here, is used not only to encourage people, but also to unify people by providing a so-called shared journey experience.

In example (3), the metaphor cluster consists of a machine metaphor and a journey metaphor. The market is seen as a machine which can generate wealth and expand freedom, while also having the potential to fall out of our control if not monitored carefully. Machines are man-made, therefore, they can be operated, checked, regulated, and fixed by people. Therefore, the MARKET IS MACHINE metaphor used by the president reveals a fundamental principle of the Democratic Party, which holds the idea that the economy should be regulated and certain government intervention in the market is necessary.

Barack Obama (January 20, 2013)

(1) We, the people, declare today that the most evident of truths — that all of us are created equal — ***is the star that guides us still; just as it guided***

our forebears through Seneca Falls and Selma and Stonewall; just as it guided all those men and women, sung and unsung, who ***left footprints along*** this great Mall, to hear a preacher say that we cannot ***walk alone***; to hear a King proclaim that our individual freedom is inextricably bound to the freedom of every soul on Earth.

(2) It is now our generation's task to carry on what those pioneers began. ***For our journey is not complete until*** our wives, our mothers and daughters can earn a living equal to their efforts. ***Our journey is not complete until*** our gay brothers and sisters are treated like anyone else under the law-for if we are truly created equal, then surely the love we commit to one another must be equal as well. ***Our journey is not complete until*** no citizen is forced to wait for to exercise the right to vote. ***Our journey is not complete until*** we find a better way to welcome the striving, hopeful immigrants who still see America as land of opportunity-until bright young students and engineers are enlisted in our workforce rather than expelled from our country. ***Our journey is not complete until*** all our children, from the streets of Detroit to the hills of Appalachia, to the quiet lanes of Newtown, know that they are cared for and cherished and always safe from harm.

That is our generation's task — to make these words, these rights, these values of life and liberty and the pursuit of happiness real for every American. Being true to our founding documents does not require us to agree on ***every contour of life.*** It does not mean we all define liberty in exactly the same way or follow ***the same precise path to happiness.*** Progress does not compel us to settle centuries-long debates about the role of government for all time, but it does require us to act in our time.

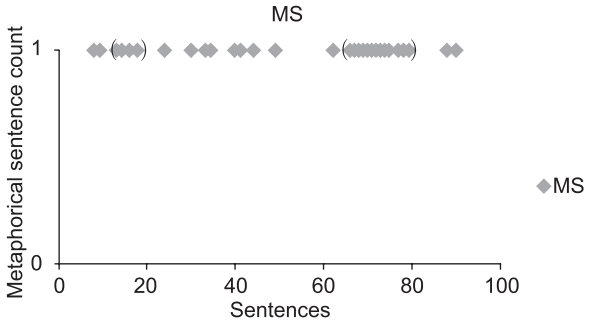


Figure 7: Distribution diagram of metaphorical sentences in the presidential inaugural of Barack Obama in 2013.

The two metaphor clusters in Obama's second inaugural all consist of journey metaphors. From the inaugural in 2009 and this inaugural, it can be deduced that Obama predominantly favors journey metaphors. As we

have discussed in the paragraph above, the journey metaphor has a special ability to unify and reassure people. The journey metaphor makes the abstract concept of development seem as if it possessed the characteristics of journey-related unpredictable circumstances along the way, forward movement, destination-oriented, and most of all, the desirable and happy end that we have no clear and certain idea of. The journey metaphor is used to make the audience feel as though they have a choice to make, thus to unify them by providing them with a so-called shared journey experience.

The star metaphor in example (1) relates to the idea of equality. Stars at night provide light, and can therefore guide travelers at night. Thus, this presents the idea that equality is necessary for the development of a country, especially in its dark times. In example (2), the sentence structure "For our journey is not complete until..." is repeated five times in the paragraph. The journey metaphor outlines the president's ambitions, or rather, goals for the future. Metaphors, repetition, and parallelism are combined here to fulfill the president's appeal for the necessary changes in the future.

Donald Trump (January 20, 2017)

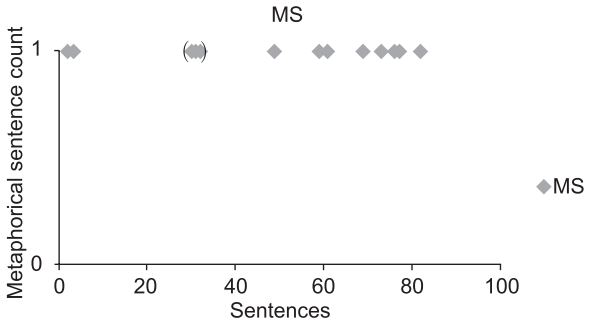


Figure 8: Distribution diagram of metaphorical sentences in the presidential inaugural of Donald Trump in 2017.

(1) But for too many of our citizens a different reality exists: Mothers and children ***trapped in poverty*** in our inner citizens: rusted-our factories ***scattered like tombstones*** across the landscape of our Nation; an education system, flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge; and the crime and the gangs and the drugs that have ***stolen*** too many lives and ***robbed*** our country ***of*** so much unrealized potential.

This American carnage stops right here and stops right now. We are one Nation, and their pain is our pain, their dreams are our dreams, and their success will be our success. We share one heart, one home, and one glorious destiny.

Metaphors are somewhat scattered, or located unevenly, in Trump's inaugural. The only instance of metaphor clustering spotted in research is used to describe a frightening image. It includes several conceptual metaphors: the metaphor POVERTY IS A LOCATION, FACTORIES ARE TOMBSTONES, personification CRIMES ARE CRIMINALS, and carnage metaphor SOCIAL AND ECONOMIC DESOLATION IS CARNAGE. These metaphors are crowded together to form a very negative image. These metaphors are connected to each other, or rather, all other metaphors are used to serve the dominant metaphor in this clustering — the carnage metaphor.

'Carnage' literally means "great and usually bloody slaughter or injury, as in battle". Trump used it to refer to a social and economic desolation when he said that "This American carnage stops right here and stops right now". However, due to its negative connotations, the word disturbed people by presenting a scary image. This hyperbolic metaphor to some extent influences the assessment of the address. It was harshly criticized by the media as soon as it emerged.

It should be noted that Trump's inaugural is different from the other inaugurals. The traditional aims of presidential address in unifying the two parties and the people and reiterating the traditional American ideas seem to be given less attention. In fact, the address was harshly criticized in the domestic media because of its content and wording. It was branded as an "unprecedented, divisive speech" [Time, 2017], "striking a tone of nationalism and populism" [Wall Street Journal, 2017; Los Angeles Times, 2017], and being "one of the most ominous" in U.S. history [Los Angeles Times, 2017].

3.2. Comparison

Regarding significant similarities and differences between the addresses under analysis, tables of comparison have been made, outlining the metaphors in all metaphor clusters of each president and indicating source and target domains.

Table 1. **Metaphor types by source domains and target domains in metaphor clusters in George H.W. Bush's presidential inaugural in 1989**

1989	
Target domain	**Source domain**
Change	Breeze
Freedom	Refreshing power
Development	Forward Movement
History	Book (Storybook)
Tomorrow	Room

Table 2. **Metaphor types by source domains and target domains in metaphor clusters in Bill Clinton's presidential inaugural in 1993 and 1997**

1993		1997	
Target domain	**Source domain**	**Target domain**	**Source domain**
Change	Spring		
Freedom	Building	Freedom	Fire
Democracy	Engine/Building		
Development	Movement	Development	Forward movement/journey
History	Building	History	Book
Nation	Building	Country	Person
Problem and solution	Illness-curing		
		Time	Gift
		Means to future	Bridge
		Negative attitudes	Plague, fuel, evil force, robber, dark impulses
		Families, communities, opportunities, environment	Building

Table 3. **Metaphor types by source domains and target domains in metaphor clusters in George W. Bush's presidential inaugural in 2001 and 2005**

2001		2005	
Target domain	**Source domain**	**Target domain**	**Source domain**
Faith in freedom and democracy	A rock in a raging sea/ A seed upon the wind	Freedom/Hope	Fire
Development	Forward movement/ Journey	Development	Forward movement
Country development	Story		
		History	Machine

Table 4. **Metaphor types by source domains and target domains in metaphor clusters in Barack Obama's presidential inaugurals in 2009 and 2013**

2009		2013	
Target domain	**Source domain**	**Target domain**	**Source domain**
Freedom	Gift	Equality	Star
Development	Forward Movement/Journey	Development	Forward movement/Journey
Market	Machine		
Country situation	Rising tides/still waters/gathering clouds/raging storms/ winter/icy currents		

Table 5. **Metaphor types by source domains and target domains in metaphor clusters in Donald Trump's presidential inaugural in 2017**

2017	
Source domain	**Target domain**
Location	Poverty
Tombstone	Factory
Criminal	Crime
Carnage	Social and economic desolation

The first observation to be made is that Trump's use of metaphor clustering is different from the other four presidents. The only instance of Trump's metaphor clustering is the negative description of social condition. While in the other four presidents' instances, certain target domains-topics are oft-mentioned. They are America's fundamental ideas and the country's development. The topic of development appears in all clusters, and every occurrence is elaborated through the image of a journey. The topic of development is the most important priority for any country, so it comes as no surprise that each president talks about it in his inaugural.

Although each president draws on the fundamental ideas of modern society in their inaugurals, the ideas emphasized through their individual clusters are different. The topic of freedom appears in all the inaugurals. The difference lies in the fact that different source domains are used to describe it. In the clusters of Bush Senior's inaugural, freedom is seen as something that can refresh the nation to help it move forward. The topic of freedom also appears in other places in the inaugural, aside from the clusters. In a simile made especially for children, freedom is described as a beautiful kite. The concept of freedom as fire appears in the clusters of the inaugurals of Bill Clinton (1997) and Bush Junior (2005). As opposed to the fire metaphor, Bill Clinton (1993) views freedom in terms of construction. Obama (2009), in his clusters, speaks about freedom in terms of being a gift, but uses the metaphor of light to discuss freedom in other points of his address. Bush Junior, (2001) when talking about the topic of freedom in his clusters, focuses on the faith in freedom and democracy which was once a rock in a raging sea but then became a seed upon the wind.

Another repeatedly mentioned idea in these clusters is democracy, although it is less frequently mentioned than freedom. Clinton (1993) describes democracy in terms of engines and buildings, while Bush Junior (2001) mentions both freedom and democracy together. Among all the inaugurals and clusters, only Obama (2013) uses metaphors to describe the idea of equality. He uses the star-with-a-journey metaphor to highlight the importance of equality in the development of a country.

Metaphors used for the topic of change only occur in the clusters of the inaugurals of Bush Senior (1989) and Bill Clinton (1993). Bush Senior uses the breeze metaphor, while Bill Clinton (1993) uses the spring metaphor.

It can be seen that in terms of the source domains used in the clusters of these presidents the journey metaphor is oft-used. Furthermore, each president has his own points of focus within the use of source domains: Bush Senior concentrates on his breeze metaphor, Bill Clinton prefers the building metaphor in 1993 and the journey metaphor in 1997, Bush Junior prefers the story metaphor in 2001 and the fire metaphor in 2005, and Obama prefers the journey metaphor in both of his two inaugurals.

Secondly, when we look at how the metaphors in these clusters are organized, most of them are topically related to each other. Some clusters use several source domains to describe a target domain, which illustrates example (2) in Bill Clinton's inaugural (1997): the negative attitudes of prejudice and contempt are seen in terms of the plague, fuel, evil forces, and dark impulse. Some clusters may contain different metaphors to form a multi-detailed image and elaborate a topic, which can be seen in example (3) of Bill Clinton's address (1997): the gift metaphor, journey metaphor, book metaphor, bridge metaphor, and fire metaphor are used to present a picture of the country's ongoing development.

Thirdly, these metaphors play an important role in contributing to some of the main purposes of presidential inaugurals: unification of the country, reiteration of American values, and offering of a bright future. And this phenomenon appears in nearly every instance of clustering.

4. Conclusions

Research into the metaphor clusters in these eight presidential inaugurals shows that metaphor clustering is an integral part of political discourse and it plays a vital role in these inaugurals. Some metaphor clusters involve the important topics of the inaugurals and are used to elaborate upon these abstract notions. Such metaphor clusters exist in almost all the inaugurals, focusing on topics like American values and country development. Some metaphor clusters may be used only to explain an abstract concept, such as prejudice and contempt in Clinton's inaugural (1993). Some metaphor clusters, as in Trump's inaugural (2017), may be used to produce negative images. The very fact that metaphor clusters occur both at the beginning and at the end of an inaugural suggests that they contribute to the form and content of the discourse structure, making it flow more smoothly or cementing the constituent parts. Or they echo each other in order to create a coherent and structurally sound cognitive scenario within each inaugural.

Comparing metaphor clusters in these inaugurals reveals certain similarities and differences of metaphor use. The topics of American values and country development are discussed in each inaugural (except Trump's talk) and in each metaphor cluster. The differences primarily lie in the use of source domains. For example, in Bush Junior's inaugural (2001), the story metaphor is repeated many times; in Clinton's inaugural (1993), the

building metaphor is repeated and even used for different target domains; the journey metaphor is highlighted in Barack Obama's inaugurals (both in 2009 and 2013). Secondly, aside from the fact that Bush Senior's inaugural (1989) and Bill Clinton's inaugural (1993) explicitly use metaphor to elaborate on the topic of change in terms of breeze (Bush Senior) and spring (Bill Clinton), no other inaugurals use metaphors to speak about change. Both the breeze metaphor and the spring metaphor function as a thread running throughout the entirety of the inaugurals, creating cognitive and discursive coherence. This reveals the importance given to the topic of change during Bush Senior's time and Bill Clinton's first term.

Trump's inaugural is an exception in terms of the use of metaphor clustering. It is consistent with the fact that his address is evaluated to be an exception in many aspects, such as negative tone and specific wording. The negative image created by the instance of metaphor clustering brings him harsh criticism.

Studying metaphor clustering provides a different viewpoint on how metaphors are used in political discourse. Crowding in discourse, they are reinforced and, hence, more effective.

References

Cameron, *L.*, *Stelma*, *J.* Metaphor Clusters in discourse. Journal of Applied Linguistics. 2004. 1(2): 107–136.

Corts, *D.*, *Meyers*, *K.* Conceptual clusters in figurative language production. Journal of Psycholinguistic Research. 2002. 31(4): 391–408.

Corts, *D.*, *Pollio*, *H.* Spontaneous production of figurative language and gesture in college lectures. Metaphor and Symbol. 1999. 14(1): 8–100.

Cameron L., *Low G.* Figurative variation in episodes of educational talk and text. European Journal of English Studies. 2004. 8(3): 355–73.

Hobbes, *T.* Leviathan. Edited with an introduction and notes by J.C.A. Gaskin. N.Y., 1996.

Jamieson, *K.H.* The metaphoric cluster in the rhetoric of Pope Paul VI and Edmund G. Brown. Jr., Quarterly Journal of Speech. 1980. 66:1, 51–72.

Jung, *C.G.* The archetypes and the collective unconscious. Vol. 9 Part 1. L., 1996.

Koller, *V.* Metaphor clusters, metaphor chains: analyzing the multifunctionality of metaphor in text. Metaphorik 5. 2003. 115–34.

Koller, *V.* Metaphor clusters in Business Media Discourse: A Social Cognition Approach. Dissertation.Vienna University. 2003.

Lakoff, *G.*, *Johnson*, *M.* Metaphors We Live By. Chicago. 1980.

Osborn, *M.* Archetypal Metaphor in Rhetoric: The light-Dark Family. Quarterly Journal of Speech. 1967. Vol. 53, pp. 115–126.

Pollio, *H.R.*, *Barlow*, *J.M.* A behavioural analysis of figurative language in psychotherapy: One session in a single case study. Language and Speech. 1975. 18, pp. 236–254.

Baranov, *A.N.*, *Karaulov*, *Yu.N.* Russkaya politicheskaya metaphora: materialy k slovaryu. [The Russian Political Metaphor: materials for a dictionary. M. Prosveschenie, 1991. 184 p.
Baranov, *Yu.N.* Descriptornaya teoriya metaphory [A Descriptive Theory of Metaphor]. M. Yazyki slavyanskoy kultury. 2014. 632 p.
Budaev, *E.V.* Sopostavitelnaya politicheskaya metaphorologiya [Contrastive Political Metaphor Studies]. Nizhniy Tagil. NTGSPA. 2011. 330 p.
Gavrilova, *M.V.* Kognitivniye I ritoricheskiye osnovy prezidenskoi rechi (na materiale vistupleni V.V. Putina I B.N. Eltsina) [Cognitive and rhetorical origins of presidential discourse (A study into V. Putin's and B. Yeltsin's discourses)]. Saint-Petersburg, 2004.
Kaslova, *A.A.* Metaforicheskoye modelirovanie prezidentskih viborov v Rossii I SShA v 2000. Dissertatsiya kandidata filol. nauk. [Metaphoric modelling of the 2000 Russian presidential vote. Thesis of Candidate of Philology]. Yekaterinburg, 2003. 208 p.
Kobozeva, *I.M.* Semanticheskiye problemy analiza politicheskoy metafory [Semantic problems of political metaphor research]. Vestnik Moskovskogo Universiteta [Moscow University Bulletin]. Seriya 9. Filologiya [Series 9. Philology.]. 2001. 6, pp. 132–149.
Kondratieva, *O.N.*, *Kovaleeva*, *K.A.* Dinamika metaforicheskih modeley v politicheskoy kommunikatsii (na primere vistupleni Yu. Timoshenko) [Dinamics of metaphoric models in political communication (A study into Yu. Timoshenko's Discourse]. Politicheskaya lingvistika [Political Linguistics]. 2016. 4(58), pp. 34–47.
Mukhortov, *D.S.* Metafora vo vneshnepoliticheskom diskurse kak proyavlenie obschnosti ideologicheskikh ustanovok agnlosaksonskikh politikov (na materiale vistupleniy B. Obamy, D. Kemerona, T. Ebbota I S. Kharpera v 2014–2015) [Metaphor in foreign policy discourse as a marker of Anglo-Saxon politicians' shared ideological beliefs: a study of the rhetoric of Barak Obama, David Cameron, Tony Abbott, and Steven Harper in 2014–2015]. Politicheskaya Lingvistika: problematika, metodologiya, aspekty issledovaniya i perspektivy razvitiya nauchnogo napravleniya: materialy Mezhdunar. nauch. konf. (27 noyab. 2015) / Ural. gos. ped. un-t; gl. red. A.P. Chudinov. [Political Linguistics: Problems, Methods, Aspects of Research and Prospects of Scientific Development: Proceedings of the International Scientific Conference (November 27, 2015). Ekaterinburg, 2015, pp. 175–182.
Mukhortov, *D.S.* Praktika kognitivno-diskursivnogo analiza yazykovoy lichnosti politika (opyt prochteniya publichnykh vystupleniy Billa Klintona) [An experience of cognitive-discursive research into the politician's stylistic behavior]. Kommunikativnye issledovaniya [Communication Research] 2015. № 2 (4). P. 86–95.
Mukhortov, *D.S.* Sovremennaya yazikovaya lichnost: pragmalingvisticheskiy analiz kommunikatsii [Contemporary Stylistic Behaviour] // v sbornike "Nauka I obschestvo v epokhu tekhnologii I kommunikatsii: materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 3 dekabrya 2015" [in Science and Society in the Age of Techology and Communication: Proceedings of the International Scientific Conference, December 3,

2015"], pod red. Yu.S. Rudenko, N.A. Rybakovoy, E.R. Gatiatullinoy, mesto izdaniya "MYu im. S.Yu.Vitte" [ed. By Yu.S. Redenko, N.A. Rybakova, E.R. Galiatullina, published by the Vitte Moscow University], Moscow, 2016, pp. 20–26.

Ji Xiaoxiao. Ob issledovanii metafory v amerikanskom prezisentskom diskurse [Metaphor in American presidential discourse] // Politicheskaya Lingvistika [Political Linguistics]. 2016. No. 6 (60), pp. 239–243.

Ji Xiaoxiao. Osobennosti assotsiativnogo polya ekonomicheskogo diskursa Baraka Obamy [Featuring Associations of B. Obama's Economic Discourse] // Politicheskaya Lingvistika [Political Linguistics]. 2016. No. 6 (60), pp. 250–256.

Chudinov, *A.P.* Rossiya v metaphoricheskom zerkale: kognitivnoe issledovaniye politicheskoy metafory (1991–2000): monogr. Ekaterinburg, 2001. 238 p.

Chudinov, *A.P.* Diskursivnye kharakteristiki politicheskoy kommunikatsii [Discourse Features of Political Communication] // Politicheskaya Lingvistika [Political Linguistics]. 2012. No. 2 (40). P. 53–59.

Chudinov, *A.P.* Ocherki po sovremennoy politicheskoy metaforologii [Essays in Contemporary Political Metaphor Studies]. Ekaterinburg, 2013. P. 173.

Bender, *M.C.* Donald Trump Strikes Nationalistic Tone in Inaugural Speech: Historians and speechwriters call the address one of the most ominous entrances ever, reinforcing familiar campaign themes of American decline. *The Wall Street Journal*. January 20, 2017, Available: https://www.wsj.com/articles/donald-trump-strikes-nationalistic-tone-in-inaugural-speech-1484957527? tesla=y&mod=e2tw. Accessed 27 March 2018.

Bierman, *N.* Donald Trump delivers short, populist inaugural address. *Los Angeles Times.* January 20, 2017, Available: http://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-trailguide-updates-donald-trump-delivers-short-populist-1484934128-htmlstory.html. Accessed 27 March 2018.

Drehle, *D.von*. Donald Trump's unprecedented, divisive speech. *Time*, January 20, 2017, Available: http://time.com/4641547/inauguration-2017-donald-trump-america-first/ Accessed 27 March 2018.

Д.С. Мухортов, Цзи Сяосяо

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ В ИНАУГУРАЦИОННЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ ПРЕЗИДЕНТОВ: ОТ ДЖ. БУША-СТ. ДО ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

В данной статье анализируется прагматическое значение метафорических кластеров в инаугурационных выступлениях американских президен-

тов с 1988 по 2018 г. Утверждается, что с точки зрения текстообразования кластеры способствуют выстраиванию дискурса, структурированию его логики, достижению главных прагматических задач выступающего и акцентированию затрагиваемых им в речи проблем и вопросов. Проведенный анализ восьми инаугурационных выступлений выявляет ряд закономерностей и указывает на существующие идиолектные различия в плане использования метафор, которые — по воле спичрайтера или не зависимо от нее — создают кластеры и тем самым усиливают метафорический потенциал текста. Так, отмечается тот факт, что в семи речах, за исключением выступления Трампа, центральной темой, описываемой метафорами, являются фундаментальные американские ценности. Различия в использовании метафор носят субъективный характер. У каждого президента появляется свой — или навязанный спичрайтером — образ, который встречается чаще других. Он также становится одним из магистральных, и ему отводится роль кластерообразователя. Примером является метафора *breeze* в речи Дж. Буша-старшего. В статье утверждается, что смена тональности и образности в инаугурационных метафорических кластерах может подвергнуть политика острой критике со стороны истеблишмента или общества, что было продемонстрировано неортодоксальным поведением Дональда Трампа.

Ключевые слова: концептуальная метафора; инаугурационное выступление президента страны; метафорический кластер; метафорические отношения; связность дискурса; функции метафоры.

Сведения об авторах: *Мухортов Денис Сергеевич* — кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языкознания МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: dennismoukhortov@mail.ru); *Цзи Сяосяо* — аспирант кафедры английского языкознания МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: rabbitjixiao@163.com).

Список литературы

Cameron, *L.*, *Stelma*, *J.* Metaphor Clusters in discourse// Journal of Applied Linguistics. 2004. 1(2): 107–136.

Corts, *D.*, *Meyers*, *K.* Conceptual clusters in figurative language production // Journal of Psycholinguistic Research.2002.31(4): 391–408.

Corts, *D.*, *Pollio*, *H.* Spontaneous production of figurative language and gesture in college lectures // Metaphor and Symbol. 1999. 14(1): 8–100.

Cameron, *L.*, *Low G.* Figurative variation in episodes of educational talk and text // European Journal of English Studies. 2004.8(3): 355–73.

Hobbes, *T*: Leviathan. Edited with an introduction and notes by J.C.A. Gaskin. New York, 1996.

Jamieson, *K.H.* The metaphoric cluster in the rhetoric of Pope Paul VI and Edmund G. Brown// Jr., Quarterly Journal of Speech. 1980. 66:1, 51–72

Jung, *C.G.* The archetypes and the collective unconscious. Vol.9 Part 1. London. 1996.

Koller, *V.* Metaphor clusters, metaphor chains: analyzing the multifunctionality of metaphor in text // Metaphorik 5. 2003. 115–34.

Koller, *V.* Metaphor clusters in Business Media Discourse: A Social Cognition Approach. Dissertation.Vienna University. 2003.
Lakoff, *G*, *Johnson*, *M.* Metaphors We Live By. Chicago. 1980.
Osborn, *M.* Archetypal Metaphor in Rhetoric: The light-Dark Family // Quarterly Journal of Speech. 1967. Vol. 53. P. 115–126.
Pollio, *H.R.*, *Barlow*, *J.M.* A behavioural analysis of figurative language in psychotherapy: One session in a single case study // Language and Speech. 1975. 18. P. 236–254.
Баранов А.Н., *Караулов Ю.Н.* Русская политическая метафора: материалы к словарю. М.: Просвещение, 1991. 184 с.
Баранов А.Н. Дескрипторная теория метафоры. М.: Языки славянской культуры, 2014. 632 с.
Будаев Э.В. Сопоставительная политическая метафорология. Нижний Тагил: НТГСПА, 2011. 330 с.
Гаврилова М.В. Когнитивные и риторические основы президентской речи (на материале выступлений В.В. Путина и Б.Н. Ельцина). СПб, 2004.
Каслова А.А. Метафорическое моделирование прези-дентских выборов в России и США (2000 г.): Дисс. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2003. 208 с.
Кобозева И.М. Семантические проблемы анализа политической метафоры // *Вестник Московского университета. Серия 9*: *Филология*. 2001. № 6. С. 132–149.
Кондратьева О.Н. Ковалеева К.А. Динамика метафорических моделей в политической коммуникации (на примере выступлений Ю. Тимошенко) // Политическая лингвистика. 2016. № 4 (58). С. 34–47.
Мухортов Д.С. Метафора во внешнеполитическом дискурсе как проявление общности идеологических установок англосаксонских политиков (на материале выступлений Б. Обамы, Д. Кэмерона, Т. Эбботта и С. Харпера в 2014–2015 гг.) // Политическая лингвистика: проблематика, методология, аспекты исследования и перспективы развития научного направления: материалы Междунар. науч. конф. (27 нояб. 2015 г.) / Урал. гос. пед. ун-т; гл. ред. А.П. Чудинов. Екатеринбург, 2015. С. 175–182.
Мухортов Д.С. Практика когнитивно-дискурсивного анализа языковой личности политика (опыт прочтения публичных выступлений Билла Клинтона). Коммуникативные исследования. 2015. № 2 (4). С. 86–95.
Мухортов Д.С. Современная языковая личность: прагмалингвистический анализ коммуникации. В сборнике «Наука и общество в эпоху технологий и коммуникаций: материалы международной научно-практической конференции. 3 декабря 2015 года» / Под ред. Ю.С. Руденко, Н.А. Рыбаковой, Э.Р. Гатиатуллиной, место издания ЧОУВО «МУ им. С.Ю. Витте» Москва, 2016. С. 20–26.
Цзи Сяосяо Об исследовании метафоры в американском президентском дискурсе // Политическая лингвистика. 2016. № 4 (58). С. 239–243.

Цзи Сяосяо Особености ассоциативного поля экономического дискурса Барака Обамы // Политическая лингвистика. 2016. No. 6(60). С. 250–256.

Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000): моногр. Екатеринбург, 2001. 238 с.

Чудинов А.П. Дискурсивные характеристики политической коммуникации // Политическая лингвистика. 2012. 2 (40). С. 53–59.

Чудинов А.П. Очерки по современной политической метафорологии. Екатеринбург, 2013. 176 с.

Bender, *M.C.* Donald Trump Strikes Nationalistic Tone in Inaugural Speech: Historians and speechwriters call the address one of the most ominous entrances ever, reinforcing familiar campaign themes of American decline. *The Wall Street Journal*. January 20, 2017. Available: https://www.wsj.com/articles/donald-trump-strikes-nationalistic-tone-in-inaugural-speech-1484957527? tesla=y&mod=e2tw. Accessed 27 March 2018.

Bierman, *N.* Donald Trump delivers short, populist inaugural address. *Los Angeles Times*. January 20, 2017. Available: http://www.latimes.com/nation/politics/trailguide/la-na-trailguide-updates-donald-trump-delivers-short-populist-1484934128-htmlstory.html. Accessed 27 March 2018.

Drehle, *D. von*. Donald Trump's unprecedented, divisive speech. *Time*, January 20, 2017. Available: http://time.com/4641547/inauguration-2017-donald-trump-america-first/. Accessed 27 March 2018.

И.Р. Гимадеев

О ПРОИСХОЖДЕНИИ И РАЗВИТИИ СЛОВ *ΚΟΛΛΙΞ* И *COLLYRA*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

В статье рассматриваются происхождение и употребление терминов *κόλλιξ* и *collyra*, обозначавших изделие из муки. К сожалению, нам не известны ни этимология указанных слов, ни рецептура, по которой готовили соответствующие им изделия, ни вид последних. Комментируя *κόλλιξ* у Hippon. 36+37 D=26+26a W, B. Беларди в своей статье «Gr. κόλλιξ (Hippon. 39, 6 D^3, etc.)» указал, что термин пришел в Ионию через устное посредство вместе с самим этим видом хлеба и имеет иранские корни. За отсутствие надежной этимологии автор придерживается версии В. Беларди об иранском происхождении слова. Хотя в словарях Шантрена, Фриска и Бекеса вопрос об этимологии слова *κόλλιξ* остается открытым, нельзя не согласиться с тем, что этот термин вместе с другими однокоренными словами восходит к продуктивному и.-е. корню **k^{w}el*. Подробный анализ греческих и латинских источников от Гиппонакта до Тертуллиана помогает, насколько это возможно, получить некоторые сведения относительно рецептуры, формы и использования этого рода выпечки. В статье отмечается изменение значения термина у Плавта после заимствования в латинский язык, а также излагается история и пути заимствования русского слова *кулич*, которое, согласно М.Р. Фасмеру, было заимствовано из северо-греческих диалектов, в которых наблюдается сужение *о*, *е* в *и*, *i* (*κόλλιξ — κουλλίκιον — κουλλίκι* — понт. *κουλλίč*). В статье делается вывод о заимствовании слова кулич не позже XIII в.

Ключевые слова: *κόλλιξ*; collyra; кулинария; хлебопечение; ячмень; еда; пища; хлеб; выпечка; кулич; греко-славянские связи.

Греческое слово *κόλλιξ* и латинское *collyra* обозначают некое изделие (или изделия) из муки. К сожалению, нам не известны ни этимология указанных слов, ни рецептура, по которой готовили соответствующие им изделия, ни вид последних.

Греческое *κολλύρα* (*κολλούρα*) образовано по словообразовательной модели с суфф. *-ūρα-* [Chantraine, 1968: 382]. *Κολλύρα* и *κόλλιξ* (*с суфф. -ικ-*), предположительно, сходны по значению, по крайней мере, в ряде контекстов [Boisacq, 1916: 485]. Исходя из этого, мы мо-

Гимадеев Ильяс Рустэмович — аспирант кафедры классической филологии МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: eliasgimad@mail.ru).

жем в равной мере обратить внимание на оба этих слова. Кроме того, В. Беларди считает, что полное сходство в значении новогреческих слов *κουλ(λ)ίκι* и *κουλ(λ)ουράκι*, последнее из которых изначально имело суфф. *-ūρα-*, происходит непосредственно из совпадения древнегреческих *κόλλιξ* и *κολλύρα* (*κολλούρα*). Сюда же Фриск относит *κόλλαβος*, однако s.v. *κόλλιξ* пишет: «Wie bei *κόλλαβος* müssen wir aus Unkenntnis der Tatsachen auf eine Erklärung verzichten» [Frisk, 1972: 899]. Словарь Бекеса этимологии также не дает, но сообщает о догреческом происхождении слова: «The word is no doubt Pre-Greek, because of the suffix *-ικ-*» [Beekes, 2010: 736]. Совершенно неправильно было бы, применяя народную этимологию, связать *κόλλιξ* с *κόλλα* (клей), *κολλάω* (клеить) [Chantraine, 1968: 382].

Одно из наиболее древних упоминаний *κόλλιξ* мы находим у поэта VI в. до Р.Х. Гиппонакта Клазоменского (Hippon. 36+37 D= =26+26a W):

ὁ μὲν γὰρ αὐτῶν ἡσυχῆι τε καὶ ῥύδην / θύννάν τε καὶ μυσσωτὸν ἡμέρας πάσας / δαινύμενος ὥσπερ Λαμψακηνὸς εὐνοῦχος / κατέφαγε δὴ τὸν κλῆρον·ὥστε χρὴ σκάπτειν / πέτρας τ' ὀρείας, σῦκα μέτρια τρώγων / καὶ κρίθινον κόλλικα, δούλιον χόρτον.

οὐκ ἀτταγέας τε καὶ λαγοὺς καταβρύκων, / οὐ τηγανίτας σησάμοισι φαρμάσσων, / οὐδ' ἀττανίτας κηρίοισιν ἐμβάπτων[1].

Гиппонакт, после того как был изгнан из родного Эфеса, поселился на лидийском побережье в Клазоменах: таким образом, он всю жизнь прожил в Малой Азии; в его языке встречаются заимствованные слова, особенно лидизмы. В. Беларди отмечает [Belardi, 1969: 25–29], что в прошлом критика придерживалась того мнения, что в языке Гиппонакта существует постоянная и сильная тенденция к низкому стилю и многочисленным заимствованиям, к которым, по его мнению, следует отнести *κόλλιξ*; однако, «с недавних пор» (in tempi più recenti) язык Гиппонакта перестали считать приниженной и испорченной формой ионийского диалекта [Belardi, 1969: 25–29]. Слова и выражения, изначально заимствованные в Ионии, могли через устное посредство распространиться в другие области, впоследствии стать общегреческими, а затем уже могли быть заимствованы в другие языки. У Аристофана, к примеру, мы встречаем не только *κόλλιξ*, но и *κολλικοφάγος*, в качестве эпитета для беотийца (Aristoph.

[1] «Он ведь спокойно [жил], во множестве поедая тунца, пряное блюдо из творога, меда и чеснока (μυσσωτός), словно евнух из Лампсака, и проел, разумеется, [свое] наследство, так что нужно [ему] возделывать горные скалы, жуя простые смоквы и ячменный колликс — рабскую пищу. Ни турачей не пожирает, ни зайцев, ни блины, пропитав сесамой (LSJ s. v. σησαμῆ: a mixture of sesame-seeds, roasted and pounded with honey, an Athenian delicacy, given to guests at a wedding), ни пироги обмакнув в соты» (пер. наш. — *И.Г.*).

Ach. 872), *κόλλιξ* у Никофонта (fr. 15), у Архестрата, написавшего шутливый эпос о поварском искусстве (fr. 4.12); *κολλίκιον* встречается у Григория Коринфского в XII в. Есть также и новогреческое *κουλ(λ)ίκι*, и русское *кулич*. Беларди считает, что именно поэзия Гиппонакта послужила столь широкому распространению слова *κόλλιξ* и его производных.

У Гиппонакта совершенно ясно сказано, что *σῦκα μέτρια* ('простые смоквы'[2]) и *κρίθινον* ('ячменный') *κόλλικα* едят рабы. Слово *χόρτος* употреблено специально, чтобы подчеркнуть грубый характер этой пищи, которой противопоставляются яства, подобающие зажиточному гражданину, а именно: *θύννος*, *-α* ('тунец'), *ἀττᾰγήν* ('турач' или 'франколин'[3]), *τηγανίτης* ('вид блинов' или же 'лепешка, похожая на блин'), посыпанный кунжутом, и *ἀττᾰνίτης*, который макали в мед. Иными словами, выражение *κρίθινος* ('ячменный') *κόλλιξ*, по всей видимости, должно было в VI в. до Р.Х. обозначать хлеб для самых бедных людей. Дегани [Degani, 1983: 52] относительно слова *κόλλιξ* в данном контексте поясняет: «*panis fuit vilis ac περιφερής*», ссылаясь, прежде всего, на Аристофана (Aristoph. *Ach*. 872: *Ὦ χαῖρε, κολλικοφάγε Βοιωτίδιον. Τί φέρεις;*) и схолии к нему (ad loc.), где читаем: *κόλλιξ εἶδος ἄρτου περιφεροῦς*.

В. Беларди отстаивает ту точку зрения, что слово *κόλλιξ* пришло в Ионию через устное посредство, вместе с самим этим видом хлеба, и имеет иранские корни. По его словам, приемлемое объяснение может дать авестийская форма *gunda-*[4], обозначающая «тесто из муки или круглую булку». В пехлевийском переводе[5] *Видевдаты* 3.32 авестийскому *"yat gundō dayāt"* соответствует *«k n rač k»*, которое следует

---

[2] Они же фиги, инжир или винная ягода. Это растение было широко распространено в странах Средиземноморья. Катон упоминает смоквы, когда дает наставления о пропитании рабов: *compeditis*: *per hiemem panis p. IIII*, *ubi uineam fodere coeperint panis p. V*, *usque adeo dum ficos esse coeperint*: *deinde ad p. IIII redito* (Cat. *agr*. 56). Иными словами, когда созревали смоквы, уменьшался хлебный рацион раба: настолько они были сытны. Колумелла сообщает, что сушеные смоквы ели деревенские жители: ... *mala et pira dulcissimi saporis*, *mediocriter matura eliguntur et in duas aut tres partes harundine uel osseo cultello diuisa in sole ponuntur*, *donec arescant*. *eorum si est multitudo*, *non minimam partem cibariorum per hiemem rusticis uindicant*; *nam pro pulmentario cedit sicuti ficus*, *quae cum arida seposita est*, *hiemis temporibus rusticorum cibaria adiuuat* (Columm.,12.14).

[3] По всей видимости, Francolinus francolinus — небольшая птица. Впрочем, сегодня в Греции и Италии она не обитает, хотя ее можно встретить на Кипре и других островах Средиземного моря. Также возможно, что это Perdix cinerea или Pterocles alchata. Подробнее см.: Sir D'Arcy W. Thompson, *Glossary of greek Birds*. Oxford. 1895, s. v.

[4] Библиографию по авестийскому термину *gunda-* можно найти: W. Belardi, «Una nuova serie lessicale indomediterranea» — *Rendiconti di Accademia Nazionale dei Lincei*, *Cl. mor.*, Ser. VIII, vol. 9, fasc. 11–12 (1954 [recte 1955]), p. 628, n. 5.

[5] *Pahl. Videvdat*, 3.32 (ed. Jamasp, Bombay, 1907, p. 84).

читать как *kulīĉak*[6]. Пехлевийское *kulīĉak* (круглая булка) прекрасно представлено в фарси как *kuličé* или *guličé* «a small disc-shaped loaf, a cake of bread, a small round cake» (Steingass) и вместе с другими однокоренными словами[7] восходит к продуктивному и. — е. корню **k^{w}el*. Автор приводит в параллель иранское **kul-īĉ-a-ka-* с авест. *ĉaxra-* (*κύκλος*), которое соотносится, в свою очередь, с древнерусским *колачь*[8]. Выводы В. Беларди следующие: у Гиппонакта, благодаря любви последнего к обиходному («di ogni giorne») греческому, далекому от письменной традиции, мы находим иранское заимствование, которое, возможно, через посредство третьего языка, укоренилось в греческих диалектах Ионии. Иранское заимствование доказывает пехлевийская форма *kulīĉak*[9]. Вероятно удвоение *λ* в *κόλλιξ* могла бы объяснить несохранившаяся форма, современная Гиппонакту.

В комедии Аристофана «Мир», поставленной в 421 г. до Р.Х., мы встречаем следующее употребление *κόλλιξ* (Aristoph. *Pax*, 123):

Ἦν δ' ἐγὼ εὖ πράξας ἔλθω πάλιν, ἔξετ' ἐν ὥρᾳ / κολλύραν μεγάλην καὶ κόνδυλον ὄψον ἐπ' αὐτῇ[10].

Кроме того, во фрагменте Аристофана (Aristoph. frr. 412–413):

ἀράκους, πυρούς, πτισάνην, χόνδρον, ξειάς, αἶρας, σεμίδαλιν / καὶ κολλύραν τοῖσι περῶσιν διὰ τοὺν Μαραθῶνι τροπαῖον[11].

Афиней цитирует Аристофана. Интересным для нас здесь может быть краткое пояснение перед цитатой Athen. 3. 111a): *τοῦ δὲ κολλύρας καλουμένου ἄρτου Ἀριστοφάνης ἐν Εἰρήνῃ* (122) /

---

[6] См.: I. Scheftelowitz // *ZDMG*, 59 (1954), 695. Jamasp (ad loc.) читает *kōrāzeh*, D. Kapadia (*Glossary of Pahlavi Vendidad*, Bombay, 1953, p. 381) — *kūrāzak*.

[7] «*k w l*» обозначает нечто круглое. Подробнее об однокоренных словах см.: W. Belardi, «Iranico *spara*, armeno *sparks*» // *Annali del Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione Linguistica*, 2 (1960), p. 66; кроме того: *Ric. ling.*, 5 (1962), p. 156.

[8] У Беларди транскрипция *koláĉs*. Корень в славянских языках широко представлен.

[9] Выражаем глубокую благодарность к.ф.н. доц. кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания МГУ им. М.В. Ломоносова Вартану Казаровичу Казаряну за предоставленную консультацию по вопросам иранского языкознания.

[10] «А вот вернусь я, благополучно завершив [свое] предприятие, будет вам большая булка, а к ней кулаком [дам] на закуску» (пер. наш. — *И.Г.*).

[11] См. *Comicorum Atticorum Fragmenta*, ed. Theodorus Kock, Vol. I. Lipsiae, 1880, p. 499. Объединять fr. 412 и fr. 413 предлагает Бергк. У Кока (ad fr. 412) мы читаем: «*Cum fr. 413 haec artissime coniungenda esse et copiam frumenti ex Euboea advecti significari censet* Bergkius». Ю. Рихтер говорит, что «*fortasse legendum τοῖς πεινῶσιν pro τοῖσι περῶσιν*»: Aristophanis *Pax*, ed. I. Richter, Berolini, 1860, ad loc. Во fr. 413 Бергк предлагает читать γέρουσιν, ввиду сложности интерпретации. Кок пишет: scilicet poeta dicit '*collyram* (debemus vel donamus) senibus propter victoriam Marathoniam'. Объединяя фрагменты по Бергку и следуя Коку, понимаем: «чину [*LSJ* s. v. *ἄρακος*: wild chickling, Lathyrus annuus], пшеницу, ячменную кашу, крупу, полбу, плевелы [*LSJ* s. v. *αἶρα*: darnel, Lolium temulentum], муку тонкого помола и коллиру [даем] старикам из-за победы при Марафоне» (пер. наш. — *И.Г.*).

κολλύραν μεγάλην καὶ κόνδυλον ὄψον ἐπ' αὐτῇ[12].

καὶ ἐν Ὀλκάσι (I 499 K.)·

καὶ κολλύραν τοῖσι περῶσιν διὰ τοὺν Μαραθῶνι / τρόπαιον.

Обратим сразу внимание на форму настоящего времени «*καλουμένου*», употребленную Афинеем, по употреблению которой создается впечатление, что слово бытовало и на рубеже II–III вв. по Р.Х. Если употребление настоящего времени ничего и не доказывает, то важно, что Афиней не находит нужным пояснять, что́ есть *κόλλιξ*, хотя относительно других, в частности относящихся к хлебопечению, терминов он часто дает разъяснения. Последнее лишний раз свидетельствует о широком распространении *κόλλιξ* в античном мире. Впрочем, отсутствие какого-либо комментария у Афинея может быть вызвано и неполнотой его знаний о реалиях V в. до Р.Х.: не стоит забывать, что его отделяют от Аристофана шесть веков и за это время форма и рецепт выпечки хлеба *κόλλιξ* могли претерпеть изменения.

В схолиях к «Миру» Аристофана[13] мы читаем: *κολλύραν*: *Κολλύρα τὸ ἔλαττον τοῦ ἄρτου*, *[τινὲς δὲ τὴν κολλύραν εἶδος ἄρτου]*, *ὃ τοῖς παιδίοις διδόασιν*. *ἔπαιξε δὲ παρὰ τὸ λεγόμενον «εἰ δὲ οἶνον αἰτεῖ*, *κόνδυλον αὐτῷ δός»*, *ὑπὲρ τοῦ ἐθίζειν τοὺς παῖδας μηδέν τι περιττὸν ζητεῖν*. *— καὶ πρὸς τῇ κολλύρᾳ ἀντὶ τοῦ ὄψου κόνδυλον*. *ἔπαιξε δὲ παρὰ τὸ λεγόμενον*[14]. *Ἄλλως*. V.

В Равеннской рукописи интересна корректура *κάνδυλον*[15], внесенная Деметрием из школы Зенодота, которую признают излишней (*διὰ τὸ ὄψον περιττὴ ἡ μεταγραφή*). Корректура эта, возможно, здесь действительно неуместна, но нельзя забывать о созвучии *κάνδυλον* и *κόνδυλον* что могло добавить комического эффекта.

Довольно странно, что Тригей, персонаж Аристофана, обещает дочери *κολλύραν μεγάλην*, ведь из схолий мы узнаем, что хлеб этот

---

[12] «О хлебе, который называется коллира, [упоминает] в “Мире” Аристофан» (пер. наш. — *И.Г.*).

[13] Мы пользовались *Scholia Graeca in Aristophanem cum prolegomenis grammaticorum*, *varietate lectionis optimorum codicum integra*, *ceterorum selecta*, *annotatione criticorum item selecta*, *cui sua quaedam inseruit* Fr. Dübner. Parisiis, 1842 как наиболее доступным изданием. Позже появилось издание: *Scholia Aristophanica being such comments adscript to the text of Aristophanes as have been preserved in the Codex Ravennas arranged*, *emended*, *and translated by* W.G. Rutherford. Voll. 1–3. L., 1896, которое, как видно из названия, содержит только схолии Равеннской рукописи.

[14] «Коллира меньше *ἄρτος* (квасного пшеничного каравая), и некоторые [считают] ее хлебом, который дают детям. Шутка же связана с поговоркой: “если вина просит, дай ему кулаком”, чтоб отучить детей выпрашивать лишнее. И к коллире вместо закуски [обещают] побить кулаками» (пер. наш. — *И.Г.*)

[15] *LSJ* дает: *κάνδαυλος* (*κάνδῡλος*) — «Lydian dish, of which there were several varieties». Схолиаст отметил, что это вид лепешки (*εἶδος δέ ἐστι πλακοῦντος*). *Adnotatio ad Schol. in Pac.* (ed. cit., p. 466) говорит о *κάνδαυλος*: «*Demetrii lectionem sequi videtur Photius p. 129*, *15*: *κάνδυλος* (*κάνδυτος codex*): *σκευασία ὀψοποικὴ μετὰ γάλακτος καὶ στέατος καὶ μέλιτος*. *ἔνιοι δὲ διὰ κρέως καὶ ἄρτου καὶ τυροῦ*. *Οὕτως Ἀριστοφάνης*».

небольших размеров, а Тригей обещает именно большую *коллиру*. Ю. Рихтер объясняет просто: «*Itaque μεγάλην ludibundus addit pater*». И если мы принимаем традиционное для этого места чтение *κόνδυλον*, то можно, с некоторой долей вероятности, утверждать, что слово *κόλλιξ* у Аристофана полностью сохраняет то значение, которое мы встречаем у Гиппонакта, т.е. Тригей не сулит дочери ничего хорошего, обещая *κολλύραν μεγάλην* (притом добавляя *καὶ κόνδυλον ὄψον*), комически подчеркивая определением *μεγάλην* свое обещание. Исследуя данный контекст, стоит упомянуть слово *ὀλισβοκόλλιξ*, которое, как видно, образовано из слов *ὄλισβος* ('penis coriaceus') и *κόλλιξ*. Словом *ὀλισβοκόλλιξ* обозначался соответствующий инвентарь, который использовали актеры при постановке комедии и, возможно, Аристофан, употребив здесь слово *κόλλιξ*, постарался создать у слушателя соответствующую ассоциацию. Последним легко объясняется определение *μεγάλην*, плохо понятное применительно к небольшому хлебцу, которое, при нашем пояснении, не могло не вызвать улыбок у античного зрителя[16].

Fr. 413 T. Кок предлагает понимать следующим образом: "*Scilicet poeta dicit*: *collyram* (*debemus vel donamus*) *senibus propter victoriam Marathoniam*" [Kock, 1880: 499]. Дело в том, что Бергк с большой степенью вероятия предлагает здесь чтение *τοῖς περῶσιν γέρουσιν*, отсюда трактовка T. Кока. В комедии эту строку, возможно вместе с fr. 412, поет хор грузовых судов. Однако едва ли представляется возможным сделать хоть какие-нибудь выводы из fr. 412–413 относительно слова *κόλλιξ*, даже приняв чтение T. Кока.

Гораздо больше дает фрагмент из Архестрата (Archestr. fr. 4.12):

στρογγυλοδίνητος δὲ τετριμμένος εὖ κατὰ χεῖρα / κόλλιξ Θεσσαλικός σοι ὑπαρχέτω, *ὃν καλέουσι / κεῖνοι κριμνίτην*, *οἱ δ' ἄλλοι χόνδρινον ἄρτον*[17].

Весьма важно, что уже во времена Архестрата либо не было четкого представления об описываемом хлебе, либо было несколько способов изготовлять его, что видно из контекста, несмотря на то, что здесь говорится не просто о *κόλλιξ*, но явно об особом сорте хлеба, который выпекали в Фессалии — *κόλλιξ Θεσσαλικός*, что, казалось бы, подразумевает под собой особую и притом более или менее известную рецептуру. Но, в чем были согласны современники Архестрата, так это в том, что *κόλλιξ* выпекался из муки грубого помола, ибо и слово *χόνδρινος*, и слово *κριμνίτης* обозначают изделия из грубой муки.

---

[16] *Oikonomides A.N.* Κόλλιξ, ὄλισβος, ὀλισβοκόλλιξ // Horos 4. 1986. P. 168–178. Нам эта статья недоступна. Cf. *ὀλισβοκόλλιξ* в *Adesp. com*. 1094 K., о чем см.: *Tibiletti Bruno M.G.* Un confronto greco-anatolico // Athenaeum 47. 1969. P. 304.

[17] «Пусть для тебя начнут готовить круглый, хорошо вымешанный вручную, фессалийский хлеб (*κόλλιξ*), под которым одни подразумевают ячменный хлеб грубого помола, другие квасной хлеб из грубой муки» (пер. наш. — *И.Г.*)

Прилагательное *στρογγυλοδίνητος*, скорее всего, нужно понимать здесь как *круглый*, закругленный.

В латинских источниках мы находим слово *collyra* прежде всего у Плавта[18]. Не лишним будет упомянуть, что римляне уже в эпоху войны с Ганнибалом прекрасно знали греческие реалии, а потому прекрасно понимали паллиату. Не могли, конечно, римляне не иметь при этом и представлений о греческом быте и о еде, как важнейшей его составляющей.

Раб Токсил, преследуя свои цели, хочет накормить парасита Сатуриона, который, тем временем, его подслушивает (Plaut. *Pers.* 92–98):

Tox. *Collyrae facite ut madeant et colyphia*: / *ne mihi incocta detis*. Sat. *Rem loquitur meram.* / *nihili sunt crudae*: *nisi quas madidas gluttias.* / *tum stet cremore crasso ius collyricum*: / *nihilist macrum illud epicrocum pellucidum*, / *Quasi tyrium esse ius decet collyricum.* / *nolo in vesicam quod eat*, *in ventrem volo*[19].

Будучи заимствовано в латинский язык, слово *collyra* по всей видимости, несколько изменило значение. Из цитаты следует, что *коллиру* могли употреблять как в супе, так и саму по себе, последнее мы заключаем из слов *nihili sunt crudae* (*crudus* — кровавый, сырой; но здесь, как нам кажется, подразумевается неразмоченный хлеб), т.е. коллиру вполне могли съесть сухой, без ничего, хоть, по мнению парасита, это и не было так вкусно. Впрочем, у Плавта *коллиру* едят, как и у Гиппонакта, рабы.

Словарь Геснера [Gesner, 1749: 1018] дает следующее пояснение относительно этого места: «*Collyrae*, *inquit hic Turnebus*, *Parvuli panes mundi sunt*, *sed et genus fictorum farinaceorum*, *quae ut lagana*, *interdum in sartagine frigantur*, *interdum cocta per se edantur*, *interdum ex iure comedantur*, *ut tabellas paniceas in sorbitiuncula plerumque esitamus*[20]».

---

[18] Ввиду серьезных разночтений в тексте плавтовских комедий, связанных со сложной рукописной традицией (подробнее см.: *Reynolds L.D.* Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics. Oxford UP, 1983, там же см. библиографию по вопросам текстологии), далее приводим цитаты из Плавта по изд.: *Macci Plauti T.* Comoediae, rec., instr. crit. et prolegom. auxit F. Ritschelius, ed. III a F.Schoell rec., T. I–IV. 1884–1890.

[19] «Токсил: Приготовьте мясную похлебку, да чтоб размок [в ней] хлеб: подайте только мне неготовое! Сатурион: Верное дело говорит! Сухим хлебцам — грош цена. А если б проглотил ты хлебцы, размокшие [в похлебке]. Пускай станет хлебный суп густым от жира: ни к чему этот жидкий водянистый отвар. Хорошо, когда хлебный суп [цветом] как тирийский пурпур. Я не хочу, чтоб он мне попал в мочевой пузырь, хочу, чтоб в брюхо» (пер. наш. — *И.Г.*)

[20] «*Коллиры*, как комментирует это место Турнеб, суть крохотные хлебцы из муки тонкого помола, а кроме того, вид мучных изделий, которые иногда, подобно блинам, выпекают на сковороде, иногда, приготовив, их съедают как самостоятельное блюдо, а иногда едят вместе с похлёбкой, как мы обычно едим суп с сухариками» (пер. наш. — *И.Г.*)

В некоторое противоречие с источниками здесь вступает слово *mundus*, если под ним мы понимаем «испеченное из муки тонкого помола», ведь из отрывков приведенных выше мы ясно можем понять, что греческий *κόλλιξ* выпекали из муки исключительно грубой. В идее готовить хлеб на сковороде с маслом, наподобие блинов или оладий, в свою очередь, нет ничего необычного, достаточно вспомнить способ приготовления колобка. Под *tabellae paniceae* у Турнеба, скорее всего, подразумеваются сухари, которые бросают в суп. Даже и в наше время не вызывают удивления хлебные супы, а в Италии, по сей день, едят пасту с панчеттой, т.е. посыпанную хлебными сухарями, каковой обычай, по общему представлению, зародился в небогатых семьях, где не могли позволить себе использовать в качестве приправы твердые сыры, пармезан и прочие ему подобные.

Интересное употребление мы встречаем у Плавта в *Пунийце* (Plaut. *Poen*. 135–139):

Milphio Scitumst, *per tempus si obviamst*, *verbum vetus*. / *nam tuae blanditiae mihi sunt*, *quod dici solet*, / *gerrae germanae hercle et collyrae escariae*[21]. / *nunc mihi blandidicus es*: *heri in tergo meo* / *tris facile corios contrivisti bubulos*[22].

Строку 137 весьма сложно истолковать. Критический аппарат дает в этом месте множество разночтений, поэтому мы едва ли можем быть уверены в правильности приведенного текста. Если мы следуем чтению Ричля, то перед нами фразеологизм, который следует понимать в том смысле, что *nihili tuae blanditiae mihi sunt*, т.е., переводя фразеологизмом русским: «лесть твоя яйца выеденного не стоит», иными словами, лесть господина обманчива и редка, как съедобная коллира. Принимая такое прочтение, мы снова можем понять *collyra*, как хлеб низкого качества.

Кроме того, весьма интересно прочтение *αἱ δὲ κολλῦραι λύραι*[23] (Palmerus). Выражение, по всей видимости, значения не имеет, а основывается на созвучии, если угодно, на homoeoteleuton слов, которые не имеют ничего общего. Вероятно, такое прочтение нужно понимать следующим образом: «лесть твоя для меня такой же вздор, как *коллиры* с *лирами*», т.е. мы имеем здесь дело с выражением вроде русского «турусы на колесах» и т.п.

---

[21] hercle et collyrae *Ritschelius*, escariae *vel simile quid post* collyrae *intercidisse suspicatus*: F. Ritschelius & F. Schoell ad loc. (t. II, fasc. V, 1884, p.15).

[22] «Вспомнилась старая поговорка, если она подходит случаю. Лесть твоя для меня, клянусь Геркулесом, чистый вздор, она, как говорят, [редка] словно съедобная коллира. Нынче ты мне льстишь, а вчера без труда истер об мою спину три бычьих шкуры» (пер. наш. — *И.Г.*).

[23] *αἱ δὲ κολλῦραι λύραι* Palmerus: *Philol. Wochenschrift*, 1883. S. 117. Cf. ed. Ritschelii-Schoellii, t. II, fasc. V, p. 15.

Уже в христианской литературе мы встречаем употребление слова *collyra* в не совсем обычном значении, здесь оно выступает в качестве сравнения: *Ad mensuram neminem sibi adicere posse pronuntiatum est. Vos sane adicitis ad pondus*, *colluras*[24] *quasdam uel scutorum umbilicos ceruicibus adstruendo. Si non pudet enormitatis*, *pudeat inquinamenti*, *ne exuuias alieni capitis forsitan immundi*, *forsan nocentis et gehennae destinati sancto et christiano capiti supparetis*[25] (Tert. *de cultu fem*. 2, 7). Геснер истолковывает это место так: *Debet igitur fuisse ornatus ex capillamento alieno capiti mulierum a tergo s. in occipite appositus*, *a forma forte panis*, *quacum etiam scuti umbilicus convenit*, *ita dictus*[26].

Цитата из Тертуллиана, хотя она довольно поздняя, и слово *collyra* употреблено исключительно ради сравнения, важна, так как содержит непосредственное указание на *форму* выпечки. И если из всех вышеперечисленных цитат мы с трудом можем составить себе представление о форме хлеба, то здесь Тертуллиан прямо говорит о сравнении *collyra* с *umbilicus scutorum*. Иными словами, уже не идет речь о лепешке[27], но говорится о некоем небольшом каравае, по форме, если угодно, напоминающем кулич.

Завершая обзор источников, отметим слово *collyridiani*, которое, по нашему мнению, указывает на широкое распространение слова *collyra* и родственных ему слов в эпоху поздней античности. Du Cange пишет [Cange, 1883–1887: 412]: «*Collyridiani*, *Haeretici sic dicti quod in Sacrificio uterentur Collyridis. B. Mariae Virgini tanquam Deae liba offerebant foeminae*, *quae iis erant loco Sacerdotum*[28]». От названия хлеба произошло название целой секты, к тому же для ритуальных действий в секте использовалась *collyra*. М.Б. Пиотровский пишет: «У Мухаммада были некоторые основания для того, чтобы обвинять некоторых христиан в обожествлении Марии. Он мог слышать об экзотической женской секте коллиридианок, поклонявшихся Марии и приготовлявших в ее честь специальные хлебцы». По словам

[24] В других изданиях можно встретить *collyridas.*

[25] Цитата приводится по словарю Геснера с добавлением пропущенного места. «Сказано, что *никто не может прибавить себе роста* (ср. *Мф*. 6,27; *Лк*. 12,25). А вы пытаетесь прибавить его, нацепляя на голову огромный шиньон, формой напоминающий выпуклость щита. Если вы не стыдитесь его размеров, постыдитесь хотя бы нечистоты его; не возлагайте на чистую христианскую голову украшение чужой головы, может быть нечистой, может быть виновной и приговоренной к геенне» (пер. Э. Юнца).

[26] «Должно быть, существовали волосяные накладки («шиньоны»: это современное слово было бы, по нашему мнению, наиболее подходящим для передачи *ornatus ex capillamento alieno — И.Г.*), которые закрепляли на голове у дамы, на затылке. Шиньоны, возможно, имели форму хлеба, с которой еще схожа так называемая «выпуклость» (умбон — *И. Г.*) на щите» (пер. наш. — *И.Г.*).

[27] Cf. Schol. in Aristoph.: εἶδος δέ ἐστι πλακοῦντος.

[28] Epiph. *Haer.* 78 et 79; Joann. Forbes. Instruct. Historico-Theol. lib. 4, cap. 8, § 4.

Епифания Кипрского, секта коллиридианок была распространена также и в Аравии[29], а в Петре, бывшей столице арабов-набатеев отмечали праздник в честь Девы, которая родила Бога[30]. Кроме того, Епифаний сообщает, что в секте сампсеев почитали Святого Духа, являющегося *сестрой* Иисуса[31].

Весьма сомнительно, что секта могла называться словом редким и малоупотребительным, скорее всего и в IV в. по Р.Х. оно было широко распространено в разговорном языке и всем понятно.

Русское слово кулич, согласно М.Р. Фасмеру, скорее всего, заимствовано из северо-греческих диалектов, которым свойственно сужение *о*, *е* в *и*, *i*. Таким образом, из *κόλλιξ — κουλλίκιον — κουλλίκι — понт. κουλλίč*[32]. Ф.Е. Корш отмечает возможность такого заимствования, однако уточняет, что турецкое произношение возможно только *külüč*, отсюда можно сделать вывод о тюркском посредстве. Гораздо сложнее вопрос о времени заимствования слова *кулич* в русский язык. СлРЯ XI–XVII вв. s.v. дает две цитаты: *«Въ вторникъ свѣтлыи... куличи приносные ставятъ, ко штемъ по яйцу»* (*Дополнение к Актам историческим*, 1590 г.); *«На Христовъ день снесенъ к боярину куличъ данъ 5 ал<тын> 4 де<ньги>, к нему ж на двор куплено яицъ на 2 ал<тына>»* (*Акты Свирского монастыря*, 1666 г.). В ономастике слово известно уже с XV в.: *«Федка Куличъ Андреевъ сынъ Оринина, холопъ»* (1498 г. *Собрание государственных грамот и договоров*); *«Милешко Куличя, крестьянинъ Кременецкий»* (*Архив Юго-Западной России*, 1563 г.).

Опираясь на косвенные данные, мы можем сказать, что слово *кулич* было заимствовано не позже XIII в. А.И. Соболевский приводит пример диссимиляции плавных согласных в слове *урарь > уларь* из *ὡράριον*. Форму *уларь* мы читаем в *Новгородской Кормчей* ок. 1282 г. и в *Служебнике преп. Сергия* XIV в. М. Фасмер по этому поводу замечает, что, во-первых, диссимиляция могла произойти уже на почве греческого языка, а во-вторых, что весьма для нас важно, форма эта может проиллюстрировать нам еще и пример северно-греческого сужения неударяемого *о* в *у* уже в XIII в. М. Фасмер предлагает форму *οὐράριν*, которая и была заимствована либо уже с диссимиляцией, либо без нее, но важно, что уже произошло сужение гласного. Таким образом, с некоторой долей уверенности, можно предположить, что

[29] Epiph. *Haer.* 78: 23, 79: 1; Parrinder. *Jesus*. C. 135.

[30] Epiph. *Haer.* 51: 22; кроме того набатеи отождествляли Его с древним божеством Душарой, об этом см.: *Шифман И.Ш.* Набатейское государство и его культура. Из истории культуры доисламской Аравии. СПб, 2007.

[31] Epiph. Haer. 53: 1.

[32] Ср. новогреч. *κουλουράκι*, которое обозначает оригинальный вид кренделя или рогалика, но, впрочем, может обозначать просто булочку. Блюдо это всегда сладкое.

сужение *κόλλιξ — κουλλίκιον — κουλλίκι* — понт. *κουλλίč* произошло не позже XIII в. и уже в таком виде слово было заимствовано.

Мы представили обзор античных источников, в которых встречаются слова *κόλλιξ* и *collyra* от Гиппонакта (VI в. до Р.Х.) — до Тертуллиана (II–III в. по Р.Х.) и Епифания Кипрского (IV в. по Р.Х.). На основании анализа источников можно с уверенностью засвидетельствовать постепенное изменение значения рассматриваемого слова от рабской пищи бедняков у Гиппонакта или Плавта до праздничного пасхального (и не только) хлеба на Руси. При этом изменение значения сопровождалось широким распространением термина, так как слово *κόλλιξ* обозначало явно различную выпечку, о какой-то единой рецептуре говорить не представляется возможным. Что может быть общего у ячменной лепешки, современного греческого печенья *κουλουράκια* и русского кулича?

С некоторой осторожностью мы принимаем точку зрения В. Беларди о том, что слово *κόλλιξ* пришло в Ионию через устное посредство вместе с самим этим видом хлеба и имеет иранские корни. Таким образом, вопрос об этимологии слова *κόλλιξ*, остававшийся открытым в словарях Шантрена, Фриска и Бекеса можно считать отчасти разрешенным. По крайней мере, нельзя не согласиться с тем, что *κόλλιξ* вместе с другими однокоренными словами восходит к продуктивному и.-е. корню **k^{w}el*.

Наконец, на основании северно-греческого сужения неударяемого *о* в *ου* или похожего процесса в русском языке уже в XIII в. мы, с некоторой долей уверенности, предполагаем, что сужение *κόλλιξ — κουλλίκιον — κουλλίκι*[33] — понт. *κουλλίč* произошло либо в греческом языке, либо в самом русском языке не позже XIII в.

Список литературы

Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991.

Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1981.

Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. М., 2005.

Фасмер М.Р. Греко-славянскіе этюды. Известия Отделения Русского языка и Словесности. Императорская Академия наук. СПб, 1906. Т. XI/2. С. 386–412.

Beekes R.S.P. Etymological Dictionary of Greek. 2010.

Belardi W. Greco *κόλλιξ* (Hippon. 39, 6 D3, etc.) // Studi in onore di Piero Meriggi (Athenaeum, XLVII). 1969. P. 25–29.

Boardman J. Kollix or kylix // Horos 4. 1986. P. 166–167.

Cange du. Glossarium mediae et infimae Latinitatis. Niort, 1883–1887. P. 412.

[33] *Παπαδοπούλου Α.* Ἱστορική Γραμματικὴ τῆς Ποντιακῆς Διαλέκτου. Vol. 1–2. *Ἀθῆναι*, 1958 дает *κολλίκιν и κουλλύριν*.

Chantraine P. La formation des noms en grec ancien. Paris, 1968.
Fournet J. — L. Un nom rare du boulanger: *ἀρτοκολλητής* // RÉG 113. 2000. P. 401–404.
Hauri-Karrer A. Lateinische Gebäckbezeichnungen. Diss. ... Zürich, 1972.
Degani H. Hipponactis Testimonia Et Fragmenta. Lipsiae, 1983. P. 52.
Gesner J.M. Novus Linguae Et Eruditionis Romanae Thesaurus. Lipsiae, 1749. P. 1018.
Kind E. Κολλύριον // RE XI/1.1921. P. 1100–1106.
Kock T. Comicorum Atticorum Fragmenta. Lipsiae, 1880. P. 499.
Kritzas Kh.B. Κόλλιξ — Κύλιξ // Horos 4. 1986. P. 162–165.
Oikonomides A.N. The `bread-stick' of Mantios // Horos 3. 1985. P. 130–131.
Oikonomides A.N. Κόλλιξ, ὄλισβος, ὀλισβοκόλλιξ // Horos 4. 1986. P. 168–178.
Tibiletti Bruno M.G. Un confronto greco-anatolico // Athenaeum 47. 1969. P. 304.
Παπαδοπούλου Α. Ἱστορικὴ Γραμματικὴ τῆς Ποντιακῆς Διαλέκτου. Vol. 1–2. *Ἀθῆναι*, 1958.

Elias R. Gimadeev

THE ORIGINS AND EVOLUTION OF *ΚΟΛΛΙΞ* AND *COLLYRA*

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

This paper analyzes the origin and use of the terms κόλλιξ and collyra collyra which signify flour products. In his article "Gr. κόλλιξ (Hippon. 39, 6 D3, etc.)" Walter Belardi proposes that the term κόλλιξ has Iranian origin. The product itself came with this term to Ionia through the Persians. A detailed study of certain passages enables us to obtain some information, as far as possible, about recipes, forms and use of pastry. It is argued that the terms κόλλιξ and collyra have been constantly changing their meanings throughout their history. Finally, the contraction of vowels o, e to u, i shows that the Russian word kulič was adopted not later than in the 13th century.

Key words: κόλλιξ; collyra; food; cookery; bread; cake; Easter cake; pastry; Greek-Slavic contacts.

About the author: *Elias R. Gimadeev* — Postgraduate of the Classical Philology Division, Lomonosov Moscow State University (e-mail: eliasgimad@mail.ru).

References

Beekes, R.S.P. *Etymological Dictionary of Greek*. 2010.
Belardi, W. Greco *κόλλιξ* (Hippon. 39, 6 D3, etc.), in: *Studi in onore di Piero Meriggi* (*Athenaeum*, XLVII), 25–29.
Boardman, J. Kollix or kylix, *Horos* 4, 1986, 166–167.

Cange du. *Glossarium mediae et infimae Latinitatis*. Niort, 1883–1887, 412.
Chantraine, P. *La formation des noms en grec ancien*. Paris, 1968.
Degani, H. *Hipponactis Testimonia et fragmenta*. Lipsiae, 1983, 52.
Fasmer, M.R. [Greek-Slavic studies], in: Izvestiya Otdeleniya Russkogo Yazika i Slovesnosti [The Reports of the Russian Language and Literature Department. The Imperial Academy of Sciences]. Saint-Petersburg, vol. XI/2, 1906, 386–412.
Fournet, J.-L. Un nom rare du boulanger: *ἀρτοκολλητής*, *RÉG* 113, 2000, 401–404.
Gesner, J.M. *Novus Linguae Et Eruditionis Romanae Thesaurus*, Lipsiae, 1749, 1018.
Hauri-Karrer, A. *Lateinische Gebäckbezeichnungen*. Diss. ... Zürich, 1972.
Kind, E. *κολλύριον*, in: *RE* XI/1, 1921, 1100–1106.
Kock, T. *Comicorum Atticorum Fragmenta*, Lipsiae, 1880, 499.
Kritzas, Kh.B. *Κόλλιξ — Κύλιξ*, *Horos* 4, 1986, 162–165.
Oikonomides, A.N. The `bread-stick' of Mantios, *Horos* 3, 1985, 130–131.
Oikonomides, A.N. *Κόλλιξ*, *ὄλισβος*, *ὀλισβοκόλλιξ*, *Horos* 4, 1986, 168–178.
Piotrovskiy, M.B. *Koranicheskie skazaniya* [Quranic narratives]. Moscow, 1991.
Slovar russkogo yazyka. [Dictionary of the Russian Language in the XI–XVII centuries] Moscow, 1981.
Sobolevskiy, A.I. *Lektsii po istorii russkogo yazyka* [Lectures on the history of the Russian language]. Moscow, 2005.
Tibiletti Bruno, M.G. Un confronto greco-anatolico. *Athenaeum* 47, 1969. 304.
Παπαδοπούλου, Α. 1958. Ἱστορική Γραμματικὴ τῆς Ποντιακῆς Διαλέκτου, vol. 1–2, Ἀθῆναι.

А.Ф. Кофман

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ НЕГРИЗМ: ОБРЕТЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ СМЫСЛОВ[1]

Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (*ИМЛИ РАН*)
121069, г. Москва, ул. Поварская, 25а

В статье рассматриваются характерные особенности поэтики латиноамериканского негризма — течения, развивавшегося преимущественно в поэзии в 1920-е — 1940-е годы. Его истоки зародились в культуре европейского авангардизма, когда совершился переворот в европейском восприятии африканского искусства и оно быстро вошло в моду. В лоне европейского авангардизма был создан мифологизированный образ африканца как представителя иного типа сознания, основу которого составляют иррационализм, ритуализм и архетипичность. Эта модель была усвоена авангардизмом латиноамериканским и явлена в поэзии пуэрториканца Л. Палес Матоса, но быстро подверглась идеологической и эстетической перекодировке: «космополитический» африканец европейского примитивизма обретает этнически узнаваемые черты и становится воплощением своеобразия латиноамериканской культуры. Во всех странах континента был создан огромный массив негристской поэзии, которая характеризуется тем, что автор старательно создает иллюзию афроамериканской аутентичности своей лирики, используя при этом принципы фольклорной реконструкции афроамериканских песенно-танцевальных жанров. Их африканские черты сосредоточены в сфере ритмики, инструментовки и исполнительства; и негристы разработали изощренные приемы «перевода» определенной характеристики из плана музыкального в план литературный. При этом они переформировывают представления о значимости африканской составляющей в культуре континента, возводя африканизм в разряд перманентной сущности национального и латиноамериканского «духа». Исполнение танца (и соответственно, написание либо чтение негристского стихотворения) приобретает тем самым черты ритуального действа, суть и цель которого — восхождение героя, поэта, читателя к этнокультурным архетипам, постижение своей сущности. Так архетипичность и ритуализм

Кофман Андрей Федорович — доктор филологических наук, заместитель директора ИМЛИ РАН по научной работе, заведующий Отделом литератур Европы и Америки Новейшего времени, главный научный сотрудник (e-mail: andrey.kofman@gmail.com).

[1] Статья написана при поддержке гранта РФФИ 17-04-00073-ОГН «Литературный процесс первой половины XX в. в Европе и Америке: направления и школы».

европейского примитивистского «дикаря» в Латинской Америке преобразуются в эстетизированный ритуал самоидентификации.

Ключевые слова: негризм; африканское искусство; авангардизм; примитивизм; Латинская Америка; афроамериканский фольклор; фольклорная реконструкция.

Должен был произойти колоссальный сдвиг в европейском общественном сознании и в художественном мышлении для того, чтобы «примитивное» искусство, в течение столетий вызывавшее небрежение со стороны профессиональной художественной элиты и ученых, вдруг стало восприниматься образцовым, объектом для подражания. Еще в последней трети XIX в. европейские путешественники по Африке описывали африканскую скульптуру определениями «грубая», «непристойная», «ужасная» «смешная»: «Там стояла смешная карикатура на человека»; «Посреди деревни возвышался деревянный идол — чудовищная и непристойная репрезентация женской фигуры» [Connelly F.S.] Еще в 1870-е — 1880-е годы XIX в. антропологи рассматривали трибальное искусство исключительно как этнографический объект и определенный технический навык (Э. Тэйлор, А. Хадсон, С. Рид, Г. Семпер); и лишь в 1890-е годы появились знаменательные работы А. Хейна (1890, 1891) и А. Ригля (1893), в которых образцы примитивного искусства впервые изучались в качестве эстетических объектов. Этот сдвиг в общественном сознании и в эстетическом мышлении, конечно же, не произошел в одночасье в 1906 г. с «открытием» африканской скульптуры, которое почти одновременно совершили Матисс, Дерен и Вламинк, приобщив к нему Пикассо. То был растянутый на полтора десятилетия процесс поиска и выработки нового художественного языка в лоне постимпрессионизма и авангардизма. Открытие африканской скульптуры ознаменовало лишь кульминационную стадию этого процесса.

Он происходил под одновременным воздействием различных факторов — социальных, мировоззренческих, эстетических, определившихся в результате кризиса позитивизма, происходившего на рубеже XIX–XX вв. В формировании этой тенденции значительную роль сыграли богоборческая философия Ницше, психоанализ Фрейда, культурология Шпенглера, пантеизм П. Тейара де Шардена и мистический теллуризм Г. Кейзерлинга. Их труды возвестили такие тенденции, как радикальная переоценка ценностей западной цивилизации, стремление приникнуть к первоматерии жизни и погрузиться в эпоху сотворения, восприятие земли как источника витальной энергии человека и нации, обостренное ощущение всего первозданного, праисторического в окружающем мире, демонстрация силы инстинкта, подсознательного и относительности, подчас иллюзорности власти разума, апология инстинктивного иррацио-

нального начала в человеке и в народе, критика рационализма и эмпиризма, противопоставление восточных и американских культур западноевропейской не в пользу последней и др.

Переворот в европейском восприятии африканского искусства совершился почти моментально и принял характер бурного увлечения, сопровождавшегося подчас завышенными оценками со стороны художников и искусствоведов. Примитивизм начался в авангардной живописи, но очень быстро захватил другие искусства, прежде всего музыкальное и хореографическое, которые в свою очередь оказывали воздействие на пластические искусства.

Будучи искусством живым и действенным, африканская скульптура воспринималась вместе с тем столь же древней, как искусство палеолита. Общепринятым было мнение, будто она не знала эволюции, то есть существовала в некоем временном вакууме, воспроизводя первоначальные прототипы. Французский искусствовед Эли Фор, который впервые в мировой практике включил раздел об искусстве Африки и Океании в свою четырехтомную «Историю искусства» (1912), заявлял, что только в тропиках и на Крайнем Севере «люди, живущие в современности, сохранили практически нетронутым дух своих самых отдаленных предков» [Primitivism and Twentieth century art. A documentary history, 2003: 54]. В 1917 г. Г. Аполлинер говорил, что датировка африканской скульптуры невозможна, а ее происхождение он возводил к египетскому искусству. Три года спустя А. Сальмон в работе «Негритянское искусство» (1920) категорически утверждал, что «негритянское искусство предшествовало всем прочим искусствам» [Primitivism and Twentieth century art. A documentary history, 2003: 4].

Эту же точку зрения разделял русский художник и искусствовед В. Марков (В.И. Матвей), автор, наверное, самой глубокой работы той поры об африканской скульптуре (1919): «Даже самые поздние изделия почти в неприкосновенности сохранили старые традиции», — писал он; а про свою коллекцию масок говорил, что это «лишь верхушки, оазисы великого искусства, отдаленное эхо оригинального языка» [Матвей, 1919: 36].

Будучи воспринятым таким образом, трибальное искусство, с одной стороны, являло собой абсолютную противоположность позитивистскому историцизму; а с другой — предстало как оживший архетип и как осязаемое воплощение того первоначального времени, куда помещал себя художник-авангардист. Тому способствовали и характерные формы трибальной скульптуры, своей видимой простотой, абстрактностью, схематизмом противостоящие восточному искусству — усложненному, нарративному, литературному. Африканская скульптура являет как бы голую сущность, чистый

архетип, первоэлемент культуры. Это касается в том числе и ее эмоциональной однозначности: она выражает одно, простейшее чувство в предельно концентрированном выражении. На самом деле, трибальная скульптура с присущими ей утилитарными функциями воспроизводила сильную эмоцию (страх, гнев, отчаяние) с целью ее «отогнать», превозмочь, но эти этнографические тонкости были неведомы художникам-авангардистам. Вообще следует отметить, что отсутствие конкретных этнографических, искусствоведческих знаний о примитивном искусстве развязывало художникам руки, позволяя им интерпретировать его с полнейшей свободой.

Из европейских авангардистских течений особое пристрастие к негризму проявляли представители дадаизма — «африканизм» стал едва ли не главной сценической составляющей их шумных сборищ в Цюрихе (1916). В дадаистских «представлениях» особую роль играли копии африканских масок — их изготовлял М. Янко; Р. Хюльзенбек завел тантамы и колотил в них, когда Т. Тцара и другие, надев маски, плясали и пели собственного сочинения «африканские» песни. В Старом Свете негризм наиболее ярко проявился в живописи и в скульптуре, в музыке и в хореографии, а также в антропологии, культур-философии и в искусствоведении. Что же касается европейской литературы, то наиболее ярко и полно африканизм проявился в течении негритюда, зачинателями которого стали темнокожие эмигранты: выходец с о. Мартиника Э. Сезэр, сенегалец Л.С. Сенгор и гвианец Л. Дамас. Творчество этих поэтов разворачивалось с конца 1930-х по конец 1960-х годов, т.е. в то время, когда уже состоялся и завершился североамериканский Гарлемский ренессанс (1920-е годы) и латиноамериканский негризм миновал пик своего развития. Закономерно, что упомянутые поэты активно разрабатывали идеологемы и темы, рожденные в лоне европейского авангардизма и получившие развитие в Новом Свете, такие как утверждение принципиальных отличий негритянского типа сознания от европейского, апология негроидной расы, не утерявшей органической связи с космическими силами, отрицание холодной бездушной европейской цивилизации, обращение к африканским корням, тоска по Африке и т.п.

Важные особенности европейского негризма обусловлены принципиально иным в сравнении с предшествующей традицией восприятием образа «примитивного» человека. В примитивистской тенденции от античности до позднего романтизма образ «доброго» дикаря всегда выстраивался по существующим этическим нормам, являясь, в конечном счете, идеальной проекцией должного человека как его понимал европеец. «Естественность» снимала все пороки, порожденные цивилизацией, оставляя чистые добродетели, как считалось, изначально присущие всякому человеку (см. Монтень,

“Опыты”, гл. XXXI). В XX в. в целом наблюдается прямо противоположная тенденция: художники не без влияния антропологов, создавая образ «дикаря», сознательно отдаляют его от современной цивилизации, причем это противопоставление затрагивает самые глубинные сферы онтологии — этику, эстетику, тип мышления, мировосприятие. «Дикарь» начинает представлять иной мир, другое сознание, внеположное устоявшимся европейским критериям. Основу конструирования примитивистского образа «дикаря» в XX в. составляют цивилизационная «инаковость», теллуризм с его апологией животно-биологического начала, иррационализм, ритуализм и архетипичность.

Европейская мода на «африканца» послужила главным стимулом американского негризма, когда к нему активно подключились афроамериканцы. Американский негризм оформился в мощное литературное течение, заявившее о себе сначала в литературе США (Гарлемский ренессанс), а чуть позже в латиноамериканской литературе. В отличие от североамериканского латиноамериканский негризм создавался преимущественно представителями европеоидной расы: из сотни наиболее известных поэтов-негристов Латинской Америки не более четверти были цветными. В силу этого обстоятельства экзотистская, примитивистская тенденция проявилась в латиноамериканском негризме сильнее, чем в североамериканском.

Формирование негризма, ставшего аутентичным латиноамериканским феноменом, обусловлено типологическими особенностями латиноамериканской культуры и внутренними закономерностями ее эволюции. Поскольку культура Латинской Америки формировалась на основе европейской, сам процесс ее становления состоял в отделении от европейской традиции, сопряженном с поиском самобытности. Отделение предполагает противопоставление, что, в свою очередь, связано с одновременным взглядом на «себя» и на Европу с характерным акцентом на объектах-отличиях. Этот акцент пронизывает всю латиноамериканскую литературу, переходя от географических и этнографических описаний к изображению обычаев, фольклора, нравов, этнопсихологии.

Негритянская тема, образ негра так или иначе присутствовали в предшествующей латиноамериканской литературе начиная с колониальной эпохи; доминантной эта тематика становится в кубинском аболиционистском романе. Но даже в нем афроамериканец не фигурирует как полноценный представитель нации, как национально значимый объект.

Главная характерная черта латиноамериканского негризма состоит в том, что африканский элемент в нем предстает не просто как тема, а как акцентированный отличительный объект национальной

действительности, как одно из проявлений латиноамериканской самобытности. Как было сказано, в латиноамериканской культуре выявление и акцентирование своей самобытности неизбежно сопрягались с открытым или скрытым противопоставлением данного объекта Европе. Негризму антиевропейская направленность была присуща изначально: как ни парадоксально, она была заложена в него в западной культуре, которой импонировала критика ее прагматизма и «зацивилизованности» в тот исторический момент глубокого духовного кризиса после Первой мировой войны. Образ «иррационального», «непостижимого» негра, созданный в Европе, перекочевав в Америку и утвердившись в ранних произведениях негризма, обрел особый идеологический смысл — акцентирование качественных отличий двух типов сознания: негритянского, с которым идентифицирует себя негрист, от европейского. Эта направленность определила и тот специфический способ обращения с фольклорным материалом, о котором будет сказано ниже.

Вполне закономерен тот факт, что латиноамериканский негризм зародился в лоне авангардизма. В 1921 г. пуэрто-риканские поэты Х.И. де Диего Падро и Л. Палес Матос основали авангардистское течение, которое назвали по первым слогам своих фамилий диепализмом. В качестве образца новой эстетики было опубликовано созданное в соавторстве стихотворение «Диепалическая оркестровка», переполненное звукоподражаниями: «Гуау! Гуау! Ау-ау, ау-ау, ау-ау... Уммм... / Ночь. Луна. Деревня... ууумммм...» и т.п. В появившемся вскоре манифесте провозглашалась эстетическая программа, состоявшая в том, чтобы «заменить логику фонетикой» и «отобразить мир с помощью языка животных», «не прибегая к развернутой описательности, которая только искажает правду и чистоту сюжета» [Rivera de Alvárez, 1985: 134]. Вслед за представителями футуризма и дадаизма их пуэрториканские последователи пытаются воссоздать лепет первобытного человека, еще только созидающего первоначальный язык и нарекающего вещи мира. Таким образом, диепалические стихи выступают инструментом актуализации архаического субстрата сознания. Диепализм прекратил свое существование уже в начале 1922 г., однако стал первым шагом к формированию латиноамериканского негризма.

Действительно, провозглашенный в русле этого течения принцип превалирования фонического над семантическим характерен для древнейших обрядовых жанров фольклора, в частности, для африканской песни. И не случайно через несколько лет в творчестве Л. Палеса Матоса «диепалический» праязык обрел персонажа, на нем заговорившего, — негра (сборник «Негритянский народ», 1926). Палес Матос заостряет примитивистские черты европейского об-

раза африканца, доводя их почти до гротеска. Его негр — существо абсолютно иррациональное, вненациональное и внекультурное, которое своей беспечной, счастливой, утробной жизнью и своей мощной витальностью отрицает всю систему европейских духовных ценностей: «Ням-ням. В белое мясо / вонзаются черные зубы. Ням-ням. / Ножницы ртов / Щелкают над ляжками. Ням-ням» [Palés Matos, 1978: 150]. Настойчивые мотивы грязи, пота, тьмы, грохота барабанов в ранней поэзии Палеса Матоса призваны разрушить европейский эстетический код и обозначить элементы принципиально новой эстетики, что проявляется и в воссоздании облика персонажей. Если в европейской традиции средоточием характера мыслится лицо человека, то Палес Матос даже не поминает лиц и глаз персонажей: в облике его героев абсолютно доминируют такие части тела, как бедра, ноги, живот, груди, челюсти. На место традиционного европейского эстетического идеала поставлен «негритянский тотем — / полукайман и полужаба, / полугорилла и полусвинья» [Palés Matos, 1978: 153].

Персонаж пуэрто-риканского поэта живет на лоне дикой природы в нелокализованном пространстве воображаемой первобытной Негрисии. Она принципиально отличается от классической Аркадии тем, что не имеет отношения к гармонии, естественной добродетели, общественному и этическому идеалу — напротив, здесь абсолютно доминирует стихия варварства, не управляемых разумом эмоций и инстинктов. Его негр рожден из тьмы эпохи первоначала и всякое его действие предстает в качестве ритуального акта возвращения в эту эпоху: «В тишине сельвы / под сакраментальную дробь тамбора / танцует негр, / одержимый великим первоначальным зверем. (...) / Его душа улетает / в темный лимб, где правит / негритянская сущность». [Palés Matos, 1978: 149].

Однако созданный пуэрториканским поэтом образ негра в Латинской Америке быстро подвергся идеологической и эстетической перекодировке. «Абстрактный», «космополитический» африканец европейского примитивизма обретает конкретные этнически узнаваемые черты и становится воплощением своеобразия латиноамериканской культуры. Архетипичность его мышления и ритуализм поведения приводятся в соответствие с реально бытующими афроамериканскими культами (кубинские ньяньигос и сантерия, гаитянский воду), а иррационализм трактуется как противоположность европейскому модусу мышления. Первые шаги в этом направлении совершили уругваец И. Переда Вальдес, автор стихотворных сборников «Гитара негров» (1926) и «Черная раса» (1929) и кубинец Х.С. Тальет стихотворением «Румба» (1928).

Следующий шаг сделал кубинец Николас Гильен, опубликовавший в 1930 г. сборник стихотворений «Мотивы сона» (сон — жанр афрокубинского фольклора). В ранней поэзии Гильена образ негра, сохраняя свою примитивистскую закваску, насыщается социальной конкретикой, жизненностью и становится узнаваемым. Персонаж Гильена, аналогичный лирическому герою Л. Хьюза, еще очень примитивен, движим элементарными эмоциями и реакциями и существует в мире элементарных проблем, но вместе с тем это образ кубинского негра, отражающий представление о «национальной сущности». «Негр-губошлеп» Гильена обретает реальный облик, на смену нечленораздельным «ням-ням» Палеса Матоса приходит связная и глубоко самобытная речь. Она столь же далека от речи литературной, как и от речи народной, диалектной или жаргонной; она искусно сконструирована с целью передать особый разговорный ритм, специфическую интонацию и даже пританцовывающую походку негра:

«Фу-ты ну-ты — пышный живот! —
фу-ты ну-ты.
Фу-ты ну-ты — щерится рот! –
фу-ты ну-ты.
Фу-ты ну-ты — глазки, как мед!
Фу-ты ну-ты...» [Гильен, 1982: 24]

Просторечизмы и исковерканные слова — далеко не новость латиноамериканской поэзии «в народном духе». Новаторство Гильена состоит в том, что для создания образа он выстраивает особый синтаксис, по сути примитивистский, и в этом отношении его опыт соотносится со стилистическим экспериментом А. Платонова, который также отражал сознание героев, создавая новый синтаксис вне канонов как литературной, так и народной речи. Гильен унаследовал у авангардистов и склонность к языкотворчеству, что особенно ярко проявилось в сборнике «Сонгоро косонго» (1931). Эзотерическое название сборника — это фонетическая стилизация африканского «праязыка», которая ничего не означает ни для автора, ни для его персонажа, негра. «В поэтике Гильена, — отмечает Ю. Гирин, — слово, выражающее дух кубинской «сущности», обладает яркой стилистической окрашенностью в негристские тона. Все его знаменитые “йамбамбо йамбамбе”, “конго солонго”, “маматомба, серембе кисеремба” и прочие негритянские припевки-междометия, которые традиционно считаются звукоподражаниями, на самом деле были результатом кропотливой работы...» [Гирин, 2004: 294]. Как и Хьюз, Гильен не считал себя авангардистом, однако в своем обращении с языком, первичной материей поэзии, он фактически творил в русле авангардистской парадигмы.

Сказанное в некоторой степени относится и к большинству латиноамериканских поэтов-негристов, которые подхватили и творчески развили новаторские принципы фольклорной реконструкции, заложенные Хьюзом и Гильеном.

Расцвет латиноамериканского негризма приходится на 1930–1940-е годы, когда почти во всех странах континента был создан огромный массив негристской поэзии. Из поэтов, работавших в русле этого течения, помимо упомянутых, наиболее значительны уроженец Мартиники Э. Сезэр, гаитянский поэт Ж. Румен, автор поэмы «Черное дерево» (1939), кубинцы Э. Бальягас, Р. Педросо и Р. Хирао; доминиканец М. дель Кабраль, написавший «12 негритянских стихотворений» (1932), сборник «Негритянский тропик» (1942) и поэму «Дружище Мон» (1943); уроженец Панамы Д. Корси, объединивший свои негристские стихотворения в сборнике «Кумбия» (1936), венесуэлец А.Э. Бланко как автор сборника «Хуанбимбада» (1959); перуанец Э. Лопес Альбухар, опубликовавший «Афроперуанские стихотворения» (1938), колумбиец Х. Артель, автор сборников «Барабаны в ночи» (1940) и «Негритянская поэзия» (1950); эквадорец Х. Ортис, автор сборника «Земля, сон и барабан» (1945); бразильцы М.Р. Морайс де Андраде и Ж. де Лима, опубликовавший «Четыре негритянских поэмы» (1937) и «Негритянские стихи» (1947).

Этот массив поэзии характеризуется не только общностью тематики, но и рядом эстетических установок и приемов. Главная характерная черта латиноамериканского негризма состоит в том, что автор старательно создает иллюзию афроамериканской аутентичности своей лирики, используя при этом принципы фольклорной реконструкции.

Для выполнения своих задач латиноамериканский негризм должен был опереться на афроамериканскую культуру, существовавшую до той поры исключительно в сфере культуры фольклорной, следовательно, основным материалом для поэтической стилизации могли послужить только афроамериканские песенно-хореографические жанры. Эти жанры характеризуются абсолютным преобладанием креольского (т.е. генетически европейского) начала в области мелоса и поэзии. Но негристы радикальным образом переиначили эти жанры — сначала в своем собственном восприятии, а затем, отразив его на бумаге, в восприятии национальном, общекультурном, представив их жанрами с абсолютным преобладанием африканского элемента во всех составляющих синкретического единства. При этой переработке креольские элементы были отодвинуты на задний план, а африканские выдвинуты на первый и поданы в сильно акцентированном виде.

Тематика текста была изменена и сконцентрирована на образе негра, при этом автор (белый в том числе) старательно отождествлял себя с афроамериканцем, надевая на себя маски танцора, гуляки, мулатки, прачки, кормилицы и т.п. Подобного типа ряжение (о нем можно говорить и в случаях цветного авторства) поддержано совокупностью тонких стилистических приемов, которые, собственно, и определяют художественное своеобразие этого течения.

В фольклорных текстах афроамериканских песенно-хореографических жанров спорадически проявлялись только два африканских элемента: настойчивый рефрен и ономатопея (ритмические звукоподражательные формулы, иногда африканского происхождения), и эти два элемента негристы сделали опорными в своей поэтике (особенно рефрен). В музыкальной сфере африканские черты афроамериканских песенно-хореографических жанров сосредоточены в сфере ритмики, инструментовки и исполнительства; и разумеется, негристы не могли обойти вниманием эти черты, разработав изощренные приемы «перевода» определенной характеристики из плана музыкального в план литературный.

Об огромной значимости в поэзии негристов ритмического начала вряд ли стоит говорить подробно: сборник этой лирики на русском языке очень точно назван: «Обнаженные ритмы». Очевидно пристрастие негристов к резким ритмическим перепадам, перебивкам ритма, сочетанию длинных стихов с короткими рефренами и т.д., в совокупности отражающими специфическую асимметричность африканской ритмики. Наконец, ритм входит в негритянскую лирику как одна из ее постоянных тем:

«Звучит он, ритм, звучит он,
Звучит он, звучит он, ритм,
Ритм, звучит он, звучит он,
Звон!» [Гильен, 1982: 39]

Афроамериканский музыкальный инструментарий (главным образом тамбор) также входит в негритянскую поэзию как постоянная тема. Звучание тамбора передается иногда напрямую:

«(Тамба, тамба, тамба, тамба!)
Ну, дубасит (тумба, тумба!)» [Гильен, 1982: 34];

а иногда средствами ритмической организации стиха и звукописью:

«Антильской улицей раскаленной —
Ритмы румбы, ритмы кандомбе и самбы —
Идет Тембандумба из Кимбамбы».

[Обнаженные ритмы, 1965: 158]

Для афроамериканских фольклорных жанров характерен принцип респонсорного пения, предполагающий сочетание сольных партий с хоровыми — последними исполняется рефрен. Можно утверждать, что негристы перевели в сферу литературы и этот исполнительский принцип: при обратном переводе в область музыки или мелодекламации негристская поэзия определенно предполагает перекличку солиста и хора, нередко с преобладанием хоровых партий.

Латиноамериканская негристская поэзия передает также общую эмоционально-возбужденную манеру исполнения, даже такую ее особенность как крещендо по мере приближения к финалу. Яркий пример такого финального фортиссимо (возбуждения, доведенного до экстаза) представляет последняя строфа «Румбы» кубинца Тальета:

«В пароксизме румбы мечутся танцоры
И летит к чертям разбитый барабан
Пики-тики-пан! Пики-тики-пан!
Пики-тики-пан! Пики-тики-пан!
И летит на землю черная Томаса,
И летит на землю Че Энкарнасьон.
Пики-тики-пан!
Пики-тики-пан! Ком-пон-тон! Пум!.. Пум...!»

[Обнаженные ритмы, 1965: 167]

Сопоставление фольклорного и литературного уровней показывает, что негристская поэзия не является стилизацией под фольклор: она переформировывает восприятие афроамериканских фольклорных жанров, концентрируя и выводя на передний план их африканские черты. Главным же образом, она переформировывает представления о значимости африканской составляющей в культуре континента, возводя африканизм в разряд перманентной сущности национального и латиноамериканского «духа». При этом афроамериканские фольклорные черты трактуются как сакральные элементы и одновременно выступают в роли тех архетипов, к которым восходит сознание негра. Эти архетипы носят вневременный характер, но локализованы они именно в Латинской Америке. Исполнение танца (и соответственно, написание либо чтение негристского стихотворения) приобретает тем самым черты ритуального действа, суть и цель которого — восхождение героя, поэта, читателя к этнокультурным архетипам, постижение своей сущности. Так архетипичность и ритуализм европейского примитивистского «дикаря» в Латинской Америке преобразуются в эстетизированный ритуал самоидентификации.

Выделенные характеристики позволяют в общих чертах наметить границы латиноамериканского негризма. Выполнив свои задачи в

контексте развития латиноамериканской литературы и исчерпав свои художественные возможности, негристская поэзия сошла с литературной сцены к концу 1940-х годов. Главная же причина заката этого течения состоит в том, что в общественном сознании Испанской Америки разграничения социальные всегда имели большую значимость, нежели расовые разграничения. Эта особенность в опосредованном виде проявилась и в эволюции афроамериканской составляющей в латиноамериканской литературе XX в.: происходило нивелирование расово-культурных признаков при абсолютном доминировании признаков национальных, социальных, идеологических. В этом смысле эмблематическое заглавие носит итоговый сборник одного из зачинателей негристской поэзии кубинца М. Марселино Асосарены — «Черная песня без цвета» (1966).

Если исходить из функций и основного стилевого принципа латиноамериканского негризма (фольклорная реконструкция), можно констатировать, что в прозе он в целом не состоялся, будучи представлен очень незначительным количеством произведений. Из них лучшие — романы венесуэльца Г. Менесеса «Песнь негров» (1934) и аргентинца М. Сапаты Оливелья «Мокрая земля» (1947), а также повесть кубинца А. Карпентьера «Царство земное» (1949). Менесес в своем романе использует короткие «песенные» фразы, рефрен и полиритмию, воспроизводя в ритме прозы афроамериканские фольклорные жанры. В роли главного героя выступает центральный персонаж креольского фольклора — мачо, который самоутверждается в бесчисленных победах над женщинами (мачистские мотивы пронизывают и народную лирику). В последующих романах Менесес уже не возвращался к прозе этого типа. Сапата Оливелья этнографически тщательно воспроизводит особенности народной речи негров (роман даже снабжен глоссарием). Иным путем пошел Карпентьер: точку опоры для воссоздания образа негра кубинский писатель нашел не в стилизации фольклорных жанров и не в речевой специфике, а в типологии негритянского сознания, трактуемого как сознание коллективное, мифологическое, дорационалистическое, принципиально противостоящее сознанию европейца. При таком ракурсе основным художественным приемом становится систематическое замещение писательского «цивилизованного» взгляда взглядом дорационалистического героя: в результате действительность воссоздается через призму мифологического сознания и насыщается фантастикой.

Подавляющее количество латиноамериканских романов негритянской тематики не имеют отношения к негризму. В целом они подчиняются магистральной линии развития негритянской тематики в латиноамериканской литературе XX в. от декоративности к социаль-

ности, от акцентирования расовых признаков к их нивелированию в сфере общечеловеческой проблематики.

Крупный североамериканский специалист по негритянской литературе Латинской Америки Р. Джексон уверенно предсказывал: «Нет ни малейшего сомнения в том, что в будущем латиноамериканские писатели-негры воспримут и станут все активнее развивать концепции черного мира, африканизма, панафриканизма, негритюда, черной диаспоры». [Jackson, 1979: 196]. Необоснованность такого предположения становится очевидной при изучении общих тенденций развития африканской составляющей в латиноамериканской литературе.

Дело не только в том, что в силу особенностей положения негров в Латинской Америке литература «черного авторства» никогда не составляла особого ответвления в латиноамериканской литературе и во всем — в тематике, стиле, идейном содержании — полностью подчинялась закономерностям общелитературного развития. Дело в том, что афроамериканская тема в качестве самостоятельной и доминирующей в произведении вообще исчезает из латиноамериканской литературы. Действительно, если обратиться к самому мощному и плодотворному движению литературы Америки, окрещенному «новым» латиноамериканским романом, то обнаруживается, что среди нескольких десятков самых известных романов Г. Гарсиа Маркеса, М. Варгаса Льосы, Х. Кортасара, К. Фуэнтеса, А. Роа Бастоса, А. Карпентьера, М. Отеро Сильвы, Х.К. Онетти и др. нет ни одного, сосредоточенного именно на негритянской тематике. Вполне очевидно, что отказ современных романистов от тематической концентрации афроамериканской культурной составляющей есть выражение определенной закономерной тенденции развития латиноамериканской литературы.

Объяснить эту тенденцию можно только тем, что для латиноамериканской литературы африканская составляющая всегда была чем-то вроде строительного материала, то есть она привлекалась и использовалась для нужд развития литературы: она была нужна лишь постольку, поскольку могла служить точкой опоры для того или иного направления на данном отрезке движения литературы. В своем развитии латиноамериканская литература XIX — первой половины XX в., за редкими исключениями еще не способная целостно воспроизвести национальный и континентальный образ мира, была вынуждена осваивать действительность как бы отдельными «сегментами»: поэтому в корпусе литературы принято выделять такие образования, как «роман о городе», «роман о земле», роман индихенистский, «литература зеленого ада» и др. Роман негритянской тематики представляет собой освоение еще одного «сегмента» действительности.

Когда эта сфера была познана и освоена в художественном слове, когда литература вышла к глобальной общечеловеческой проблематике, когда вопрос о самобытности стал решаться не в системе знаков отличий, а в системе художественного мышления, тогда надобность в тематической концентрации африканского элемента отпала сама собой. Тем более что латиноамериканский негр давно уже перестал быть африканцем, а стал кубинцем, венесуэльцем, колумбийцем, перуанцем и т.д., т.е. латиноамериканцем.

Список литературы

Гильен Н. Избранное. М., 1982.

Гирин Ю.Н. Литература Кубы // История литератур Латинской Америки. Кн. 4. Ч. 1 / Под ред. Н.И. Балашова. М., 2004.

Матвей В.И. Искусство негров. Пг, 1919.

Обнаженные ритмы. Негритянские мотивы в поэзии Латинской Америки. М., 1965.

Connelly F.S. The sleep of reason. Primitivism in Modern European Art and Aesthetics. 1725–1907. Kansas-City, 1995.

Jackson R.L. Black Writers in Latin America. Albuquerque, 1979.

Palés Matos L. Poesía completa y prosa selecta. Caracas, 1978. P. 150, 153, 149.

Primitivism and Twentieth century art. A documentary history. Berkeley; Los Angeles; London, 2003.

Rivera de Alvárez J. Diccionario de literatura puertorriqueña. T. 1. San Juan de Puerto Rico, 1985.

Andrey F. Kofman

LITERARY NEGRISM IN LATIN AMERICA: IN PURSUIT OF A SENSE OF IDENTITY

A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (*IWL RAS*) *25a Povarskaya*, *Moscow*, *121069*

The article highlights some characteristic features of Latin American Negrismo. It was a trend that developed mainly in poetry in the 1920s–1940s. Its origins are rooted in the culture of European avant-garde, when the evolution in the European perception of African art made it fashionable. European avant-gardism produced a mythologized image of an African as of an African as an archetypal character and as a person of a different type of consciousness which is, based on irrationality and ritualism. This model was adopted by Latin American avant-gardism and revealed in poetry of the Puerto Rican L. Pales Matos, but then

the “cosmopolitan” African of European primitivism acquires ffeatures of Latin American identity. Negrist poetry has been hugely popular in all countries of the continent. Guided by conventions of African-American song and dance genres, poets have skillfully created the illusion of Afro-American authenticity. African folk music is characterized by a peculiar rhythm, manner of instrumentation and performance style, and negrists have worked out elaborate techniques enabling them to convert musical into literary. This changes the vision of Africanism in the culture of the continent, making it an integral part of the national and Latin American “spirit”. Writing or reading a poem is the same as dancing a dance, it acquires features of ritual action which aims to bring the poet and reader to ethnic archetypes and help them learn their essence. archetypical representation and ritualism of the image of European primitive “savage” in Latin America is thus transformed into an aesthetic ritual of self-identifi cation.

Key words: negrismo; African art; avant-garde art; primitivism; Latin America; Afro-American folklore; reconstruction of folklore.

About the author: *Andrey F. Kofman* — PhD in Philology, deputy director of the A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences and head of the Department of Modern European and American literature (e-mail: andrey.kofman@gmail.com).

References

Gilyen N. *Izbrannoye*. [Selected verse] Moscow, 1982. 356 p.

Girin Yu.N. *Literatura Kuby*. [Cuban Literature] *Istoriya literatur Latinskoy Ameriki*. [History of Latin American Literature] Kn. 4. Chast 1. Pod red. N.I. Balashova. Moscow, 2004. 582 p.

Matvey V.I. *Iskusstvo negrov*. [The art of the Africans] Petrograd, 1919. 112 p.

Obnazhennyye ritmy. Negrityanskiye motivy v poezii Latinskoy Ameriki. [Naked rythms. African motives in the poetry of Latin America] Moscow, 1965. 154 p.

Connelly F.S. *The sleep of reason. Primitivism in Modern European Art and Aesthetics*. 1725–1907. Kansas-City, 1995. 423 p.

Jackson R.L. *Black Writers in Latin America*. Albuquerque, 1979. 334 p.

Palés Matos L. *Poesía completa y prosa selecta*. Caracas, 1978. 389 p.

Primitivism and Twentieth century art. A documentary history. Berkeley, Los Angeles, London, 2003. 548 p.

Rivera de Alvárez J. *Diccionario de literatura puertorriqueña*. T. 1. San Juan de Puerto Rico, 1985. 344 p.

Н.К. Новикова

ЦИКЛ МОНОЛОГОВ РОБЕРТА БРАУНИНГА «КОЛЬЦО И КНИГА»: ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ И ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

В статье рассматривается цикл монологов «Кольцо и книга» (1868) — самое большое и одно из наиболее сложных по структуре произведений Роберта Браунинга (1812–1889), классика викторианской поэзии. Моя основная цель состоит в том, чтобы проанализировать формальные особенности произведения в контексте авторской рефлексии над задачами поэзии. С формальной точки зрения я предлагаю считать текст в его единстве циклом драматических монологов, т.е. новым этапом в развитии экспериментального жанра, который интересовал Браунинга на протяжении всей его литературной карьеры. Новизна в подходе к драматическому монологу заключается в сведе́нии отдельных монологов в сложное сюжетное единство и в смещении границ между драматическим, лирическим и эпическим родом литературы. С философской точки зрения, я полагаю, что отношение между «драматическим принципом» и «лирическим выражением», самим Браунингом положенное в основу нового жанра, реализуется не только на сюжетном, но и на метасюжетном уровне — как отношение между объективностью эмпирического материала и субъективностью поэтической формы. Мое рассуждение основано на авторских свидетельствах — первой и последней части цикла, где подробно описан процесс создания произведения — и сосредоточено на анализе центральных понятий и метафор: «факт», «правда», «поэтическая правда», «книга», «кольцо». В моем понимании, логика Браунинга находится в соответствии с характерной для западных писателей середины XIX в. позднеромантической философией творчества, которая исходила из сомнения в абсолютных возможностях воображения и искала новые сущностные основания для субъективности художника.

Ключевые слова: Роберт Браунинг; викторианская поэзия; «Кольцо и книга»; драматический монолог; романтическая субъективность; философия поэзии.

Циклу монологов «Кольцо и книга» (1868) принадлежит особое место в поэтическом каноне Роберта Браунинга — это не только

Новикова Наталия Кирилловна — кандидат филологических наук, преподаватель кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: NETalie@yandex.ru).

самое значительное по объему из законченных произведений викторианского поэта, но и веха, которая знаменует завершение зрелого, наиболее известного этапа его творческой эволюции. Предметом моего непосредственного интереса является жанровое своеобразие произведения в связи с характерной для Браунинга философией поэтического творчества.

История создания цикла «Кольцо и книга» требует подробного изложения, поскольку Браунинг намеренно сделал ее важнейшим элементом своего окончательного замысла, связав с ней не только рамочную композицию первой и последней части, но и смысл заглавия, программно сочетающего в себе буквальное и метафорическое значение. В основе цикла лежат материалы судебного дела, заслушанного в римском суде в 1698 г. Опубликованные речи обвинителей и защитников вместе с памфлетами, а также некоторыми частными письмами были собраны в досье, случайно найденном Браунингом на блошином рынке во Флоренции в июне 1860 г. Между приобретением досье и публикацией цикла монологов проходит восемь лет, на которые приходится одно из самых трагических событий в жизни Браунинга — смерть его супруги Элизабет Барретт Браунинг в 1861 г. Из восьми лет непосредственная работа над произведением продолжалась с 1864 по 1868 г. Впервые оно было опубликовано серией из четырех отдельных томов в период с ноября 1868 по февраль 1869 г. и при жизни автора переиздавалось дважды, в 1872 и в 1889 гг. (в собрании сочинений).

Суть судебного дела заключалась в обвинении графа Гвидо Франческини из Ареццо в убийстве его жены Помпилии и ее приемных родителей. Признавая совершенный факт, защита графа настаивала на том, что убийство оправдано оскорблениями, нанесенными чести графа, — неверностью жены и предшествовавшим обманом со стороны тещи и тестя, которые скрыли от жениха низкое происхождение невесты. Суд над графом Гвидо в 1698 г. являлся лишь кульминацией запутанного дела, которое началось за пять лет до того. Родители Помпилии договорились о заключении выгодного брака дочери с аристократом, но вскоре дурной характер графа и расстроенное положение его дел стали причиной взаимных тяжб с целью аннулирования брачного соглашения, в ходе которых раскрылось, что дочь почтенных родителей оказалась подкидышем и не могла быть законной женой и наследницей. Все это время Помпилия находилась в одиночестве в замке мужа, получая утешение только от молодого священника Капонсакки, который помог ей бежать в Рим и укрыться в доме родителей, где вскоре ее настиг граф Гвидо. В результате вооруженного нападения родители Помпилии погибли, а сама она получила смертельные раны и умерла, не дожив

до окончания суда. В деле, проходившем на глазах у всего Рима, ни обвинение, ни защита не могли взять верх, пока окончательное решение не было передано папе Иннокентию XII, который подписал обвинительный приговор. Последним эпизодом дела после казни графа и его сообщников 22 февраля 1698 г. стал суд, посмертно оправдавший Помпилию в деле о супружеской измене.

Юридические хитросплетения дела графа Гвидо составляют содержание десяти книг со II по XI, которые представляют собой монологи от лица обобщенного римского жителя (II книга — сторонник графа, III книга — сочувствующий Помпилии, IV книга — равнодушный скептик); графа (V книга — до вынесения приговора, XI книга — непосредственно перед казнью); священника Капонсакки (VI); Помпилии (VII); адвокатов со стороны защиты (VIII) и обвинения (IX) и папы Иннокентия как верховного судьи (X). Повествование в книгах I и XII ведется от лица автора и обращается к британской публике. Упоминаемые в этих книгах обстоятельства написания произведения находят практически полное соответствие в биографии Браунинга.

Исключительный статус цикла «Кольцо и книга» в творчестве Браунинга связан с многолетними экспериментами автора в области поэтической формы[1]. Обобщая мнение, утвердившееся среди исследователей, можно сказать, что карьера викторианского поэта как увлеченного, но неудавшегося драматурга, его первые опыты в жанре романтических поэм подводят его к созданию жанра драматического монолога. Хотя эта новация принадлежит, в том числе и Алфреду Теннисону (ранние монологи «Тифон», «Святой Симеон Столпник» и «Улисс», 1833), именно Браунинг сделал ее предметом последовательной разработки: итогом первого этапа стали сборники «Драматические стихотворения» (1842) и «Драматические поэмы и стихотворения» (1845), а наиболее зрелые поэтические достижения были собраны в сборники «Мужчины и женщины» (1855) и «Dramatis Personae» (1864). Несмотря на столь последовательный интерес, едва ли не единственным теоретическим высказыванием Браунинга о новом жанре можно считать замечание о «лирическом выражении» в соединении с «драматическим принципом» и необходимой дистанции между автором и множеством вымышленных лиц [Browning, 1971: 197], что легло в основу дальнейших, более углубленных

[1] Творчеству Браунинга посвящены классические монографии 1960-1970-х гг. [King, 1968; Honan, 1961; Drew, 1970; Hair, 1972]. В те же годы были написаны наиболее основательные монографии, посвященные циклу “Кольцо и книга” [Altick, Loucks, 1968; Sullivan, 1969]. Из литературы последних лет следует выделить [O’Neill, 1995; Roberts, 1996], а на русском языке [Усенко, 1998; Романова, 1999; Валетова, 2004; Кружков, 2015].

определений жанра в критической литературе[2]. Резюмируя, можно сказать, что своеобразие драматического монолога заключается в том, что формально он имеет черты драматического рода литературы, но, всегда будучи фрагментом ненаписанной пьесы, остается изъятым из сюжетного действия и из системы отношений с речами и действиями других персонажей. Акцент, таким образом, переносится на лирическую составляющую, на построение субъективного, только этому персонажу свойственного образа мира, где не только морально-психологические оценки, но и сами факты становятся относительными и двусмысленными. В отсутствии как других собеседников, так и любых форм авторского вмешательства от ремарок до прямых оценок единственным свидетельством, на котором читатель может основывать суждения о героях монологов Браунинга, остается их собственная речь. Психологизм Браунинга-поэта связывают именно с его способностью использовать потенциал иронического высказывания — работать в зазоре между тем, что говорится, и тем, что подразумевается, между сказанным намеренно, целерационально и произнесенным как бы случайно, помимо воли.

Мир монологов Браунинга, таким образом, — это мир сложной двойной иллюзии. Само бытие персонажей, которые рассказывают и выносят суждения независимо от авторского Я, имеет иллюзию объективности, автономности: оно основано на ином типе литературной условности, чем бытие героев большого или малого эпического повествования, о которых читатель узнает из чужого рассказа. Вместе с тем рассказы и оценки строятся на неизбежных лакунах, преувеличениях, противоречиях, в силу чего персонажи, в свою очередь, становятся творцами более или менее правдоподобных иллюзий.

С точки зрения экспериментов в жанре драматического монолога, «Кольцо и книга» действительно представляет собой вершину творчества Браунинга, синтезируя не только драму и лирику, но и эпос. Это затрудняет хоть сколько-нибудь однозначное жанровое определение текста. Выражение «цикл монологов» является рабочим и принимается мною, поскольку в самом общем виде содержит указание на соотношение целого и частей, не передавая, однако тесного сюжетно-психологического единства отдельных монологов. «Кольцо и книга» — это сюжетная последовательность из 12 поэтических книг, каждая из которых составляет в среднем около 2000 строк, на-

[2] Фундаментальными исследованиями о драматическом монологе до сих пор остаются книги Р. Лэнгбаума [Langbaum, 1957] и Э. Синфилда [Sinfield, 1977], при том что первая больше сосредоточена на проблемах поэтики, а вторая — на происхождении жанра. Лэнгбаум впервые проанализировал роль иронии в структуре драматического монолога, связав основной художественный эффект с конфликтом между сопереживанием и моральной критикой, которые вызывают у читателя герои Браунинга.

писанных нерифмованным пятистопным ямбом — одним из самых распространенных размеров английской поэзии, характерным и для драмы (шекспировский театр), и для эпоса («Потерянный рай» Мильтона), и для лирики (среди многочисленных примеров — «Времена года» Томсона, «Прелюдия» и «Прогулка» Уордсворта). Книги со II по XI являются монологами лиц, участвующих в единой драме, а книги I и XII написаны в форме авторского комментария к основной драме и обстоятельствам создания произведения.

«Кольцо и книга» сохраняет в качестве структурного ядра драматический монолог в той форме, которая хорошо узнается по предшествующему творчеству Браунинга: речь персонажа имеет одновременно центробежный и центростремительный характер, т.е. включает множественные отсылки к другим лицам и обстоятельствам, позволяя реконструировать чужие характеры и действия, но в итоге замыкается на произносящем субъекте, превращая внешние отсылки в «улики» или «симптомы» его внутреннего состояния. Однако введение девяти говорящих участников создает новый художественный эффект. С одной стороны, равным правом выйти на «сцену» и произнести монолог наделен не один персонаж, чьи слова служат читателю источником более или менее надежного знания, а исполнители всех главных ролей в сюжете — жертва и агрессор, зрители и судьи. Это обстоятельство приближает «Кольцо и книгу» к объективности драмы. С другой стороны, кавычки, в которые выше было заключено слово «сцена», приобретают принципиальное значение: сцена как общее пространство взаимодействия является сугубой условностью, она не служит для встречи персонажей, каждый из которых остается замкнут в мире лирического переживания, лишь отчасти доступном для других участников драмы. Продуктивный парадокс между драматическим и лирическим компонентом усиливается за счет эпического начала, которое проявляется, главным образом, в масштабности изложения: по верному наблюдению английского критика, каждая из книг превосходит по длине самые пространные монологи, раннее написанные Браунингом, при том что все произведение в два раза превышает объем поэмы «Потерянный рай» [Hawlin, 2002: 191]. Эпический характер носят и ряд структурных элементов, таких как классическое членение на двенадцать частей и парафраз обращения к Музе, роль которой выполняет Э. Бэрретт Браунинг под именем «лирической любви» (книга I, 1383) [Browning, 1985: 56][3].

[3] Текст цикла «Кольцо и книга» цитируется по полному собранию сочинений Браунинга в 17 томах. В библиографию включены только тома 3, 7, 8 и 9. При цитировании в квадратных скобках указан конкретный том с годом выхода и страница. В круглых скобках указаны разделы цикла, которые сам Браунинг назвал «книгами», и номера строк.

Увеличение объема монологов означает и усложнение художественной техники: субъект каждого монолога стремится к выполнению основной риторической задачи — доказательству вины или невиновности, однако пространная речь включает в себя множество других элементов. Во-первых, сами говорящие могут становиться авторами подробных ремарок, давая описания жестов, внешности, интерьера, а во-вторых, в их речи в изобилии присутствует «чужое слово». Носителями этого «чужого слова» могут быть косвенные участники основной драмы, как архиепископ, чьи слова воспроизводит Помпилия (книга VII, 751–765, 784–797) [Browning, 1988: 187–189]; голоса неких обобщенных субъектов, например, носителя житейской мудрости, который в молодости наставлял священника Капонсакки (книга VI, 349–388) [Browning, 1988: 92–93]; цитируемые тексты — в частности, история первых римских пап, предмет размышления папы Иннокентия XII (книга X, 32–149) [Browning, 1989: 72–77]. Пользуясь известной характеристикой Гете в отношении Генриха фон Клейста, эти элементы можно назвать «невидимым», т.е. вынесенным за пределы сцены, театром: они могут быть потенциально развернуты в сценическое действие, но не обладают самостоятельным бытием, открываются вниманию читателя только как результат волевых усилий или общего психологического состояния основных действующих лиц.

Само понятие «сюжета» в применении к циклу монологов Браунинга усложняется. Фабулу, которая, очевидно, заключается в самом судебном деле, автор излагает в книге I (книга I, 771–815) [Browning, 1985: 35–36], направляя читательское внимание с тематического содержания на способ его художественной разработки. В отсутствии драматического действия как такового основным сюжетом цикла становится последовательность монологов. В общем, она подчиняется хронологии: монологи в книгах со II по XI следуют друг за другом от момента совершения преступления и задержания графа до его препровождения на казнь. Однако помимо временно́й в основе сюжета лежит и художественная логика, которую можно описать как стремление приблизиться к правде. Это приближение происходит в два этапа по схожей схеме: от монологов наиболее пристрастных и корыстных лиц — к тем, кто может претендовать на нравственный авторитет. Сначала читатель переходит от сплетен римских граждан к предсмертным словам Помпилии (книга VII), потом — от адвокатской риторики к размышлениям папы римского над последним вердиктом (книга X).

Ни одно серьезное обсуждение цикла монологов «Кольцо и книга» в критической литературе не может обойти стороной проб-

лему правды[4]. В целом, можно сказать, что в последние сорок лет произведение прочитывается в ключе постмодернистской эпистемологии — как искусная реконструкция плотной сети властных отношений, демонстрирующая тотальную недостоверность любого знания и нравственного суждения [Buckler, 1985; Brady, 1988; Slinn, 1991; Rigg, 1999]. Такие интерпретации имеют основание в той мере, в какой ирония определяет поэтическую технику драматического монолога, однако модернизируют Браунинга. В моем понимании, наиболее взвешенное прочтение принадлежит Р. Лэнгбауму, который писал об особом характере релятивизма, свойственном циклу «Кольцо и книга» [Langbaum, 1957: 109–137].

Согласно Лэнгбауму, у Браунинга авторитеты, выступающие гарантами общезначимой правды — церковь и суд — полностью скомпрометировали себя, однако это не означает, что любое нравственное суждение обратимо и произвольно. Девятерым действующим лицам предоставлено равное право произнести монолог, заключающий в себе подробную самохарактеристику, однако из этого не следует, что все они в равной мере правы или в равной мере заблуждаются. Добродетель Помпилии, отвага священника Капонсакки и мудрость папы Иннокентия XII выделяют их среди других персонажей, не приписывая им, однако, трансцендентной привилегии — не освобождая их от зависимости от исторической конъюнктуры. С точки зрения Лэнгбаума, Браунинг показывает не принципиальную невозможность правды, а ограниченность ее торжества, когда ей не на что опереться, кроме морального инстинкта отдельного человека. Этот моральный инстинкт в наибольшей мере отличает Капонсакки и папу римского, которые выступают в защиту Помпилии не потому, что так подсказывает социальная или религиозная докса (оба неоднократно критически отзываются о порядке вещей в церкви и в обществе) и не потому, что их убедил анализ отдельных фактов (это лишь далее запутывает дело), а потому что их суждение, наиболее рефлективное и бескорыстное, способно охватить характер Помпилии в его целостности.

Обобщая Лэнгбаума, можно сказать, что Браунинг оказывается одновременно традиционалистом и новатором, искателем неклассической правды: она поставлена в зависимость от индивидуального бытия, от меры личного понимания. Эта логика получает воплощение на сюжетном уровне — как криминальное дело в римском суде в конце XVII в. — и повторяется на метасюжетном — как процесс превращения юридического казуса в поэму полтора века спустя, описанный Браунингом в рамочной композиции книг I и

[4] Краткий обзор дискуссий, посвященных этой проблеме, см. в [Hawlin, 191–201].

XII. Именно в этих книгах заключается объяснение названия всего произведения.

Образ «книги» включает целый ряд взаимосвязанных, но самостоятельных смыслов. Во-первых, это сама «старая желтая книга» как физический объект — желтизна ее страниц, характерные особенности набора и почерка печатных и рукописных документов (книга I, 83–84, 115–137, 340–342) [Browning, 1985: 10, 11, 19]; (книга XII, 223–233) [Browning, 1989: 260–261].

Во-вторых, это рассказанная в книге история, которая предстает как совокупность свидетельств, принципиально несводимых к единой нравственной и сюжетной целесообразности. За каждым из них угадывается свой страстный, но ограниченный взгляд на вещи.

В-третьих, это историческое бытие книги-объекта и рассказанной в ней истории. Книга-объект лежит под спудом более полутора веков и едва не разлетается на десятки страниц в момент, когда поэт находит ее на блошином рынке среди множества других разрозненных предметов, лишенных ценности (книга I, 49–83) [Browning, 1985: 9–10]. История графа и Помпилии предстает как событие, которое всколыхнуло живые симпатии римских жителей и заставило их разделиться на два противоположных лагеря, но с течением времени утратило для них всякую важность (книга I, 408–430) [Browning, 1985: 22].

Синонимами «книги» выступают «факт» (fact) и «правда» (truth). В финале «правда» приобретает дополнительный смысл, основанный на противопоставлении между «правдой жизни» и «поэтической правдой». «Поэтическая правда» отличается небуквальностью, уклончивостью (XII, 839–857) [Browning, 1989: 284].

Аналогично, образ «кольца» отсылает к целому спектру значений. Во-первых, речь идет о произведениях итальянского мастера Кастеллани (книга I, 1–29) [Browning, 1985: 7–8]. Украшения, найденные при раскопках этрусских захоронений близ города Кьюзи, поразили современников непостижимой тонкостью обработки металла и заставили ювелиров искать утраченные секреты мастерства. Вдохновленные педантичной исторической реконструкцией работы Кастеллани стали свободной импровизацией на темы, заданные древними образцами, и завоевали необыкновенный успех в Италии и за ее пределами. У Браунинга было кольцо Кастеллани с надписью “Vis mea” (лат. «моя сила») — подарок Изабеллы Блэгден, входившей во флорентийский круг Браунингов. Конкретный смысл заглавия не исчерпывается отсылками к ювелирному делу, поскольку в финале XII книги кольцо упоминается дважды (книга XII, 864–870) [Browning, 1989: 285]: это и обручальное кольцо Браунинга, и «золотое кольцо поэзии» Элизабет Бэррет Браунинг, которое объединило

Англию и Италию — так гласили строки итальянского поэта Никколо Томмазео, высеченные над входом в Каза Гвиди, дом Браунингов во Флоренции. В обоих случаях факт и развитая на его основе метафора имеют важный биографический смысл, связанный с идеей гармоничного союза.

Во-вторых, за образом «кольца» стоит процесс ювелирной работы, в который входит отделение «благородного» металла от «неблагородного», плавление, придание необходимой формы и последующее закаливание в холодной воде (книга I, 360–361, 452–464, 675–680, 695–699) [Browning, 1985: 20, 23–24, 31, 32].

В-третьих, круглая форма кольца и его полированная поверхность свидетельствует о его рукотворном совершенстве (книга I, 1379–1381) [Browning, 1985: 56]; (книга XII, 235–236, 865) [Browning, 1989: 261, 285].

Сложная метафорика заглавия подсказывает, что Браунинг отождествляет процесс изготовления кольца с созданием художественного произведения как восхождением от «правды жизни» к «поэтической правде». Говоря о «невидимой Руке», послужившей ему указанием (книга I, 37–41) [Browning, 1985: 8], и представляя себя поэтом-визионером, которому открываются события прошлого (книга I, 491–512) [Browning, 1985: 25], Браунинг сохраняет раннеромантическую мифологию озарения, однако соединяет ее с образом творчества как кропотливого труда, борьбы с сопротивлением материала. К подобной философии творчества в середине XIX в. независимо друг от друга приходят, например, Э. По с идеей поэзии как математически рассчитанной «ритмической красоты» (эссе «Философия творчества» и «Поэтический принцип»), Г. Флобер с утопией «научного» извлечения поэзии из каждого «атома» повседневной жизни (письмо Л. Коле от 27 марта 1853 г.), Т. Готье с образом поэта-ремесленника.

Сама ювелирная метафора подсказывает типологическую параллель с манифестом Т. Готье («Искусство», 1857), однако сопоставление демонстрирует столько же сходство, сколько и принципиальное различие. Браунинг-создатель «кольца» и Готье-создатель «эмалей и камей» борются с историческим временем, которое угрожает всякой художественной ценности, делая ее относительной, случайной, но для Готье эта ценность имеет сугубо эстетический характер. Браунинга заботит вопрос «правды» как этической категории, недоступной человеку в силу пристрастности и слабости. Соответственно, задача художника — помочь человеку в его ограниченности, дать ему возможность причастности к правде в художественной форме. Основной элемент этой формы — переживание, сложность которого связана, во-первых, со свободой от подчинения эмоциональным стимулам

повседневной жизни. Неслучайно Браунинг настаивает на том, что художественная речь отличается от обычной «уклончивостью», т.е. не затрагивает личной корысти и не требует непосредственной реакции.

Во-вторых, сложный характер переживания предполагает отказ от аффективного отождествления с одной из сторон конфликта ради способности постигать жизненную ситуацию, вживаясь в роли разных участников. К этой множественности ролей отсылают две развернутые метафоры: природа, которая предстает в различном облике, следуя порядку времен года (книга I, 1340–1357) [Browning, 1985: 55], и магический шар, который меняет цвет при самом незначительном повороте (книга I, 1359–1370) [Browning, 1985: 56]. Особый морализм Браунинга сближает его с установкой, которую П.Б. Шелли формулирует в предисловии к своей трагедии «Ченчи» (1819) — заставить зрителя одновременно занимать взаимоисключающие позиции, с максимальной искренностью и осуждать, и оправдывать главную героиню, чтобы таким образом глубже изучить движения собственного сердца. Как поэты-драматурги Браунинг и Шелли идут разными путями — Браунингу чуждо столь контрастное совмещение добродетели и преступления в одном лице, как это происходит с главной героиней Шелли — однако общей для обоих можно считать тесную связь морали с самопознанием и культивацией переживания, которые принципиально противопоставлены традиционному нравоучению.

Переживание как элемент художественной формы входит в структуру отношений не только между произведением и аудиторией, но и между произведением и самим художником. Подобно многим авторам середины XIX в., альтер-эго Браунинга надевает маску позитивиста, посвятившего себя строгой эмпирике, идя по пути пост-романтического сомнения в возможностях постижения абсолюта через субъективную интуицию, которой романтики чаще всего давали имя воображения. Однако наряду с такими писательскими свидетельствами, как философские этюды Бальзака или переписка Флобера, автокомментарии Браунинга в книгах I и XII могут служить красноречивым подтверждением тому, что объективность безличного «произведения-факта» отнюдь не является окончательной целью писателя.

Браунинг предлагает целую серию оригинальных метафор: он говорит о «заброшенном в мир» «избытке души» (surplusage of soul, книга I, 716) [Browning, 1985: 33], который стремится к «ничейному», «безжизненному» телу; о чародее, который обладает искусством покидать собственную оболочку и отправляться в «паломничество»; о даре оживления, которым владели Фауст и пророк Елисей; а

главное, о вдохновенном превращении «мертвой» книги в «живую» (книга I, 716–771) [Browning, 1985: 33–35]. Все они функционируют, усиливая центральную «ювелирную» метафору, согласно которой выплавление кольца — это «сплав души с инертной материей», буквальная «отмена смерти вещей» (книга I, 463, 514) [Browning, 1985: 24–25]. Общая логика указывает на противопоставление живого, одушевленного, личного — мертвому, инертному, отчужденному. Писательство, таким образом, представляет собой род особого переживания — глубоко личного, но принципиально ориентированного вовне, на придание осмысленности, целостности и красоты миру дисгармоничных вещей и отношений.

Трудный процесс превращения, по выражению Браунинга, «мертвой книги» (юридический факт) в «живую» (драма в лицах) может быть описан в категориях, которые в свое время были предложены М.Х. Эйбрамсом, автором фундаментального исследования о романтическом мировоззрении как системе секуляризованных форм религиозного мышления. Одной из основных форм подобного рода Эйбрамс считает идею духовного паломничества — пути, который проходит (по-гегельянски) через стадии расщепления и отчуждения субъекта от самого себя и в итоге оказывается возвращением к себе на более высоком уровне самопознания [Abrams, 1973: 201–253]. Поэт-герой Браунинга сталкивается с объективностью «старой желтой книги» — совершенно случайной, внеположной его сознанию — но смысл внезапно снизошедшего озарения заключается в том, что этот объект может стать частью его внутреннего бытия. Это означает возможность, оставаясь собой, стать сомневающимся судьей, убийцей, страшащимся казни, беспринципным адвокатом и целым рядом равноправных действующих лиц.

Такой взгляд обогащает метафору «кольца», делая неслучайной отсылку к определенному виду ювелирного украшения — к изделиям Кастеллани, которые, как говорилось выше, объединяли в себе научное увлечение археологией и творческий подход. В случае Браунинга перед нами также своеобразная «археология» — пытливая встреча с чужой, ушедшей в прошлое жизнью ради того, чтобы сделать ее частью нового художественного замысла.

Из числа современных Браунингу произведений любопытной типологической параллелью к творческому заданию «Кольца и книги» может служить роман Н. Готорна «Алая буква» (1850). Так же, как и цикл монологов Браунинга, история, рассказанная американским романистом, заключена в рамку, которая прямо отсылает к биографии автора — службе в качестве таможенного чиновника. Таможня, подобно улицам современной Флоренции, представлена как мир повседневности, посюсторонних забот, глухой к поэзии, но готовый

в самый неожиданный момент обнаружить таинственную жизнь. В обоих случаях обнаружение этой жизни связано с нахождением объекта, чью физическую материальность, как и Браунинг, подчеркивает Готорн, фиксируя фактуру ткани и бумаги, заключающих в себе историю алой буквы.

Отношения автора с объектом начинаются с озарения, которое у Готорна подано почти мистически через метафору огня, обжигающего вопреки всяким разумным объяснениям, потом проходят этап критического анализа, разложения объекта на противоречивые и неполные исторические свидетельства и завершаются художественным синтезом. «Книга» и «кольцо» Браунинга сходятся у Готорна в одной метафоре «алой буквы» — одновременно истлевшего лоскута, фрагмента навсегда утраченной жизни, и «романтического романа» (romance), написанного заново и сохраняющего лишь верность общих контуров судебной истории. Художественный синтез в обоих случаях достигается за счет того, что изначально чуждый, внешний по отношению к творческому сознанию объект наделяется (словами Браунинга) «избытком души», приобщается к его субъективному бытию, оказывая на самого автора спасительный эффект. Завершая очерк «На таможне», Готорн пишет о выходе своего альтер-эго из духовного кризиса, а Браунинг говорит о том, что «поэтическая правда» может «спасти душу» (книга XII, 863) [Browning, 1989: 285].

Подводя итог, следует подчеркнуть, что предлагаемый мной ответ на вопрос об эстетико-философской интерпретации жанровых особенностей цикла монологов «Кольцо и книга» находится в контексте романтической и постромантической философии творчества. В более широком, а не в узкохронологическом смысле Браунинга можно отнести ко второму поколению романтиков, которые усомнились в творческом потенциале «абсолютной внутренней жизни» (пользуясь гегелевским выражением из «Лекций по эстетике») и обратились к поиску объективных начал в искусстве в соответствии со своим индивидуальным пониманием — так, в случае с гейдельбергскими романтиками В.М. Жирмунский говорил о «хоровом начале» в лирике («Проблема культуры в произведениях гейдельбергских романтиков»), а П. Валери описывал «положение Бодлера» через «влечение к более крепкой субстанции и более совершенной и чистой форме» (доклад «Положение Бодлера»). В цикле «Кольцо и книга» объективное и субъективное сталкиваются дважды. На сюжетном уровне это «драма» девяти самостоятельных актеров, которая не становится общим действием, а остается «лирической» стихией каждого отдельного сознания. На метасюжетном уровне полем столкновения становится сам процесс создания произведения, который мыслится как трудноразрешимый конфликт между грубой неподдатливостью жизненного факта и пластичной обработанностью художественного

текста, между «книгой» и «кольцом». Философия творчества, подсказывающая решение этого конфликта, заключается в том, что сам Браунинг называет «поэтической правдой», которая сочетает эстетику и этику в искусстве высокорефлективного переживания.

Список литературы

Валетова О.В. Драматическая лирика Роберта Браунинга: 1830–1850-е гг.: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. СПб, 2004.

Кружков Г.М. Браунинг: между Пушкиным и Достоевским // Очерки по истории английской поэзии. Т.2. Романтики и викторианцы. М., 2015. С. 185–204.

Романова В.Н. Поэзия Роберта Браунинга: к проблеме художественного своеобразия: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Н. Новгород, 1999.

Усенко Д.В. Браунинг и романтизм: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М., 1998.

Abrams M.H. Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature. New York, 1973.

Altick R.D., *Loucks J.F.* Browning's Roman Murder Story: A Reading of 'The Ring and the Book'. Chicago (Il.), 1968.

Brady A.P. Pompilia: A Feminist Reading of Robert Browning's 'The Ring and the Book', Athens (Oh.), 1988.

Browning R. The Complete Works of Robert Browning. Vol. III. Athens (Oh.), 1971.

Browning R. The Complete Works of Robert Browning. Vol. IX. Athens (Oh.), 1989.

Browning R. The Complete Works of Robert Browning. Vol. VII. Athens (Oh.), 1985.

Browning R. The Complete Works of Robert Browning. Vol. VIII. Athens (Oh.), 1988.

Buckler W.E. Poetry and Truth in Robert Browning's 'The Ring and the Book'. N.Y., 1985.

Critical Essays on Robert Browining. N.Y., 1992.

Drew P. The Poetry of Browning: A Critical Introduction. L., 1970.

Hair D.S. Browning's Experiments with Genre. Edinburgh, 1972.

Hawlin S. The Complete Critical Guide to Robert Browning. L., 2002.

Honan P. Browning's Characters: A Study in Poetic Technique. New Haven (Ct.), 1961.

King R.A. The Focusing Artifice: The Poetry of Robert Browning. Athens (Oh.), 1968.

Langbaum R. The Poetry of Experience: The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition. N.Y., 1957.

O'Neill P. Robert Browning and Twentieth-Century Criticism. Columbia (S.Car.), 1995.

Rigg P.D. Robert Browning's Romantic Irony in 'The Ring and the Book'. Madison (Wi.), 1999

Roberts A. Robert Browning Revisited. N.Y., 1996.
Sinfield A. Dramatic Monologue. L., 1977.
Slinn E.W. Browning and the Fictions of Identity. L., 1982.
Sullivan M. R. Browning's Voices in 'The Ring and the Book'. Toronto, 1969.

Nataliya K. Novikova

ROBERT BROWNING'S 'THE RING AND THE BOOK': QUESTIONS OF GENRE AND PHILOSOPHY OF POETIC COMPOSITION

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The article is focused on the generic structure and its philosophical implications in "The Ring and the Book" (1868), a landmark in Robert Browning's work and in Victorian poetry in general. From the point of view of form, I suggest that the text should be defined as a series of dramatic monologues — a genre that Browning was perfecting throughout his career — and seen as a new step in his experiments, both for the unprecedented complexity of the plot and for a synthesis of drama, lyric and epic. From the philosophical point of view, I suggest that the relation between "dramatic principle" and "lyrical expression" is played out on a more general scale in the text — as a relation between the objectivity of empiric material and the subjectivity of poetic form. I rely in my analysis on the account of the composition that Browning himself made part of his poem and consider his central concepts and metaphors: "fact", "truth", "poetic truth", "the ring", "the book". My contention is that Browning's ideas in this case are very much in line with the philosophy of poetry characteristic of later Romantics who questioned the absolute powers of imagination and sought for some objective point of reference to substantiate the claims of poetic subjectivity.

Key words: Robert Browning; Victorian poetry; the Ring and the Book; dramatic monologue; Romantic subjectivity; philosophy of poetry.

About the author: *Nataliya K. Novikova* — PhD, Teaching Assistant at the History of Foreign Literature Department, Philological Faculty, Lomonosov Moscow State University (e-mail: NETalie@yandex.ru).

References

Valetova O.V. *Dramaticheskaya lirika Roberta Brauninga* [The Dramatic Lyric of Robert Browning]. Saint Petersburg, 2004. 22 p.
Kruzhkov G.M. *Brauning*: *mezhdu Pushkinym i Dostoevskim* [Brauning: between Pushkin and Dostoevsky]. Ocherki po istorii anglijskoj poesii. Moscow, *Progress-Traditsia*, 2015, pp. 185–204. (In Russ.)

Romanova V.N. *Poesia Roberta Brauninga*: *k probleme khudozhestvennogo svoeobrazia* [The Poetry of Robert Browning: the Question of Originality]. Nizhnij Novgorod, 1999. 22 p.
Usenko D.V. *Brauning i romantism* [Browning and Romanticism]. Moscow, 1998. 24 p.
Abrams M.H. Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature. New York, *W.W. Norton & Company*, 1973.
Altick R. D., Loucks, J. F. Browning's Roman Murder Story: A Reading of 'The Ring and the Book'. Chicago (Il.), *University of Chicago Press*, 1968.
Brady A.P. Pompilia: A Feminist Reading of Robert Browning's 'The Ring and the Book', Athens (Oh.), *Ohio University Press*, 1988.
Browning R. The Complete Works of Robert Browning. Vol. III. Athens (Oh.), *Ohio University Press*, 1971.
Browning R. The Complete Works of Robert Browning. Vol. IX. Athens (Oh.), *Ohio University Press*, 1989.
Browning R. The Complete Works of Robert Browning. Vol. VII. Athens (Oh.), *Ohio University Press*, 1985.
Browning R. The Complete Works of Robert Browning. Vol. VIII. Athens (Oh.), *Ohio University Press*, 1988.
Buckler W.E. Poetry and Truth in Robert Browning's 'The Ring and the Book', New York, *New York University Press*, 1985.
Critical Essays on Robert Browining. New York, *G.K. Hall & Company*, 1992.
Drew P. The Poetry of Browning: A Critical Introduction, London, *Methuen*. 1970.
Hair D.S. Browning's Experiments with Genre. Edinburgh, *Oliver and Boyd*, 1972.
Hawlin S. The Complete Critical Guide to Robert Browning. London, *Routledge*, 2002.
Honan P. Browning's Characters: A Study in Poetic Technique. New Haven (Ct.): *Yale University Press*, 1961.
King R.A. The Focusing Artifice: The Poetry of Robert Browning. Athens (Oh.), *Ohio University Press*, 1968.
Langbaum R. The Poetry of Experience: The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition. New York, *Random House*, 1957.
O'Neill P. Robert Browning and Twentieth-Century Criticism. Columbia (S.Car.), *Camden House*. 1995.
Rigg P.D. Robert Browning's Romantic Irony in 'The Ring and the Book'. Madison (Wi.), *Fairleigh Dickinson University Press*. 1999
Roberts A. Robert Browning Revisited. New York, *Twayne Publishers*, 1996.
Sinfield A. Dramatic Monologue. London, *Methuen*, 1977.
Slinn E.W. Browning and the Fictions of Identity. London, *Macmillan*, 1982.
Sullivan M. R. Browning's Voices in 'The Ring and the Book'. Toronto, *University of Toronto Press*, 1969.

Ю.А. Скальная

ЕГИПЕТСКАЯ МИФОЛОГИЯ В ПЬЕСЕ «ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА» Б. ШОУ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕКСТА И КОНТЕКСТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Цель данной статьи — рассмотреть пьесу Б. Шоу «Цезарь и Клеопатра» (1898) в контексте древнеегипетской мифологии. Первая часть работы анализирует значение Пролога от лица Ра для дальнейшего восприятия драмы зрителем, а также в контексте особой философии истории у Шоу. Далее вся система персонажей пьесы соотносится с представителями божественного пантеона Древнего Египта (от Ра и Бастет до чудовищ загробного мира). Основой проведения аналогий служат анималистические характеристики действующих лиц, данные в ремарках или репликах других персонажей, а также сюжетные параллели с мифами (солярными, календарными, онтологическими и мифами катастроф) и обрядами, проиллюстрированными в древнеегипетской «Книге мертвых» (суд Осириса и психостасия). Отдельного внимания заслуживает мизансценическая организация I, II и IV Актов как способ установления иерархии между персонажами в соответствии с иерархией их божественных двойников. Особое место отводится фигуре Цезаря, сочетающего в себе черты божеств как мира мертвых, так и мира живых; в свете неоднозначной природы персонажа большое значение имеет монолог у Сфинкса. Заключительная часть статьи делает вывод о принципах работы драматурга с мифологическим материалом, его методе и задачах, и вписывает его подход в общий контекст мифопоэтических исканий эпохи.

Ключевые слова: Бернард Шоу; «Цезарь и Клеопатра»; Древний Египет; мифология; мифопоэтика; мистериальный культ; герой; архетипический двойник.

Пьеса «Цезарь и Клеопатра» (*Caesar and Cleopatra*), посвященная пребыванию великого римского полководца в Египте, была написана Б. Шоу (1856–1950) в 1898 г. Первые ее постановки состоялись в Германии и Америке в 1899 г., а британская премьера пьесы прошла в 1907 г. в Лидсе. Позже, в 1945 г. вышла экранизация пьесы, над которой режиссер П. Паскаль работал в тесном контакте с самим

Скальная Юлия Андреевна — аспирант третьего года обучения кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: julycat@mail.ru).

драматургом. Экзотический антураж «Цезаря и Клеопатры» делал ее желанным материалом для постановки, но в то же время ограничивал восприятие Египта зрителями и критиками, превращая его не более чем в красочный фон. В то же время значение места действия для пьесы намного глубже простой дани историческим фактам. В настоящем исследовании мы сосредоточимся на малоразработанном в западном и совершенно не затронутом в отечественном литературоведении вопросе о роли упоминаний египетских божеств в «Цезаре и Клеопатре». Задача данной статьи — доказать, что отсылки к божественному пантеону Древнего Египта в этой пьесе не являются исключительно декоративными элементами, но составляют фундамент, на котором строится основное драматическое действие.

В статье «Шоу и Ра: Религия и некоторые исторические пьесы» Дж. Л. Уайзентал обращает внимание на многочисленные отсылки в тексте Шоу к богам Египта, Рима, Персии и Британии, подсчитывая даже их точное количество (81 упоминание слова “god”, помимо имен богов). Исследователь отмечает, что в пьесе «часто ведется речь о божественном происхождении героев или их богоподобных качествах», что в руках египетских и римских богов находятся судьбы наций, и сила Цезаря в том, что его боги оказываются сильнее египетских [Wisenthal, 1981: 45–46]. Однако вывод, к которому приходит Уайзентал, отказывает клятвам и взываниям к богам в «Цезаре и Клеопатре» в какой-либо значимости: они «просто передают местный колорит, являясь необходимой частью антуража» пьесы, и присутствие высших сил, в отличие от «Святой Иоанны» (1923), здесь не ощущается [Wisenthal, 1981: 47]. Ошибка исследователя, на наш взгляд, состоит в том, что он пытается анализировать мистериальный контекст пьесы с точки зрения именно религии, а не мифологии.

Мифологический пласт произведений Шоу в научной литературе освещен крайне скудно (в основном на материале пьесы «Пигмалион»). На наш взгляд, удивительно, что обойдено вниманием обыгрывание мифологического материала именно в «Цезаре и Клеопатре».

Первое, что бросается в глаза, — у пьесы два варианта пролога. Один из них, написанный в 1912 г., будучи довольно объемным, в большинстве прижизненных постановок опускался. Тем не менее для нас он имеет большое значение. Структурно он соответствует прологу древнегреческой (в особенности еврипидовской) драмы, где зрителям сообщалось, что за зрелище будет представлено на их суд (“Now mark me, that ye may understand what ye are presently to see” [Shaw, 1970: 162]). Обращение к зрителям в нем ведется от лица египетского бога Ра, который не просто рассказывает предысторию действия, касающуюся противостояния Цезаря и Помпея и возвеличивания любимца богов, но постоянно актуализирует ее содержание, устанавливая аналогии между древней историей и современностью:

"Know that even as there is an old England and a new, and ye stand perplexed between the twain; so in the days when I was worshipped was there an old Rome and a new, and men standing perplexed between them" [Shaw, 1970: 162].

Таким образом, в Прологе вводятся античная (греко-римская), египетская и современная парадигмы, связывающие воедино 50-е годы I в. до н.э. и рубеж XIX–XX вв.

Монолог Ра представлен на фоне декораций, изображающих его храм в Мемфисе. Таким образом, зритель оказывается в языческом святилище и с самого начала действия имеет в виду систему координат древнеегипетского божественного пантеона. Благодаря многочисленным сюжетным деталям, сравнениям, присутствующим в ремарках и оценках персонажами друг друга, а также структуре мизансцен постепенно становится очевидно, что за главными действующими лицами пьесы стоит тот или иной божественный «двойник». Рассмотрим конкретные примеры.

Выбор Ра не случаен: в качестве верховного божества он является бесстрастным арбитром и наблюдателем. Даже при замене первого варианта Пролога Ра остается на сцене, продолжает безмолвно следить за действием пьесы: его изображения высечены на колоннах дворца Клеопатры в Акте I, его статуи украшают Александрийский дворец Птолемея в Акте II, его святилище оказывается в центре внимания в Акте IV: Фтататита молится ему после убийства Потина и впоследствии сама убита Руфио на белом камне его пьедестала.

Главное солярное божество, бог Ра, считался покровителем и отцом фараонов, а значит, высшим судьей в вопросах передачи власти. Однако в споре Птолемея и Клеопатры он не принимает непосредственного участия, и роль арбитра у него символически перенимает Цезарь. К каждому из детей он относится с отеческим снисхождением, но неотъемлемой частью его действий является политический расчет. После подавления мятежа Береники и восстановления Птолемея XII на троне, Египет оказывается в политической и экономической зависимости от Рима. Подчиненное положение потомков Птолемея по отношению к римскому полководцу находит отражение в мизансценической организации первых двух актов.

Первое, что привлекает внимание Цезаря, когда Клеопатра приводит его во дворец, — тронная зала, где, когда ей *разрешается*, юная царица может сидеть на троне в полном облачении. Далее Цезарь дважды почти насильно пытается заставить Клеопатру занять ее законное место, но девочка слишком напугана приближением римских войск и в решающий момент намерена бежать. Если в начале сцены ее привлекал собственный вид на троне с короной на голове, то в ее конце она в страхе застывает на одной из ступеней, в то время как Цезарь опускается на царский трон, оказываясь выше Клеопатры как визуально, так и метафорически.

В Акте II мизансцена получает зеркальное отражение: юный Птолемей восседает на единственном во всей зале стуле, расположенном на возвышении. Цезарь, придя к нему говорить о долге Египта Риму, иронически подмечает это обстоятельство, и мальчик застенчиво предлагает римлянину свое место.

RUFIO (*shouting gruffly*). Bring a chair there, some of you, for Caesar.

PTOLEMY (*rising shyly to offer his chair*). Caesar—

CAESAR (*kindly*). **No, no, my boy: that is your chair of state. Sit down**.

He makes Ptolemy sit down again. [Shaw, 1920: 117–118] (выделено нами. — *Ю.С.*).

Как и его сестра, Птолемей слишком юн и не знает, как править; слепо следуя указаниям взрослых, сам он не чувствует за собой права на власть и не воспринимает трон как символ этой власти, а потому готов добровольно отдать его чужеземцу. Цезарь же прекрасно понимает символику этого шага, и ему уже нет необходимости всходить по ступеням: пусть позиционно в зале он ниже мальчика, но иерархически он выше Птолемея.

Когда власть обоих Птолемидов оказывается у Цезаря в руках, ему остается лишь занять трон верховного божества, что он и делает:

Meanwhile Rufio, looking about him, sees in the nearest corner an image of the god Ra <...> Before the image is a bronze tripod, about as large as a three-legged stool, with a stick of incense burning on it. Rufio <...> promptly seizes the tripod; shakes off the incense; blows away the ash; and dumps it down behind Caesar, nearly in the middle of the hall.

RUFIO. Sit on that, Caesar.

A shiver runs through the court, followed by a hissing whisper of Sacrilege!

CAESAR (*seating himself*). Now, Pothinus, to business [Shaw, 1920: 118–119].

Другой деталью, указывающей на перекличку между образами Цезаря и Ра, является эпизод в конце Акта V. Аполлодор сообщает, что единственным египетским идолом, заинтересовавшим Цезаря, был Апис — бог плодородия, которого изображали в виде быка и считали «ба» (душой) Ра [Мифы народов мира, 1987: 92]. В древнеегипетских «Текстах пирамид» сам Ра представлен как «золотой теленок», рожденный богиней неба Нут. По другой легенде, Ра «возник из огненного острова, давшего ему силу уничтожить хаос и мрак и создать в мире порядок» [Мифы народов мира, 1988: 358–9]. Эти сведения перекликаются с небылицей о происхождения Цезаря, в которую свято верит Клеопатра: "His [Caesar's] father was a tiger and his mother **a burning mountain**" [Shaw, 1920: 106] (выделено нами. — *Ю.С.*).

Приведенные сцены являются иллюстрацией не только символической насыщенности текста, но и исторических обстоятельств:

устанавливая свое владычество на новой территории, древние римляне не насаждали собственную религию, истребляя местные культы, но включали божеств завоеванного племени в свой пантеон посредством добавления или аналогии. Это позволяло им создать единую идеологию, систему ценностей для завоевателей и покоренных и ускорить осознание неизбежности доминирования римлян. Поэтому поведение Цезаря в Акте II (занятие им священного треножника) следует рассматривать не как намеренное святотатство, а, скорее, как умный политический ход.

Как мы увидим далее, параллели между Цезарем и богами Египта не ограничиваются аналогией с солярным божеством. Однако на момент середины Акта II, заняв священное место Ра, Цезарь перенимает функции этого бога, и первая из них — борьба с силами мрака.

Главным противником Ра, по легенде, является Апоп — чудовищный хтонический змей, обитающий в недрах земли. Полукомической параллелью к этому древнему божеству в пьесе может служить не менее древний на вид Теодот — дряхлый советник Птолемея, наставник царей с писклявым голосом и огромным самомнением. Однако комизм сравнения снимается в момент, когда со *змеиным* удовлетворением тот заявляет Цезарю, что именно по его приказу Луций Септимий убил Помпея на глазах у его семьи.

LUCIUS. As Pompey's foot touched the Egyptian shore, his head fell by the stroke of my sword.

THEODOTUS (*with* ***viperish*** *relish*). **Under the eyes of his wife and child!** Remember that, Caesar! They saw it from the ship he had just left. We have given you **a full and sweet measure of vengeance.**

CAESAR (*with horror*). Vengeance!

<...>

THEODOTUS (*flatteringly*). **The deed was not yours, Caesar, but ours—nay, mine; for it was done by my counsel.** Thanks to us, you keep your reputation for clemency, and have your vengeance too [Shaw, 1920: 124–125] (выделено нами. — *Ю.С.*).

В руках этого дряхлого старика оказывается власть достаточная, чтобы погубить одного из искуснейших, по мнению Цезаря, военачальников. Так, Теодот посягает на право выбора правителя не только для Египта (утверждая права Птолемея на трон в обход Клеопатры вопреки завещанию их отца), но и для Рима.

Сходство с Апопом обрисовывается еще четче в сцене, когда горит Александрийская библиотека. Согласно мифу, суточный цикл бога солнца представлен плаванием Ра в двух барках: утром он «плывет по небесному Нилу в барке Манджет, вечером пересаживается в барку Месектет и спускается в преисподнюю» [Мифы народов мира, 1988: 359]. Когда Ра проплывает на своей лодке подземное царство Апопа, тот, желая преградить путь солнечному богу, выпивает все воды подземного Нила [Мифы народов мира, 1987: 96]. Теодот в попытке

спасти библиотеку отдал приказ солдатам носить ведрами воду из Нила. Клеопатра, наблюдающая, как сотни воинов одновременно зачерпывают воду, в восторге кричит:

CLEOPATRA (*suddenly clapping her hands*). Oh, **you will not be able to go**! <...> **They are drying up the harbor with buckets—a multitude of soldiers—over there** (*pointing out across the sea to her left*)—**they are dipping up the water**.

RUFIO (*hastening to look*). <...> This is your accursed clemency, Caesar. **Theodotus has brought them** [Shaw, 1920: 138–139] (выделено нами. — *Ю.С.*).

Другой зловещий персонаж в пьесе — Фтататита: "[a] huge grim woman, her face covered with a network of tiny wrinkles, and her eyes old, large, and wise; sinewy handed, very tall, very strong; with the mouth of a bloodhound and the jaws of a bulldog..." [Shaw, 1920: 99].

По количеству анималистических характеристик Фтататита превосходит всех остальных персонажей пьесы: Бельзенор называет ее «дочерью длинноязыкого и оковращающего хамелеона», перс говорит, что у нее язык ехидны, часовой у причала называет Фтататиту «древней крокодилицей», наконец, Руфио, оправдывая ее убийство, проводит аналогию между царской нянькой и голодным львом [Shaw, 1920: 99, 101, 143, 198 соответственно].

Ключом к загадке, казалось бы, случайного набора упомянутых существ становится обращение Аполлодора к Фтататите как к «почтенному гротеску» (venerable grotesque), т.е. к некоему фантастическому существу, сочетающему в себе разнородные элементы. Так и ряд животных, с которыми сравнивается Фтататита, постепенно складывается в единый и тем более пугающий образ Амт — чудовища с головой крокодила, гривой льва, передней частью туловища от леопарда и задней от бегемота.

Амт — обитательница загробного мира, воплощающая мщение. Она неизменно присутствует на суде душ умерших, который вершит Осирис. Если во время психостасии сердце грешника перевешивало чашу с пером богини истины и справедливости Маат, Амт пожирала его [Мифы народов мира, 1987: 421]. Вот, как описано появление Фтататиты на крыше после убийства Потина: "...Ftatateeta comes back by the far end of the roof, with dragging steps, a drowsy satiety in her eyes and in the corners of the bloodhound lips" [Shaw, 1920: 183].

Единственным героем, который не боится царской няньки, но видит в ней достойного противника, оказывается Руфио. Объяснение этому находится в короткой, но чрезвычайно меткой характеристике, данной воину Цезаря Птолемеем.

PTOLEMY (*turning to go*). It is not the lion I fear, but (*looking at Rufio*) the **jackal** [Shaw, 1920: 127] (выделено нами. — *Ю.С.*).

Шакал — священное животное бога-психопомпа[1] Анубиса, внебрачного сына Осириса. За время действия пьесы Цезарь восемь раз называет Руфио сыном. Первый раз в сцене у маяка, когда тот поглощает финики (они являлись одним из обязательных подношений Осирису в мистериях погребального культа). Последний раз — в Акте V, когда он объявляет Руфио своим наместником в Египте:

RUFIO (*incredulously*). I! I a governor! What are you dreaming of? Do you not know that **I am only the son of a freedman**?

CAESAR (*affectionately*). **Has not Caesar called you his son**? [Shaw, 1920: 195] (выделено нами. — *Ю.С.*).

Как полководец Цезарь распоряжается жизнями легионов римских солдат, ежедневно смотрит смерти в лицо. Подчеркивая свою связь с Руфио-Анубисом, он примеряет на себя роль еще одного арбитра и судьи — Осириса. Таким образом, он получает власть не только в царстве живых, но и в царстве мертвых.

Подобно Амт, Анубис входит в свиту Осириса на загробном суде. Именно он взвешивает сердца умерших на весах и в другой своей животной ипостаси — черной собаки Саб — считается судьей богов (по-древнеегипетски слово «саб» — «судья» — писалось со знаком шакала) [Мифы народов мира, 1987: 89].

После того, как Фтататита совершает убийство, Руфий единственный догадывается, что произошло: "For a moment Caesar suspects that she [Ftatateeta] is drunk with wine. Not so Rufio: he knows well the red vintage that has inebriated her" [Shaw, 1920: 183]. Метафорическое вкушение крови жертвы объединяет двух убийц, и на короткое время они — Анубис и Амт — в соответствии с мифологической традицией оказываются равны в церемониале смерти, поэтому Руфио остается сидеть рядом с Фтататитой на пьедестале Ра, а затем сопровождает ее, когда та покидает сцену.

Интересно взглянуть, каков божественный двойник инициатора убийства Потина — Клеопатры. Примечательна родословная царицы: "My great-grandmother's great-grandmother was a black kitten of the sacred white cat; and the river Nile made her his seventh wife" [Shaw, 1920: 105].

В египетском пантеоне было две богини, чьим священным животным считалась кошка. Первая из них — «лунное око», богиня Бастет, покровительница женщин и детей, олицетворяющая радость, веселье и плодородие, часто изображавшаяся с музыкальным инструментом ситрой. Ее противоположность, «грозное око Ра», богиня войны и иссушающего зноем солнца — Сехмет, изображавшаяся женщиной с головой львицы, увенчанной солнечным диском со змеей.

16-летняя Клеопатра в начале пьесы предстает сущим ребенком, когда дремлет, залитая лунным светом, между лап Сфинкса (a divine

[1] Психопомп (греч. «проводник душ») отвечает за сопровождение душ умерших в иной мир.

child [Shaw, 1920: 104]), когда верит небылицам про римлян или теряет своего белого кота, когда она легко переходит от веселья к страху и наоборот. Однако ее веселье всегда граничит с жестокостью. Осознание власти над слугами вызывает у нее желание побить их *змеиной кожей*, и даже интерес к музыке оборачивается у нее потенциальным насилием: она обещает скормить учителя музыки крокодилам, узнав, что игре на арфе нужно учиться годы и совмещать это с изучением философии Пифагора.

Единственный способ философствования, который воспринимает Клеопатра, состоит в повторении сентенций Цезаря. А невозможность истинного интеллектуального превосходства выливается в необходимость подавления силой, как это и происходит в случае с наветами Потина. Она требует от Фтататиты: "Strike his life out as I strike his name from your lips. Dash him down from the wall. Break him on the stones. Kill, kill, kill him" [Shaw, 1920: 177].

Сохранился миф о том, как Ра, правивший в то время[2] на земле, состарился, и люди, усомнившись в его силе и власти, «замыслили против него злые дела». Тогда совет богов принял решение наказать людей, и наслал на них Сехмет, любимую дочь Ра. Обернувшись львицей, та без устали истребляла и пожирала ослушников. Видя страдания людей, Ра смилостивился. Однако Сехмет не останавливалась, и боги разлили на ее пути озеро красного пива. Приняв его за кровь, богиня стала жадно пить, и, опьянев, уснула и забыла о мести [Мифы народов мира, 1988: 430][3].

Отсылку к данному мифу мы находим в обвинительной речи Цезаря, где он снова перенимает на себя функции солярного божества: "In this Egyptian Red Sea of blood, whose hand has held all your heads above the waves? (*Turning on Cleopatra*) <...> By the gods, I am tempted to open my hand and let you all sink into the flood" [Shaw, 1920: 188].

Можно заключить, что Клеопатра совмещает характеристики своих божественных двойников — Бастет и Сехмет, чем отчасти и объясняются резкие смены настроения персонажа от радостной экзальтации до ярости и азартной жестокости. Однако непостоянство поведения самого Цезаря в пьесе поражает не меньше. У всех его слов и действий есть скрытый пласт; он меняет функции, облики и роли от смешного старичка до великого полководца, от чудища (римляне, в том числе Цезарь, в представлении Клеопатры похожи на гекатонхейров: "his [Caesar's] nose is like an elephant's trunk <...> They [the Romans] all have long noses, and ivory tusks, and little tails, and seven arms with a hundred arrows in each; and they live on human flesh") до божества ("Can one love a god?"— говорит Клеопатра), от воина

[2] Согласно мифам, есть два периода правления Ра: правление в мире богов и эпизодическое правление на земле среди людей.

[3] Подробнее об этом см. также: *Коростовцев М.А.* Религия Древнего Египта. М., 1976. С. 32–46.

до художника (Аполлодор: "...Caesar is no longer merely the conquering soldier, but the creative poet-artist"), от философа до мечтателя (Клеопатра: "I am not Julius Caesar the dreamer...") [Shaw, 1920: 106, 169, 180, 186 соответственно].

Цезарь Шоу многолик и неуловим; он воплощенный случай, который вмешивается в игру двух партий Птолемея и Клеопатры и расстраивает планы их наставников. Показателен его собственный выбор мифологического двойника:

THE MAN. Hail, Sphinx: salutation from Julius Caesar! <...> In the little world yonder, **Sphinx, my place is as high as yours** in this great desert <...> Sphinx, **you and I, strangers to the race of men, are no strangers to one another**: have I not been conscious of you and of this place since I was born? <...> O Sphinx, laughing in whispers. **My way hither was the way of destiny; for I am he of whose genius you are the symbol: part brute, part woman, and part God—nothing of man in me at all.** Have I read your riddle, Sphinx? [Shaw, 1920: 103] (выделено нами. — *Ю.С.*).

Постигнув загадку Сфинкса, для всех остальных героев пьесы Цезарь сам становится сфинксом — загадкой, призраком, принадлежащим не этому миру, но всем мирам (отсюда и другие параллели с Ра и Осирисом). Он не просто человек — он естественный герой в системе Шоу, герой в изначальном смысле слова, подобный полубогу греческой или египетской мифологии.

В качестве частных дополнений в мифологическую картину пьесы можно также включить аналогии между Аполлодором и египетским богом искусств и ремесел Птахом, наставником Птолемея Потином и Сетом, оскопленным за то, что поднял мятеж против Осириса, а также Британом и Тотом, покровителем счета и письма.

Подводя итог, можно увидеть, что за внешней эпатажностью шовианского текста проступает четкая логика мифопоэтической основы произведения на уровне как сюжетных ходов, так и взаимодействия персонажей.

Сомнение в том, что мифологическая составляющая не является результатом «вчитывания», но вполне сознательно введена драматургом в пьесу, на наш взгляд, исключается уже количеством и детальностью рассмотренных параллелей. Г.К. Ларсон пишет, что при создании пьесы Шоу тщательно изучал «материалы по истории Египта и при создании характера Клеопатры, вероятно, во многом опирался на "Империю Птолемеев" Дж.П. Махаффи (1895)» [Larson, 1999: 2], где упоминаются и многочисленные религиозные ритуалы, связанные со смертью царя и восхождением на престол нового правителя. Более того, Британский музей, постоянным посетителем которого являлся Шоу, известен одной из богатейших в мире коллекций экспонатов Древнего Египта, и, помимо скульптур и нескольких сотен папирусов мифологического и ритуального содержания, является обладателем ценнейших экземпляров упомянутой выше «Книги

мертвых». Нельзя также исключать, что интерес Шоу к мифологии и ее драматическому потенциалу изначально мог быть пробужден «Золотой ветвью» (1880) Дж. Фрейзера, вышедшей за восемь лет до появления «Цезаря и Клеопатры». Подтверждение знакомства драматурга с данным трудом мы находим в предисловии к более поздней пьесе «Андрокл и лев» (*Androcles and the Lion*, 1912).

Шоу не был единственным драматургом рубежа веков, использовавшим мифологические сюжеты в качестве основы для своих драм. Х. Ибсен, стремясь создать новый норвежский национальный театр на основе совмещения новаторства и традиций (о чем он подробно писал в статье «Богатырские песни и их значение для искусства», 1857), прямо обращался к скандинавским сказаниям и легендам в пьесах «Богатырский курган» (1850), «Пир в Сульхауге» (1856), «Улаф Лильекранс» (1856), «Пер Гюнт» (1867) и других произведениях. Обращение к фольклорному материалу было также характерным приемом авторов Ирландского литературного возрождения (У.Б. Йейтс, Дж.М. Синг, леди О. Грегори).

Г. фон Гофмансталь, а позже Ж.-П. Сартр, Ж. Ануй и Х. Мюллер обращались к древнегреческой мифологии в своих пьесах, однако их произведения являлись, скорее, реинсталляцией мифа: оставляя оригинальную историю, они наделяли действующих лиц современным сознанием, а их поступки осмысляли в контексте исторической (Вторая мировая война) и художественной (модернистской) проблематики. Л. Пиранделло в своей знаменитой «трилогии мифов» («Новая колония», 1928; «Лазарь», 1929; «Гиганты горы», 1936), взял за основу не отдельную национальную мифологию, но само понятие мифа как жанра и идейного комплекса в его разных преломлениях: социальном, религиозном, культурном.

Подход же Шоу к работе с мифом в «Цезаре и Клеопатре», скорее, предвосхищает «Улисса» (1922) Дж. Джойса, роман, где на первый план выходит внимательное изучение того, как реальный (в определенном смысле) человек может следовать путями божественного или героического провидения, воспроизводя архетипическую модель в современном контексте. Внимание же Шоу в особенности привлекал вопрос о самовоспроизведении истории (что отчетливо видно в прологе от лица бога Ра), а также о месте в этом процессе человека — как обыкновенного, так и Сильной Личности. Помимо этого, драматург совмещает сюжетную и функциональную сторону мифа: с одной стороны, он рассматривает миф в качестве инструмента политической манипуляции, а с другой, посредством сочленения драмы и мифологии он возвращает исходное культурное значение и мифу, и театру как медуиму просвещения — наиболее древнему способу преподнести аудитории урок. И выбор драматургом именно египетской мифологии в качестве аллюзивного первоисточника не сужает универсальности ее значения.

Список литературы

Анубис // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. Т. 1 / Под ред. С.А. Токарева. М., 1987. С. 89.

Апис // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. Т. 1 / Под ред. С.А. Токарева. М., 1987. С. 92.

Апоп // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. Т. 1 / Под ред. С.А. Токарева. М., 1987. С. 96.

Египетская мифология // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. Т. 1 / Под ред. С.А. Токарева. М., 1987. С. 420–427.

Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. М., 1976. С. 32–46.

Ра // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. Т. 2 / Под ред. С.А. Токарева. М., 1988. С. 358–360.

Сехмет // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. Т. 2 / Под ред. С.А. Токарева. М., 1988. С. 430.

Larson G.K. General Introduction: Shaw and History // SHAW: Shaw and History. University Park (PA), 1999. V. 19. P. 1–6.

Shaw B. Caesar and Cleopatra // The Bodley Head Bernard Shaw Collected Plays with their Prefaces: in 7 v. V. 2 / Ed. by Dan H. Laurence. L., 1970. P. 159–167.

Shaw B. Caesar and Cleopatra // Three Plays for Puritans: The Devil's Disciple; Caesar and Cleopatra, and Captain Brassbound's Conversion. L., 1920. P. 89–212.

Wisenthal J.L. Shaw and Ra: Religion and Some History Plays // SHAW: Shaw and Religion. University Park (PA), 1981. V. 1. P. 45–56.

Yulia A. Skalnaya

EGYPTIAN MYTHS IN GEORGE BERNARD SHAW'S 'CAESAR AND CLEOPATRA': THE TEXT-CONTEXT INTERPLAY

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The aim of the article is to consider Bernard Shaw's *Caesar and Cleopatra* (1898) in the context of Ancient Egyptian mythology. The opening part analyses the significance of the Prologue "Spoken by the God Ra in the doorway of his Temple" for the audience's perception of the further action as well as a reflection of Shaw's specific philosophy of history. Then, the article establishes links between the characters of the play and the Ancient Egyptian gods (from Ra and Bastet to the monsters of the underworld). Animalistic characteristics given in the author's remarks and other dramatis personae's replies, as well as the parallels between the drama's plot and the myths (solar, calendar, ontological and catastrophe ones) and ceremonies illustrated in the Ancient Egyptian *Book of the Dead* (the Judgment of Osiris and the psychostasia) provide the basis for the mentioned analogies. The

mise-en-scène organization of the I, II and IV Acts of the play is worth considering separately as it serves as means of indicating the characters' hierarchy according to the hierarchy of their deity doppelgängers. The figure of Caesar deserves special attention as it combines the traits of both the gods of the living and the gods of the dead; given the ambivalent nature of the character, his speech addressed to the Sphinx assumes even greater importance. The final part of the article makes a conclusion about the playwright's approach to mythological material and puts it into the broader context of the similar endeavours of the epoch.

Key words: Bernard Shaw; 'Caesar and Cleopatra'; Ancient Egypt; mythology; mythopoesis; mystery cult; hero; archetypal doppelgänger.

About the author: *Yulia A. Skalnaya* — 3rd year PhD student, Department of History of Foreign Literatures, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University (e-mail: julycat@mail.ru).

References

Anubis [Anubis]. *Mify narodov mira* [Myths of the Peoples' of the World]. Moscow, 1987. V. 1, p. 89.

Apis [Apis]. *Mify narodov mira* [Myths of the Peoples' of the World]. Moscow, 1987. V. 1, p. 92.

Apop [Apep]. *Mify narodov mira* [Myths of the Peoples' of the World]. Moscow, 1987. V. 1, p. 96.

Egipetskaya Mifologia [Egyptian Mythology]. *Mify narodov mira*. Moscow, 1987. V. 1, pp. 420–427.

Korostovtsev M.A. *Religia drevnego Egipta* [Ancient Egyptian Religion]. Moscow, 1976, pp. 32–46.

Larson G.K. *General Introduction*: *Shaw and History*. *SHAW*: *Shaw and History*. University Park (PA), 1999. V. 19, pp. 1–6.

Ra [Ra]. *Mify narodov mira* [Myths of the Peoples' of the World]. Moscow, 1988. V. 2, pp. 358–360.

Sehmet [Sekhmet]. *Mify narodov mira* [Myths of the Peoples' of the World]. Moscow, 1988, V. 2, p. 430.

Shaw B. *Caesar and Cleopatra*. The Bodley Head Bernard Shaw Collected Plays with their Prefaces: In 7 v. Ed. by Dan H. Laurence. L. V. 2, 1970, pp. 159–167.

Shaw B. *Caesar and Cleopatra*. *Three Plays for Puritans*: *The Devil's Disciple*; *Caesar and Cleopatra*, *and Captain Brassbound's Conversion*. L., 1920, pp. 89–212.

Wisenthal J.L. *Shaw and Ra*: *Religion and Some History Plays*. *SHAW*: *Shaw and Religion*. University Park (PA), 1981. V. 1, pp. 45–56.

А.В. Дулина

ТЕЛЕСНОЕ В ПРОЗЕ Г. МЕЛВИЛЛА (новеллы 1850-х годов)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Темой данной статьи является реализация категории телесного в сюжетной, образной и мотивной структуре новелл Германа Мелвилла 1850-х годов. Метод исследования — семантический и структурный анализ текста. Под «телесным» в данном случае понимается взаимодействие тела персонажа с окружающей средой, в рамках которого чрезвычайно важен процесс визуального восприятия мира. Предметом анализа стал феноменологически воспринимаемый телесный опыт, который представлен у Мелвилла, а также ресурсы семиотизации тела в художественном тексте и кинестезийные ощущения персонажей. Психосоматический аспект взаимодействия телесного и ментального планов становится главным принципом при анализе и постулируется как особенность восприятия единства соматического и психического в малой прозе Мелвилла. Данная статья посвящена исследованию мелвилловской феноменологии взгляда и описывает взгляд как феномен, понимаемый в качестве телесной категории, обуславливающей ограниченную возможность человека познавать мир, взаимодействовать с ним, интерпретировать его. Статья делится на четыре части: первая часть является кратким обзором общего теоретического поля исследования; вторая часть ставит вопрос о телесности визуального восприятия; третья и четвертая части посвящены анализу текстов новелл в рамках описания общей мелвилловской феноменологии зрения.

Ключевые слова: литература США; Герман Мелвилл; проза; новеллистика; Веранда; Бенито Серено; Писец Бартлби; Два храма; Кукареку!; Яблоневый столик; телесность; телесное; поэтика; феноменология взгляда.

Новеллы Г. Мелвилла 1850-х годов представляют интерес как сравнительно цельный корпус текстов. Речь идет о новеллах, вошедших в составленный автором сборник «Рассказы на веранде» (*The Piazza Tales*, 1856), — наиболее известны из них «Писец Бартлби» (*Bartleby, the Scrivener*, 1853) и «Бенито Серено» (*Benito Cereno*, 1855), а также в посмертно опубликованный сборник «Яблоневый столик и другие очерки» (*The Apple-Tree Table and Other Sketches*, 1922). Кроме

Дулина Анна Викторовна — аспирант филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: Doolina-anna@yandex.ru).

того, это впервые опубликованная в 1924 г. новелла «Два храма» (*The Two Temples*, 1854).

Телесное, на наш взгляд, — одна из важнейших глубинных категорий этих новелл. Обращение к семантике и поэтике телесного у Мелвилла продиктовано стремлением выявить и изучить логику телесных ощущений как одного из наиболее важных, по нашему мнению, структурообразующих пластов мелвилловских текстов.

Предпосылкой возникновения понятия «телесность» И.П. Ильин называет интенцию гуманитарной мысли постулировать неразрывность чувственного и интеллектуального начал на основе «телесности сознания» [Ильин, 2004: 399]. Ильин описывает телесность главным образом в связи с сексуализацией «теоретического и эстетического сознания Запада» [там же]. В свою очередь, А.П. Уракова в работе «Поэтика тела в рассказах Э.А. По» (2009) отмечает тенденцию современной гуманитарной науки — намеченную прежде всего у М. Фуко — представлять тело «как сумму тех или иных практик и социальных норм» [Уракова, 2009: 6]. Однако Уракова выделяет несколько направлений в исследованиях телесности помимо обращения к телу как социальному конструкту[1]. Для нас особо важны исследования, обращающиеся к телесному опыту как феноменологическому событию[2]; изучающие тело в качестве одной из основных тем произведения[3]; посвященные телесности как измерению художественного текста, где поднимается вопрос о взаимодействии тела и текста в процессе создания или восприятия произведения[4]. С. Зенкин в книге «Теория литературы» (2018), говоря об актуальности подобных исследований, ставит проблему мимесиса слова и тела[5], отмечает, что структура текста может имитировать телесную структуру и «отсылать к разным лицам (автору, рассказчикам, персонажам)» [Зенкин, 2018: 295], тем самым сама уподобляясь живому телу.

---

[1] Речь идет о феминистской критике. См., например, монографию Дж. Батлер «Тела, имеющие значение: о дискурсивных ограничениях пола» (*Bodies That Matter*, 1993).

[2] Э. Скэрри «Болящее тело» (*Body in Pain*, 1985); С. Зонтаг «Болезнь как метафора» (*Illness as a Metaphor*, 1978).

[3] Материалом таких литературоведческих исследований становятся произведения, где образы тела выходят на первый план (например, романы Рабле, Сада, Г. Миллера).

[4] См. работы М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (1965); Р. Барта «S/Z» (1970); Ж. Старобинский «Шкала температур: Язык тела в «Госпоже Бовари» (1980); П. Брукс «Работа тела» (Body Work, 1993); М. Ямпольского «Демон и лабиринт» (1996); Л. Карасева «Вещество литературы» (2001); В. Подороги «Мимесис» (2006–2011).

[5] Помимо М. Ямпольского и В. Подороги, анализирующих такой телесный мимесис, Зенкин называет и Б. Эйхенбаума, в чьей статье «Как сделана «Шинель» Гоголя» (1919) дается анализ того, как гоголевский сказ побуждает читателя имитировать конвульсивную речь рассказчика.

В отечественном литературоведении проблема изучения малой прозы Мелвилла, насколько нам известно, практически не ставилась. В зарубежной критике именно на примере новелл 1850-х годов интересующего нас аспекта телесного у Мелвилла косвенно касались У. Диллингхэм[6], Ж. Делез[7], Б. Арсич[8], М. Лэнг[9], М. Снедикер[10]. Из работ, непосредственно посвященных анализу телесности в романах Мелвилла, необходимо выделить работы Ш. Кэмерон[11] и С. Оттера[12]. Попробуем дополнить их наблюдения, опираясь на представление о взгляде как феномене телесного характера. Вслед за феноменологической трактовкой визуального восприятия М. Мерло-Понти в данном случае мы понимаем зрение как «способность быть вне самого себя, изнутри участвовать в артикуляции Бытия», что завершает и замыкает «я» на себе «только посредством этого выхода вовне» [Мерло-Понти, 1992: 51]. В статье речь пойдет, таким образом, об особенностях зрения и кинестезийных переживаниях персонажей новелл Мелвилла как важном источнике их познания и интерпретации мира, ибо «теория телесной схемы — это имплицитно теория восприятия» [Мерло-Понти, 1999: 265].

Вынося в заглавие сборника новелл «Рассказы на веранде» слово из специально написанной для него в виде вступления новеллы «Веранда» (*The Piazza*, 1856), Мелвилл делает акцент на проблеме точки зрения не только в плане идеологии и психологии, но и на точке зрения как пространственной характеристике. В качестве ключевого образа избирается место, где находится наблюдатель. Затем из самой новеллы становится ясно, что существуют еще две важные характеристики, обусловившие особенность телесного восприятия рассказчиком внешнего мира: помимо выбранной точки обзора, — это состояние окружающей среды (провоцирующее те или иные оптические эффекты) и физическое состояние рассказчика (он заболевает).

Телесность визуального восприятия

В новелле «Веранда» (*The Piazza*, 1856) описывается путешествие рассказчика в горы в поисках источника необычно яркого от-

[6] *Dillingham W.B.* Melville's Short Fiction, 1853–1856. Athens, 1977.

[7] *Делез Ж.* Бартлби, или формула // Критика и клиника (1993). СПб, 2011. С. 49–62.

[8] *Arsic B.* Passive Constitutions, Or, 7 1/2 Times Bartleby. Stanford, 2007.

[9] *Lang M.* The Hypochondriac: Bodies in Protest from Herman Melville to Toni Morrison, Ph.D., State University of New York at Stony Brook, 2007.

[10] *Snediker M.D.* Phenomenology Beyond the Phantom Limb: Melvillean Figuration and Chronic Pain // Melville's Philosophies. N.Y., 2017. P. 155–175.

[11] *Cameron S.* The Corporeal Self. Baltimore, L., 1981.

[12] *Otter S.* Melville's Anatomies. Berkeley; Los Angeles; L., 1999.

света, который виден только с веранды (специально построенной рассказчиком с нехарактерной — северной — стороны дома) при определенной погоде. Однако наблюдателю невозможно определить точное местонахождение блестящего предмета, так как «при взгляде с веранды та или иная из ближайших гор... при определенных атмосферных условиях... сливается с отдаленными, и тогда предмет, едва различимый на верхушке ближней горы, кажется помещенным на склоне дальней» [Мелвилл, 1988: 9–10]. Взгляд человека на большой дистанции не способен определить взаиморасположение объектов, а искомый объект, наделенный для наблюдателя неоспоримой ценностью, становится различимым только при таком уплотнении атмосферы, при котором проявляются обычно скрытые оптические эффекты. Блестящая точка вдалеке становится видна только очень смутно и только «при подлинно колдовской игре света и тени» [там же], и чаще всего это зависит от погодных условий, делающих обычно прозрачную воздушную среду видимой, ощутимой. В первый раз рассказчик видит загадочный отсвет в день, когда всю округу застилает дымка — “smokiness in the general air” [Melville, 1856: 10], тучи и тени от них сгущаются, а свет пробивает себе проход в этой среде, как в горной породе: «Симплонский перевал в поднебесье» [Мелвилл, 1988: 10] (“by indirect reflection of narrow rays shot down a Simplon pass among the clouds” [Melville, 1856: 10]). Затем «после короткого ливня в горах, напоминавшего крохотный островок, затерянный в туманном океане солнечного сияния» [там же], радуга упирается как раз в то место, где ранее рассказчик различал блестящий предмет. Метафора «туманные моря солнечного света» наделяет свет характеристиками тактильно ощущаемого вещества, а радуга как оптическое явление сама подразумевает «уплотнение» воздуха — его насыщенность частицами дождя или тумана. Радуга — самый яркий феномен обнаружения глазом структуры света и плотности воздушной среды. Образ нескольких очагов дождя в горах («в разных концах гор два или три [дождика вдали] идут одновременно» [Мелвилл, 1988: 10]), когда глаз распознает не стену дождя или непрерывность прозрачного воздуха, а различие в состояниях среды, также отсылает к мотиву обнаружения границы видимого, осознания неоднородности и материальности пространства, которое открывается взгляду наблюдателя. В. Подорога описывает, как процесс наблюдения за границами прозрачности способствует рефлексии над особенностями зрения: «Чтобы узнать, как все-таки мы видим, нам нужно отклониться в сторону от прямых лучей перспективной оптики в область периферийного, бокового зрения; там мы можем обнаружить границы прозрачности, ее плотность, протяженность и толщу» [Подорога, 1995: 158].

Сфокусированность взгляда рассказчика на фактуре воздуха, который превращается из прозрачного в видимый и даже тактильно ощутимый, обусловлена не только особыми состояниями атмосферы и природными явлениями, но и физическим состоянием самого рассказчика. «На протяжении всего рассказа об этом эпизоде своей жизни рассказчик постоянно повторяет слово “усталый” (или “усталость”), чтобы сначала описать свое психическое и физическое состояние, а затем — состояние живущей в горах девушки Марианны» [Dillingham, 2008: 321]. Сначала рассказчик заболевает, проведя время в сырости на природе, затем накануне путешествия в горы рассказчик погружен в состояние болезненной раздражительности из-за своего выздоровления от новой болезни (“become so sensitive through my illness”, “in this ingrate peevishness of my weary convalescence” [Melville, 1856: 13]). Раздражение вызывает в том числе плющ, обвивающий веранду. Он не может смотреть на цветы плюща из-за «неотличимых по цвету от лепестков мелких прожорливых червей» [Мелвилл, 1988: 12], которые вдруг стали видны, стоило отодвинуть листья. Рассказчик в своем болезненном состоянии становится особенно восприимчивым к образам не просто подчеркнуто материальным, вещественным, но физиологическим, телесным, что подготавливает его встречу в горах с бледной девушкой Марианной у «засиженного мухами окна» [там же: 16].

Особенности собственного зрения и пугающий рассказчика «слепой» взгляд Марианны (при разговоре в горном домике она говорит о вещах так, будто видит их, но не смотрит на них) становятся основным предметом рефлексии рассказчика, а также образно подчеркивают материально-телесную природу зрения, которое оказывается несовершенным, неспособным прозреть то, что стремится увидеть наблюдатель. Вместо реальности другого порядка (например, сказочная страна фей в «Веранде») или спасительного источника света, наблюдатели Мелвилла при попытке приблизиться к этим явлениям лицом к лицу сталкиваются с несовершенными глазами других наблюдателей или с бесконечными преградами для взгляда.

Глаз как «тусклое стекло»

Апостол Павел в Первом послании к Коринфянам говорит о земном существовании следующее: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13:12). При жизни человек обречен на ограничения своего восприятия мира, которые накладывает на него смертное тело. Благодаря образу глаза

как «тусклого стекла» можно понять, почему в текстах Мелвилла постоянно возникает образ преграды, мешающей человеку видеть.

Герои Мелвилла не могут разглядеть что-то, поэтому стремятся подойти ближе или визуально приблизить к себе предмет. Однако даже такие приборы, как телескоп, никак не помогают им. В новелле «Яблоневый столик» (*The Apple-Tree Table*, 1856), где поднимается вопрос о возможности и методах познания невидимого мира, символична находка рассказчика — сломанный телескоп. В новеллах существует целый каталог объектов и атмосферных явлений, препятствующих взгляду. В новелле «Веранда» Марианна «не может содержать в чистоте» [Мелвилл, 1988: 17] стекло в своем домике. Рассказчик в новелле «Писец Бартлби» само окно называет по аналогии с лицом Бартлби бледным: "pale window" [Melville, 1856: 67]. В этой «Повести об улице стен» ("A Story of Wall Street") описывается огромное количество перегородок и стен, не позволяющих персонажам смотреть друг на друга или на внешний мир, и даже окна не способствуют свободному взгляду вовне ("My windows commanded an unobstructed view of a lofty brick wall" [Melville, 1856: 67]).

Особо выразительны в роли «преграды» зрения и «тусклого стекла», как нам кажется, глаза Бартлби. После реплики переписчика «Разве вы сами не видите причину?» [Мелвилл, 1988: 41] рассказчик фокусируется на буквальном смысле этих слов, замечает особенность глаз писца и предполагает, что Бартлби начинает терять зрение. Глаза, которые долго смотрели только на окно и стену, сами оказываются тусклыми, остекленевшими: "dull and glazed" [Melville, 1856: 75]. Раньше эта особенность была скрыта от взгляда рассказчика, сконцентрированного на другом — на возможности интерпретации поведения писца, на «прозрачности» мотивов поведения Бартлби. Когда Бартлби перестает исполнять какую-либо работу в конторе, его больше не скроешь от глаз посетителей конторы, физическое присутствие Бартлби, не исполняющего свою функцию, делает его видимым для других ("my friends continually intruded their relentless remarks upon the apparition in my room" [Melville, 1856: 90]).

В новелле «Кукареку!» (*Cock-A-Doodle-Doo!*, 1853) происходит слияние внешнего и внутреннего мира в сознании рассказчика. Пейзаж становится отражением его психологического состояния, которое предстает в виде «холодного, туманного, влажного, неприятного воздуха» [Melville, 1922: 211][13]. Все перетекает и двоится, река сливается с «потоком тумана» [ibid: 213]. Мелвилл использует при описании воздуха эпитет "squitchy" [ibid: 213] (расплывающийся) — то же слово, при помощи которого в романе «Моби Дик»

[13] Здесь и далее перевод мой. — *А.Д.*

(*Moby-Dick*; *or*, *The Whale*, 1851) описывалась картина в гостинице «Китовый фонтан»: “squitchy picture, truly enough to drive a nervous man distrached” [Melville, 2012: 14]. Практически невозможно понять, что на ней изображено из-за ее текучих очертаний, которые приковывают взгляд («...тянет вас к полотну снова и снова, пока вы наконец не даете себе невольной клятвы выяснить любой ценой, что означает эта диковинная картина» [Мелвилл, 1987: 59]). Среда, через которую смотрит человек на мир, описывается Мелвиллом по аналогии с этой картиной, только человек сталкивается с невозможностью разгадать уже не произведение искусства, а мир вокруг, на который он переносит характеристики своего тела, своей главной, как подразумевается, тюрьмы.

В одном из эпизодов новеллы «Два храма» рассказчик поднимается на колокольню храма, но внутри нее вдруг ощущает себя как в тюрьме, из окна которой тщетно пытается смотреть на мир человек: «С трех сторон три исполинских... окна с ярко окрашенными стеклами заливали голое помещение всевозможными восходами и закатами, лунными и солнечными радугами... Но строго говоря, эта была всего лишь нарядно разукрашенная тюремная камера, ибо выглянуть оттуда мне было бы так же нелегко, как если б я находился в одной из подвальных камер Гробницы» [Мелвилл, 1988: 216]. Чтобы преодолеть преграду, которая мешает выглянуть наружу, рассказчик «не без труда... процарапал дырочку в большой алой звезде, занимавшей середину среднего окна, и, прильнув к ней глазом как к очкам, тут же в испуге отпрянул» [там же]. Снятие пелены с глаз оказывается болезненным, выход вовне даже на уровне зрения становится пугающим опытом.

Среда, охватываемая взглядом, сопротивляется зрению. Отсюда — образы борьбы, противостояния. Мотив насильственного проникновения в неподатливую среду присутствуют во многих новеллах[14]. Его развитие подводит читателя к мысли о жгучем желании некоторых персонажей снять с глаз пелену, которая искажает мир, приводит к галлюцинациям, оптическим обманам.

[14] Толкование этого мотива как имеющего сексуальную коннотацию исключать нельзя. Женщины нередко предстают в новеллах скрытыми за какой-либо тканью, из-за чего вдвойне притягательны для наблюдателя. В новелле «Бенито Серено» рассказчик устремляется к кораблю, похожему на девушку, у которой из-под мантильи видны одни только глаза, и в итоге захватывает корабль. В новелле «Веранда» рассказчика преследуют образы невинных девушек: «сад, весь в белых бутонах, точно невеста перед свадьбой» [Мелвилл, 1988: 8]; «хижина, прикрытая сверху, будто монахиня капюшоном, остроконечной крышей» [там же: 15]. Тем не менее, встретив в горном домике девушку Марианну, рассказчик бежит от нее обратно на свою веранду как в убежище.

Такое прочтение подкрепляется иронично обыгранным мотивом вознесения в новелле «Яблоневый столик». Свет «фильтруется сквозь плотную завесу паутины»; и, «пронизывая маленький люк ... солнце проделывает косой радужный туннель во мраке чердака» [Melville, 1922: 11–12]. Единственное небольшое окно называется “bull's-eye” [Ibid: 12] («бычий глаз», а также «иллюминатор»). Рассказчик пытается распахнуть его, но доступ к замку оказывается затруднен: «Желая лучше осветить это место, я стал искать, как открыть окно люка ... Только после долгого высматривания я обнаружил... замок, помещенный, *как устрица на дне моря*, посреди спутанной массы зарослей паутины... я пытался сорвать замок, когда полчища маленьких полусонных муравьев и мушек стали выползать из замочной скважины... Наконец, резким рывком я распахнул окно. И — ах! — что за перемена! Как будто из мрака могилы и компании червей человек наконец возносится в живительную зелень и триумфальное бессмертие» [ibid: 13]. Максимально затрудненный акт «взлома» глаза сравнивается с восстанием из мертвых к вечной жизни, т.е. с обретением «прямого» взгляда без «тусклого стекла».

В «Моби Дике» подобный образ предвосхищен образом устриц, смотрящих сквозь толщу воды: «Мне думается, что, рассматривая явления духовные, мы уподобляемся устрицам, наблюдающим солнце сквозь толщу воды и полагающим, будто эта мутная вода есть наипрозрачнейший воздух» [Мелвилл, 1987: 85]. В новелле «Яблоневый столик» не человек-устрица смотрит сквозь толщу воды, но человек смотрит на устрицу сверху и пытается ее достать, разрывая мутную пелену, препятствующую ему. Так выражается авторская ирония, направленная на невозможность познания духовных явлений напрямую (при помощи философской или религиозной мысли) и на попытки живых проникнуть в тайны загробной жизни[15].

В новеллах Мелвилла помимо образов стекол, стен, атмосферных явлений непроницаемость мира представлена также различными образами завесы. В самом начале «Бенито Серено» небо казалось плотной серой тканью: “a gray surtout” [«серым сюртуком», Melville, 1856: 110]. Образ плотной материи, с которым связывается однородное серое море-небо из чаек, тумана и свинцовых валов моря (“Flights of troubled gray fowl, kith and kin with flights of troubled gray vapors among which they were mixed, skimmed low and fitfully over the waters” [ibid]) переходит в образ мантильи девушки, на чей глаз похожи солнце и иллюминатор корабля: «Капитан Делано продолжал разглядывать незнакомца, хотя бегущие клочья тумана то и дело затягивали его

[15] Образ яблоневого столика — отсылка к распространенным в то время в Америке спиритическим сеансам.

корпус и сквозь серую пелену... поблескивал огонь в верхнем иллюминаторе, подобный солнцу, которое... выглядывало сквозь ту же кисею низких облаков, как коварная красавица... сверкающая одним глазом сквозь узкую амбразуру в своей темной мантилье» [Мелвилл, 1988: 58]. Однако, сократив дистанцию между чужим кораблем и собой, главный наблюдатель в новелле — капитан американского корабля Делано — и дальше сталкивается с бесконечным умножением «одежд» (ему кажется, что он видит черные капюшоны монахов на борту, затем очертания судна скрывают наросшие водоросли и разорванные куски сетки). Все это готовит кульминацию — снятие брезента с носовой фигуры корабля, который скрывает скелет убитого неграми рабовладельца Аранды.

В данном случае, как нам кажется, уместно говорить о прямом или косвенном влиянии на Мелвилла идей английского романтика Т. Карлайла (философия одежды и образ Ткани Тканей из романа "Sartor Resartus", 1833)[16]. Идея мира как серии бесконечных покровов проявляется и в новеллах Мелвилла. «Когда один слой ложного восприятия отсекается для того, чтобы увидеть под ним обнаженную реальность, эта реальность оказывается лишь еще одним внешним слоем» [Dillingham, 2008: 230]. Осуществляемое в новелле «разоблачение» не приводит к познанию истины, капитан Делано проникает в секрет происходящего на корабле, но не в тайну гибели Бенито Серено, подавляемого взглядом Бабо (негр «только смотрел и смотрел в глаза хозяину» [Мелвилл, 1988: 108]) не только при жизни негра, но и после его смерти: «Тело его испепелили в огне, но долго еще его голова торчала на шесте над городской площадью... и мертвыми глазами глядя через площадь, туда ... откуда через три месяца после окончания суда Бенито Серено на катафалке и впрямь последовал за тем, кто вел его путем скорби» [там же: 137].

Особенности фокусировки взгляда

Если попытаться представить себе мелвилловское пространство в целом, то главными его характеристиками будут такие явления, как блеск, отсвет, цветовые пятна, контраст света и тени, бесконечные преграды — туманы на море и в горах, ширмы и двери с матовыми стеклами, лабиринты комнат. Это не столько реальный мир, сколько метафора человеческого существования, метафора дефектного зрения. Как только наблюдатель приближается к предмету наблюдения, он либо все равно ничего не может разобрать (капитан Делано в

[16] Подробнее см.: *Howard L.* The Influence of Carlyle // Critical Essays on Herman Melville's Moby-Dick / Ed. by B. Higgins, H. Parker. N.Y., 1992. P. 377–80.

«Бенито Серено»), либо пугается увиденного, отшатывается от него (рассказчик «Веранды»).

Если возможность видеть у Мелвилла не предполагает получения истинного знания о видимом, то единственно надежной характеристикой зрения становятся возможности фокусировки как таковой. В новелле «Два храма» образно дается, как нам кажется, максимально полное представление о мелвилловском понимании феномена зрения: «Но чего я вовсе не ожидал, так это что никакое стекло, ни цветное, ни прозрачное, не отделяет меня от расположенных далеко внизу скамей и алтаря... Вместо стекла оказалась сетка, сплетенная из тончайшей полупрозрачной проволоки... Потом я стал смотреть на огромную, вставшую с мест толпу — далеко, далеко внизу, — на головы, что поблескивали в многоцветных пятнах от витражей... Во всяком случае, я знал, что такой вид у них будет, если убрать тонкую проволочную сетку» [там же: 217–218]. Поначалу кажется, что наконец-то нет стекла, привычной преграды взгляда, что возникает четкая картина — скамей и алтаря, но вдруг объясняется, что зрение все равно утыкается в преграду — сетку, и «увиденное» — лишь реконструкция. Рассказчик говорит, что лишь представляет себе, что так бы выглядела картина внизу. Если читатель попробует воспроизвести, на какие расстояния последовательно смотрит рассказчик в этот момент, то это будет похоже на своего рода упражнение, когда с одной и той же позиции нужно сфокусировать взгляд сначала на отдаленном объекте (рассказчик смотрит на толпу внизу), затем на иллюзорной точке между глазами и объектом (замечает отсутствие стекла), затем на точке между этой иллюзорной точкой и глазами (замечает наличие проволочной сетки). В гносеологическом смысле такое упражнение позволяет осознать наличие неустранимой когнитивной дистанции между наблюдателем и объектом. От этой сетки восприятия (в конечном счете, превращающей глаз в «тусклое стекло») человек по своей природе не способен избавиться. Иными словами, зрение вынужденно становится сфокусированным на самом себе.

Таким образом, близорукий взгляд наблюдателей в новеллах Мелвилла заставляет их пристальнее вглядываться в объект, что приводит к обнаружению плотности среды, воспринимавшейся ранее как прозрачная. Взгляд встречает на своем пути огромное количество преград, воплощенных в образах атмосферных явлений, материальных предметов. Образ плотной вязкой субстанции ви́дения, в которую превращается как внешнее пространство, так и внутреннее (психологические и физическое) состояние наблюдателей у Мелвилла, выявляет границу восприятия, обусловленную телесной природой человека. Герои, сталкиваясь с ситуацией, до конца не поддающейся

осмыслению, открывают для себя наличие смысловой зоны, сопротивляющейся интерпретациям, и их взгляд оборачивается на самих себя, а рефлексия сосредотачивается вокруг проблемы их собственного положения в мире, так как между ними и миром постулируется дистанция, которую они не могут преодолеть.

Список литературы

Зенкин С. Теория литературы. М., 2018.
Ильин И.П. Телесность // Западное литературоведение XX века. М., 2004.
Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит // Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1987.
Мелвилл Г. Повести и рассказы // Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. Л., 1988.
Мерло-Понти М. Око и дух. М., 1992.
Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб, 1999.
Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.
Уракова А. Поэтика тела в рассказах Эдгара Алана По. М., 2009.
Dillingham W.B. Melville's Short Fiction, 1853–1856. Athens, 2008.
Melville H. The Apple-Tree Table and Other Sketches. Princeton, 1922.
Melville H. Moby-Dick. L., 2012.
Melville H. The Piazza Tales. N.Y., 1856.

Anna V. Dulina

THE CORPOREAL IN HERMAN MELVILLE'S PROSE (Short Stories of the 1850s)

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The aim of this paper is to show the representation of the corporeal in Herman Melville's short stories. The corporeal refers to a category that describes the processes taking place in a body and a body's interaction with the material environment. These processes are closely intertwined with the process of cognition, of perceiving the world and learning about the world. The psychosomatic aspect of interaction between the bodily and the mental becomes the major principle of the analysis. The present paper is devoted to Melville's phenomenology of eye-sight. Human vision is neither sharp enough, nor penetrating the depth, the essence of space. Hence, the image of the constant obstacle, barrier, the invisible all-pervasive substance prevents a human being from viewing the world properly. The space, according to Melville, can be either impenetrable (like absolute darkness), or soft and mild (like mist or haze), or thick, sticky and jelly-like (like a cobweb). And it can also be dim, like glass. The article analyzes phenomenologically perceived

corporeal experience, as well as characters' kinesthetic sensations. There are four parts in the paper. The first part is a brief review of the theoretical literature, the second is devoted to the idea of the corporeal aspect of visual perception, the third analyzes the image of dark glass as a concept, and in the fourth part the process of focusing is described.

Key words: American literature; Herman Melville; fiction; short stories; The Piazza; Benito Cereno; Bartleby the Scrivener; The Two Temples; Cock-A-Doodle-Doo!; The Apple-Tree Table; corporeality; corporeal; poetics; phenomenology of eye-sight.

About the author: *Anna V. Dulina* — PhD student, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University (e-mail: Doolina-anna@yandex.ru).

References

Zenkin S. *Teoriya literatury* [The Theory of Literature]. Moscow, 2018. 368 p. (In Russ.)

Il'in I.P. Telesnost' [Corporeality]. *Zapadnoye literaturovedeniye XX veka* [Western Literary Criticism of the XXth Century]. Moscow, 2004. 560 p. (In Russ.)

Melville H. Povesti i rasskazy [Short stories]. *Sobraniye sochineniy v trekh tomakh* [Collected Works in Three Volumes]. V. 3. Leningrad, 1988. 480 p. (In Russ.)

Melville H. Moby-Dick, ili Beliy Kit [Moby-Dick, or The Whale]. *Sobraniye sochineniy v trekh tomakh* [Collected Works in Three Volumes]. V. 1. Leningrad, 1987. 640 p. (In Russ.)

Merleau-Ponty M. *Oko i duh* [Eye and Mind]. Moscow, 1992. 63 p. (In Russ.)

Merleau-Ponty M. *Fenomenologiya vospriyatiya* [Phenomenology of Perception]. SPb, 1999. 610 p. (In Russ.)

Podoroga V. *Fenomenologiya tela* [Phenomenology of the Body]. Moscow, 1995. 340 p. (In Russ.)

Urakova A. *Poetika tela v rasskazah Edgara Alana Po* [The Poetics of the Body in Edgar Allan Poe's Short Fiction]. Moscow, 2009. 252 p. (In Russ.)

Dillingham W.B. *Melville's Short Fiction, 1853–1856*. Athens, 2008.

Melville H. *The Apple-Tree Table and Other Sketches*. Princeton, 1922.

Melville H. *Moby-Dick*. L., 2012.

Melville H. *The Piazza Tales*. N.Y., 1856.

К 150-ЛЕТИЮ М. ГОРЬКОГО

Л.А. Колобаева

И. АННЕНСКИЙ О М. ГОРЬКОМ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Показательно, что в рассмотрении пьесы «На дне» И. Анненский избирает крупный масштаб, ставя молодого драматурга в круг великих писателей русской и мировой литературы. В сопоставлении Горького с Достоевским Анненский улавливает глубокий внутренний «нерв» творчества Горького, в его близости к «фантастическому реализму» Достоевского и коренном отличии от него (в центре горьковского мира не Бог, а Человек). Не утрачивают своей актуальности размышления Анненского о природе жанра пьесы, определяемой им как «новая трагедия судьбы». Рассмотрев названный Анненским рассказ «В сочельник», где, по мнению критика, «Горький хорошо показал, что он об этом думает», мы приходим к заключению, что объяснение «новой трагедии судьбы», судьбы «бывших людей», автор «На дне» находил в философии *жизни*, в предвестье формирующихся в его мировосприятии экзистенциальных начал.

Авторская позиция в пьесе «На дне» справедливо расценивается Анненским как раздваивающаяся между Лукой, сеятелем иллюзий и виновником трагических финалов героев, и человекопоклонником Сатиным, в образе которого намечается «антропоцентризм» творчества Горького в целом.

Наконец, заслуживает внимания предложенное понимание природы творческой индивидуальности Горького, соединяющей в себе «чувство красоты и глубокого скептицизма», того бесстрашного скептицизма, который ждет еще своего дальнейшего всестороннего исследования в нашей литературной науке, в особенности, исследования последнего произведения Горького — «Жизни Клима Самгина», авторской позиции в нем.

Ключевые слова: «бывшие люди»; новейшая драма; персонаж; поэтика; творческая индивидуальность.

Критический отклик И. Анненского на творчество М. Горького появился в первой «Книге отражений» поэта (Петербург, 1906), в большой статье, в размышлении о «трех социальных драмах» в

Колобаева Лидия Андреевна — доктор филологических наук, профессор кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: l.a.kolobaeva@gmail.com).

русской литературе: «Горькой судьбине» А. Писемского, «Власти тьмы» Толстого и пьесе «На дне» Горького. В предисловии к «Книге отражений» Анненский, словно предвидя непонимание его книги, долгие годы ее сопровождавшее, так объясняет свой подход к художественному материалу, его отбор: он выбирает близкое себе, то, что его захватило. «Я же писал здесь только о том, что *мной владело*, за чем я *следовал*, чему я *отдавался*, что я хотел сберечь в себе, сделав собою» [Анненский, 1979: 5. Курсив автора. — *Л.К.*][1]. Что же захватывало его в творчестве Горького?

Статья «Драма на дне» была написана в 1905 г. Примечательно, что Горький (к тому времени действительно уже прославленный автор не только «романтических» легенд о «сильных людях», но и романов «Трое» и «Фома Гордеев», рассказов, пьес «Мещане» и, наконец, «На дне», 1902) рассматривается поэтом-критиком в кругу крупнейших явлений русской литературы — Толстой, Достоевский, Островский, Гончаров — и (кратко, пунктирно) в контексте мировой драмы (Софокл, Шекспир). Так задается масштаб художественных измерений.

Важен, разумеется, не только сам масштаб, но и характер сопоставлений. Размышляя о необычной «реалистичности» Горького, о «загадочности и своеобычности тех масок, за которыми мелькает душа поэта», в качестве близких ему предшественников Анненский указывает на Достоевского: «После Достоевского Горький, по-моему, самый резко выраженный русский символист. Его реалистичность совсем не та, что была у Гончарова, Писемского или Островского. Глядя на его картины, вспоминаешь слова автора «Подростка», который говорил когда-то, что в иные минуты самая *будничная обстановка кажется ему сном или иллюзией*» (с. 72)[2].

Мы читаем в статье Анненского: «Шулер, побитый за нечистую игру и одурманенный водкой, страстно, хотя и с надрывом, говорит об истинах, которые волнуют лучшие умы человечества. Старик, которого в жизни только мяли, выносит из своих тисков только незлобивость и свежесть. Двадцатилетняя девушка, которая не видела в жизни ничего, кроме грязи и ужаса, сберегает сердце каким-то лилейно чистым и детски свободным. А Пепел, этот профессиональный вор, дитя острога и в то же время такой нервный, как женщина, стыдливый и даже мечтательный? Это внутреннее несоответствие людей их положению, эта жизнь, мыслимая поэтом как грязный налет на свободной человеческой душе, придает реализму Горького особо фантастический, а с другой стороны, удивительно русский колорит. Недаром в наших старых сказках носителем силы и удали нежданно-

[1] Далее страницы этого издания указываются в круглых скобках.

[2] Курсив везде, кроме специально оговоренных случаев, мой. — *Л.К.*

негаданно является какой-нибудь хроменький Потанюшка, а алмаз царевны отыскивают на осмеянном дураке, где-то на черной печке, завернутым в грязные тряпицы» (с. 72).

Намеченное в статье Анненского сопоставление Горького с Достоевским имело целью нащупать истоки горьковского творчества, его связи с тем особым, глубочайшим художническим восприятием мира у Достоевского, с его «фантастическим реализмом», который способен был уловить подлинные явления реальности сквозь ее таинственные, причудливые, словно привидевшиеся во сне обличья и лики, странные и неожиданные формы. Критик в данном случае, разумеется, был субъективен, в чем Анненского не раз упрекали в печати, пытаясь объяснить происхождение его субъективизма «импрессионистическим» методом критики. Но важно понять другое. Достоевский был особенно, духовно и художнически близок Анненскому, всему его творчеству в целом. Через сопоставление с Достоевским критик искал объяснения того, что захватило его в Горьком, самого важного в нем. Напомню: как автор «Книги отражений» признавался в предисловии, он писал только о том, что им «*владело*». И он верно почувствовал и угадал невидимую, глубинную связь Горького с Достоевским, которая совсем не лежала на поверхности.

Уловленная Анненским внутренняя связь творчества Горького с Достоевским существовала реально, и, думаю, существовала для Горького всегда. Существовала тайно и явно, в споре с ним, например, в романе «Трое», в споре о наказывающей преступника совести, которую отрицает герой Илья Лунев и сам автор, в споре Горького о страдании и сострадании, о смирении и о многом другом. Существовала она прикровенно или вызывающе, временами публично обнажаясь в идеологическом раздражении публициста против «карамазовщины» (статьи Горького «О карамазовщине», «Еще раз о карамазовщине» 1910-х годов), в сопротивлении некоторым важнейшим этическим категориям Достоевского, например, в понимании *страдания*, незадолго до смерти Горького необычайно резко прозвучавшем в его письме к М. Зощенко, где он призывал писателя «*посмеяться* над *страданием*», отнестись к страданию с «брезгливостью» [Горький, 1963: 166]. Эта связь-отталкивание не порывалась до конца жизни Горького, воплотившись — в положительном своем преломлении — в поэтике последнего его романа, «Жизни Клима Самгина», в комплексе приемов, идущих от Достоевского (система персонажей-двойников, структура диалога и др.).

Анненский-критик так заключал свое сопоставление драмы «На дне» с творчеством Достоевского: «...Горький уже не Достоевский, для которого алмаз был Бог, а человек мог быть случайным скудель-

ным сосудом Божества; у Горького, по крайней мере для вида, — все для человека, там и царевнин алмаз. И если для Достоевского девизом было — смирись и дай говорить Богу, то для Горького он звучит гордым: борись, и ты одолеешь мертвую стихию, если умеешь желать» (с.72). Действительно, если у Достоевского вершина и центр его художнической вселенной — Бог, то у Горького — человек. И за этим стоит, разумеется, само движение времени, смена исторических эпох.

Нельзя не заметить: Анненский очень остро чувствует голоса и обертоны своего времени, эпохи перевала веков, начала XX столетия, и, наблюдая за автором драмы «На дне», прежде всего встревожен будущим, задается вопросом — «Что же дальше?», «Что — в будущем?» Неслучайно критик подчеркивает мотив «*ожидания*», особенно остро и драматично звучащий в душе юной Наташи. Анненский выделяет ее, как и Пепла, человека «сложной натуры», в представленном в пьесе «аду существования»:

«Наташа — это гордая и стыдливая девственность, которую даже ругань и побои пугают менее, чем дыханье непонятной и оскорбительной для нее страсти. Молодая душа Наташи вся — *ожидание... вся — вопрос... вся будущее* <...>.

Наташа. Так вот, думаю, завтра ... приедет кто-то, кто-нибудь... особенный ... Или случится что-нибудь ... тоже небывалое... Подолгу жду... всегда жду... А так ... на самом деле... чего можно ждать?

Если бы Горький на фоне своего “Дна”, — продолжает Анненский, — выделил *одну только эту* <курсив автора. — *Л.К.*>, пастельно написанную Наташу, то и тогда он остался бы среди “пророков во Израиле”. Трудно для современной русской души выдумать символ более трепетный и более жуткий, чем Наташа, сестра Василисы Костылевой. Совершенно как она, и мы все с какой-то трагической наивностью все ждем. <...> И, как она, в то же время отлично знаем, что ничего у нас в будущем нет» (с. 78).

Новизну поэтики драмы Горького, ее сценической структуры критик видит в отсутствии главного героя, в отказе от интриги и от единого центра, вместо которого появляется множество центров, связанных с многообразием и сменой выходящих на авансцену персонажей. Подобные суждения Анненского, впоследствии подкрепленные обоснованиями критиков и исследователей творчества Горького, вошли в наше литературоведение, став его основными положениями, если не общими его местами.

Существо горьковской драмы Анненский видел в «настоятельности проблемы», в *мысли*, *в красоте мысли*. Автор «На дне», — по словам критика, — ведет нас к размышлению о том, как и почему жизнь человека здесь, на земле может превратиться в «ад существо-

вания», стать «бывшей», стать судьбой «бывшего человека». Ответ кроется, утверждает Анненский, не только в социальных связях и отношениях, но уходит в глубину времен, явившись еще в искусстве античности, в «трагедиях *судьбы*».

Анненский пишет: «Самое *Дно* Горького, как элемент трагедии, не представляет никакой новости. Это старинная *судьба* <...>, которая когда-то вырвала глаза Эдипу и задушила Дездемону, — только теперь она оказывается довольно начитанной художницей du nouveau genre, и на ее палитре мелькают не виданные дотоле краски вырождения, порочной наследственности и железных законов рынка» (с. 74.) (Курсив автора). Пьеса Горького, по убеждению критика, стала «*новой трагедией судьбы*» (с. 76). Говоря о таинственной «силе судьбы», о «мистическом характере судьбы, которая делает людей бывшими» (там же), превращая их жизнь в абсурд, Анненский начинал, по существу, тот серьезный, прерванный у нас разговор — о *метафизическом начале в творчестве* Горького, — который может стать актуальным в наши дни.

Как устанавливает поэт-критик, утверждающий *художественную цельность* пьесы, начало и финал этой новой трагедии судьбы естественны и удивительны одновременно. «Конец в пьесе тоже удивительный. Если хотите, это *примирение души бывшего человека с судьбой*. Судьба берет, конечно, свое: *мстя бывшему человеку за бунт*, она приобщает к своим жертвам три новеньких: во-первых, Клеща, который с этого дня не будет уже говорить о честном труде и откажется от своей спеси, привыкая к чарочке и жуликам; во-вторых, Татарина, который сегодня должен получить из когтей этой судьбы пламенное крещение в алкоголе, чтобы мало-помалу забыть и Коран, и далекую татарку, «которая закон помнит». Третья жертва — комическая, это развенчанный властитель — Медведев, который сменил сегодня свисток будочника на женину кофту, становясь таким образом тоже бывшим человеком» (с. 76).

В связи с мотивом *судьбы* в драме «На дне» Анненский указывает еще на одно горьковское произведение, с близким звучанием той же темы и где, по словам критика, «Горький хорошо показал, что он об этом *думает*» (с. 76). Это один из его рассказов о «бывших людях» — рассказ «В сочельник» (1899). Здесь перед нами — «историйка», рассказанная в кабачке «субъектом, невероятно изодранным и истертым» [Горький, 1950, т. 3: 514], о случайной встрече его с человеком из «порядочных», потянувшимся вдруг к таким, как он, «нищим» и «жуликам». Накануне Рождества незнакомый человек на улице остановил их с другом Яшкой отчаянной мольбой: «И я с вами!.. *Некуда* мне» (там же: 517). О себе он неожиданно сообщает: «Я есть человек, *бегущий праздника!* Податной инспектор Гончаров,

Николай Дмитрич». У него благополучный дом, жена, дети. «Там цветы, картины, книги...» Но в праздник ему «всегда душно... Завтра праздник... А я не могу быть дома...» (там же: 517–518).

«Это ужасно *противно жить на порядочную ногу!* Все расставлено и развешано раз навсегда, и все так приросло к месту, что даже землетрясение неспособно сдвинуть всех этих стульев, картин, этажерок. Они пустили корни и в пол и в душу моей жены. Они, деревянные и бездушные, вросли в нашу жизнь. От привычки ко всей этой деревянной дряни — сам *деревенеешь*...» (там же: 519). И герой этого «*рождественского*» (в ироническом смысле) рассказа озвучивает, в итоге, поразительный девиз: «Надо перестать *жить порядочной жизнью*» (там же: 520). Такой формулы в ее категорическом — отнюдь не чеховском — заострении и прямоте русская литература до Горького, пожалуй, не знала.

И смысл этой формулы в речи героя, инспектора Гончарова, дальше как-то приоткрывается. В дом к нему приходят «*достаточные люди...*». «Мне с ними невыразимо скучно, я *задыхаюсь* от запаха их речей... Я уже *все знаю*, что могут они сказать, я знаю, что они *ничего не могут сделать* для того, чтобы *стать живее...*» (там же: 519).

«Стать *живее...*» Слово об истоке мучительных переживаний, внутренней драмы героя здесь сказано: это *жизнь*, которая недостаточно *жива*, не вполне *жизнь*, и неизвестно, как ее сделать *живее*. К размышлению о явлениях такого рода, как известно, была устремлена почти вся философия XX в. — начиная с ницшеанской философии, философии жизни, в движении к экзистенциализму, к раздумьям русских символистов о жизнетворчестве, наконец, к поиску «витализма» в литературе сегодня, о чем пишут некоторые современные наши исследователи. Знаменательно, что творческие идеи Горького уже в начале века развивались в этом направлении. И это улавливалось И. Анненским, чутким к новейшим философским веяниям своего времени.

Подчеркнем: Горький видел причины появления «бывших людей» не только в социальных и материальных основаниях, в бедности, бесправии людей из низших этажей общества, в деклассированности людей из «народа». Рассказ «В сочельник» — о том, что возможно бегство человека от «благополучия», от «порядочной жизни».

Вместе с тем Анненский осуществляет и весьма точный социальный анализ драмы «На дне». Недаром «Драма на дне» вместе с разбором «Власти тьмы» Толстого и «Горькой судьбины» Писемского в «Книге отражений» входит в цикл статей под названием «Три социальные драмы». Автор находит в пьесе верное художественное преломление основных общественных сил в расстановке главных фигур-«эмблем»: «Вот семья — ее эмблема, конечно, Василиса

Костылева... Вот религия — это лампада ее мужа и средства для ее наполнения... и наконец, вот правительство... бунтарь Медведев в его буколических отношениях к обывателям...» (с. 79).

Кроме того, в интерпретации Анненского оригинальное осмысление получает мотив *труда* в пьесе Горького. Это размышление о непривычном, скептическом изображении «благословенного» труда — начала, «красиво *идеализированного нашим* сознанием», по убеждению Анненского. По его словам, «*работник* Клещ — самый *злой* человек во всей ночлежке». Критик подчеркивает: «Клещ чванится своей честностью. Тунеядцев он презирает, а когда пришлось совсем плохо, с надрывом кричит о том, что никакой-де правды нет, потому что с мозолями на руках он, честный, помирает с голоду, а жулики пьяны!» (с. 79).

«Работа не задалась и честному Татарину: ему о благословенный труд раздробило руку, и на наших глазах он идет ко дну» (там же).

Но самое значительное суждение Анненского о «благословенном труде», «основе буржуазного благополучия», связано с Бубновым. «Бубнов — *бывший* работник и предприниматель. Когда-то он был скорняком, и руки у него не отмывались от желтой краски, в которую надо было макать собачьи шкуры. Среди этого благословенного труда, накопления и крашеных куниц Бубнов чуть-чуть не стал убийцей. Но он вовремя спохватился и бросил сколоченное трудом счастье, и жену, и желтых собак; теперь это циник, мелкий шулер, минутами какой-то вдохновенный, почти экстатический пьяница, но он уже никого не убьет и никогда ничего не скопит, потому что он навсегда отказался от обстановочки, накоплений и семейных прав, оставив их своему сопернику вместе с женой и краской «под куницу» (с. 9). В этом наблюдении критик уловил ту опасную внутреннюю логику *труда*, *работы*, *дела*, которая горячо волновала Горького и не раз становилась ядром драматических сюжетов многих его произведений (от романа «Фома Гордеев» до «Дела Артамоновых»; последнего, правда, не мог знать Анненский, скончавшийся раньше, в 1909 г.). *Дело*, *работа*, *труд*, увлекая, грозит захватить человека *азартом «накопления»*, лихорадкой *накопительства* — значит, возможными срывами и преступлениями.

Так труд, который позднее, в послереволюционную эпоху освещался Горьким сквозь его утопические надежды как главный воспитатель нового человека, почти как панацея освобождения от пороков прошлого, в 1902, в драме «На дне», виделся намного сложнее и объективнее.

В композиционной структуре драмы, подчеркивая ее художественную целостность, Анненский выделял три составных «элемента»: «1) сила судьбы, 2) душа бывшего человека и 3) человек иного

порядка, который своим появлением вызывает болезненное для бывших людей столкновение двух первых стихий и сильную реакцию со стороны судьбы» (с. 75).

«Человек иного порядка» — это, разумеется, появляющийся в ночлежке странник Лука, взбудораживший ночлежников внушенными им надеждами на спасение, изменение жизни, возможный выход из ночлежки, с мечтами о праведной земле. Надо признать, что интерпретация образа Луки, предложенная критиком, не бесспорна и вызывает некоторые вопросы. Споры о сущности образа Луки, как известно, завяжутся вскоре после театральных постановок пьесы, и — надолго. По мнению Анненского, Лука — «бегун», «*привык* врать, да без этого в его деле и нельзя» (с. 81). В оценке Луки, в объяснении его поведения критик не склонен всерьез учитывать мотивы добра — «жалости» и сострадания в отношении к людям как побудителей его утешительной лжи, «утешительства». «Лука утешает и врет, но он нисколько не филантроп и не моралист» (там же), — пишет Анненский.

Тем самым он не останавливается на проблеме «истины или сострадания», которую позднее выделял сам Горький в трактовке пьесы и которая по существу во многом определяла двойственность фигуры Луки (отчасти и самой пьесы), — *лукавство* добра, замешанного на жалости и лжи. В понимании критика старик Лука в первую очередь — «*скептик и созерцатель*» (с. 81). *Созерцательность*, скорее всего, здесь понималась критиком как некое философическое и художническое начало в сознании Луки, склонность его к игре воображения. Думаю, далеко не случайно, что данная Анненским характеристика самой *индивидуальности Горького* (о чем подробнее — позже) — это «комбинация чувства *красоты* с глубоким *скептицизмом*» (с. 77) — удивительно перекликается, почти совпадает с характеристикой Луки: «скептик и созерцатель». В другой же статье («Горькая судьбина», написанной в то же время, в 1905 г., и входившей в ряд «Трех социальных драм» «Книги отражений»), Лука представлен как непосредственный выразитель авторской позиции: «Создатель новейшей нашей драмы Максим Горький дал нам тоже что-то вроде положительного типа в лице бегуна — Луки. Этот Лука в драме “На дне” *заменяет самого драматурга*, он точно живописец с ящиком красок на голове у Брюллова в его “Последнем дне Помпеи”» (с. 57).

Роль Луки в «драме на дне» оценивается критиком, понятно, неоднозначно. Эта роль трагически разрушительная: «Кроме горя и жертвы <...> Лука ничего за собой не оставил...» (с. 81). Но и роль необходимо-побудительная, роль возмутителя спокойствия: «дно все-таки лучше по временам *баламутить*», как и жизнь вообще, по

словам Анненского. Он пишет: «...Чем бы, скажите, и была наша жизнь, жизнь самых мирных филистеров, если бы время от времени разные Луки не врали нам про праведную землю и не будоражили нас вопросами, пускай самыми безнадежными» (там же).

Голос автора, впрямую озвученный в монологах Сатина о человеке, — «слушаю я *Горького-Сатина*...» (с. 81) — вызывает у критика весьма проницательную реакцию: «...Да, все это, и в самом деле, великолепно звучит. Идея одного человека, вместившего в себя всех, человека-бога (не фетиша ли?), очень красива. Но отчего же, скажите, сейчас из этих самых волн перегара, из клеток надорванных грудей полетит и взовьется куда-то выше, на сверхчеловеческий простор дикая острожная песня? Ох, гляди, Сатин-Горький, не *страшно ли* уж будет человеку-то, а главное, не безмерно ли скучно ему будет сознавать, что он — все, и что все для него и только для него?..» (с. 81).

По существу, Анненский выражает здесь сомнение в абсолютной правильности идеи *антропоцентризма*, которую Горький стремится утвердить и с годами настойчиво утверждает в качестве своего основополагающего философского кредо. «...Я — антропоцентрист», — сообщал М. Горький много лет спустя, в письме к М. Пришвину от 12 февраля 1927 г. [Горький, 1963: 342]. Не страшно ли станет Гордому человеку одному во Вселенной, без чего-то *высшего*, абсолютного, без Бога, — об этом по сути спрашивает Анненский, сам мучительно переживавший «потерю бога». На рубеже веков, в начале 1900-х годов Анненский, как и Горький, по-своему был захвачен переоценкой ценностей: «...Я потерял бога и беспокойно, почти безнадежно ищу оправдания для того, что мне кажется справедливым и прекрасным», — признавался он в письме к А.В. Бородиной от 15 июня 1904 года (с. 457). Поэт проявлял живой интерес к идеям Ницше, полемизировал и в чем-то перекликался с ним в своем творчестве. Все это, надо думать, сближало поэта с «ницшеанцем» Горьким.

В целом Горький в критике Анненского оценивался как смелый «создатель нашей новейшей драмы» (с. 57), до «простой смелости» которого не подняться «никаким Андреевым с их “безднами” и “стенами”» (с. 77).

Критика Горького, принадлежащая Анненскому, для нас значительна и интересна не только оригинальным анализом конкретного произведения, пьесы «На дне», но и его раздумьями о творческой индивидуальности писателя вообще. Анненский так характеризует ее: «Индивидуальность Горького представляет интереснейшую комбинацию *чувства красоты с глубоким скептицизмом*» (с. 77). Чувство красоты, поклонение красоте действительно необычайно ярко вы-

ражено в творчестве Горького, особенно той поры, 1890-х — начала 1900-х годов, которая входила в обзор критика. Фигуры «сильных людей», героев его романтических легенд и «сказок», пленяют автора и нас, читателей, красотой безграничного стремления к свободе, красотой тела и духа, безудержностью и интенсивностью человеческих страстей. Например, в эпизоде убийства Радды Зобаром (рассказ «Макар Чудра», 1892) мы, читатели, — по воле автора, разумеется, — почти не замечаем *ужаса* случившегося, убийства героем любимой женщины. Не замечаем потому, что захвачены *красотой* безудержного свободолюбия героя, который разрывает желанный, но и неизбежный *плен*, *плен любви*. В таком случае *этическая* оценка стушевывается, снимается в пользу *эстетической*, и это неожиданно сближает Горького с кругом *эстетов*-символистов, поэзия которых в 1890-е годы являлась под знаком возобладавшего тогда в их поэзии «панэстетизма», оценок по ту сторону добра и зла.

Другая важнейшая черта индивидуальности Горького в понимании критика — *скептицизм*, качество, свойственное самому Анненскому, поэту трагической иронии и незатухающих сомнений, служившее для него признаком глубины художника в постижении мира. По словам критика, «скептицизм у Горького тоже особенный», «скептицизм бодрый» и бесстрашный, для которого нет «решительно ничего заветного и святого» (с. 77). Анненский считает заблуждением критиков их восприятие героев Горького — Гордеева из романа «Фома Гордеев» и Нила из пьесы «Мещане» — вне авторской *иронии*. Над всем этим, на мой взгляд, стоит задуматься.

Останавливает также наше внимание, хотя и смущает, неожиданное заключение, что «Горький, кажется, никогда *не любит...*» (с. 77), — мысль, которая впоследствии всплывала иногда в нашем литературоведении, так и не получив определенного ответа.

Заслуживает внимания, наконец, главный, позитивный и решительный вывод Анненского: «Горький *на все смотрит открытыми глазами*. Конечно, как знать, что *будет дальше*?» (с. 77). Вот этот последний вопрос выдает в критике того самого скептика, который смотрит далеко вперед и не может уйти от вопросов и сомнений. Поддержим некоторые из последних.

«Что дальше?» Дальше для Горького, как известно, было не только непростое творческое развитие, с продолжением громкой, мировой славы, но вместе с тем и с «несвоевременными мыслями», сомнениями после 1917 г., спорами с властью большевиков (спор Горького с Лениным), а затем и компромиссом с ней, с тоталитарной сталинской властью.

Остается также и вопрос о скептицизме Горького. Где, в каких его произведениях полнее и ярче всего художественно реализовался

скептицизм, ироничная интонация в стиле писателя? Думаю, можно ответить на это с определенностью — в последнем его романе «Жизнь Клима Самгина». Здесь в образе Самгина, отнюдь не «положительного героя» Горького, просвеченного насквозь его иронией, вместе с тем выразилось весьма скептическое отношение русского интеллигента к событиям семнадцатого года, к революции, включавшее в себя и сложное, мучительно вопрошающее отношение к ней самого художника.

Список литературы

Анненский И.Ф. Книги отражений. М., 1979.
Горький М. В сочельник // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 3. М., 1950. С. 514 –521.
Горький М. На дне // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 6. М., 1950. С. 103–175.
Горький М. Письмо к М. Зощенко от 25 марта 1937 г. // Литературное наследство. Т. 70: Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963.
Горький М. Письмо к М. Пришвину от 12 февраля 1927 г. // Литературное наследство. Т. 70: М. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963.

Lidiya A. Kolobaeva

I. ANNENSKY ON M. GORKY

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

It is emblematic that when considering the play "The Lower Depths" the critic I.Annensky selects a large scale, placing the young playwright within the circle of great writers of the Russian and world literature. When contrasting Gorky and Dostoyevsky, Annensky discerns a deep-rooted, deep-seated 'vein' of Gorky's creative work, in his closeness to Dostoyevsky's 'fantastic realism' and the radical difference from it (it is not God that is in the centre of Gorky's world, but Man). Further, no less currently relevant are Annensky's reflections on the nature of the genre to which the play belongs, which he defined as 'the fate's new tragedy'. Having looked at the story 'On the Eve of Theophany' mentioned by Annensky in which, according to the critic, "Gorky showed well what he thought of it", we come to the conclusion that it was in the philosophy of life, in the foreshadowing of existential elements shaping themselves in his worldview that the author of "The Lower Depths" found explanations for 'the fate's new tragedy', for the fate of the

déclassé 'have-beens'. The author's position in the play "The Lower Depths" is justly evaluated by Annensky as being split between Luka, the peddler of illusions who's responsible for the characters' tragic denouements, and Man-worshipper Satin, in whose character, we tend to think, the anthropocentric tendencies of Gorky's creative work as a whole can be envisaged. And finally, what deserves attention is the critic's suggested understanding of the nature of Gorky's creative individuality combining in itself 'the sense of beauty and profound skepticism', the kind of fearless skepticism which is still awaiting its further comprehensive study by our literary scholarship, in particular, a study of Gorky's last work — "Life of Klim Samgin" and the author's position in it.

Key words: M. Gorky; I. Annensky; "have-beens"; "The Lower Depths"; the new drama; character; poetics; creative personality.

About the author: *Lydia A. Kolobaeva* – Doctor of Philology, Professor of the Department of Contemporary Russian Literature and Modern Literary Process, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University (e-mail: l.a.kolobaeva@gmail.com).

References

Annenskij I.F. *Knigi otrazhenij*. M., 1979.

Gor'kij M. *V sochel'nik*. Gor'kij M. Sobr. soch.: V 30 tt. T. 3. M., 1950. S. 514–521.

Gor'kij M. *Na dne*. Gor'kij M. Sobr. soch.: V 30 tt. T. 6. M., 1950. S. 103–175.

Gor'kij M. *Pis'mo k M.Zoshhenko ot 25 marta 1937 g*. Literaturnoe nasledstvo. T. 70: Gor'kij i sovetskie pisateli. Neizdannaja perepiska. M., 1963.

Gor'kij M. *Pis'mo k M. Prishvinu ot 12 fevralja 1927 g*. Literaturnoe nasledstvo. T. 70: M. Gor'kij i sovetskie pisateli. Neizdannaja perepiska. M., 1963.

М.В. Михайлова

СИМВОЛИЧЕСКИЙ КОД ДРАМАТУРГИИ М. ГОРЬКОГО (пьеса «Фальшивая монета»)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

В статье прослеживается история создания пьесы «Фальшивая монета», над которой М. Горький работал с перерывами более 13 лет. Задуманная и написанная в 1910-е годы, она оказалась тесно связанной с драматургическими исканиями автора, который в это время разрабатывал принципы новой мелодрамы, что самым непосредственным образом отозвалось в первой редакции пьесы. Однако во многом вынужденное возвращение к работе над пьесой спустя 10 лет привело к неожиданным результатам: усилилось символическое звучание произведения, оказался «утраченным» традиционный психологизм, образы начали двоиться, появилась многозначность и недоговоренность, что привело к непониманию пьесы советскими театрами, а затем и отказам от ее постановки и неприятию ее символичности критиками (А.В. Луначарский). Автор статьи отмечает однозначную и преимущественно социологическую трактовку этого произведения в современной критической литературе, что совершенно недостаточно для выявления его оригинальности и самобытности. В связи с этим предлагается обнаружить точки соприкосновения приемов типизации с абстрактной трактовкой характеров, встречавшейся уже в раннем творчестве писателя и диктовавшейся его стремлением к выявлению их метафизической сущности (как вариант: ... встречающейся уже в раннем творчестве Горького и ...). Основная проблематика творчества художника — соотношение правды и лжи, их подчас неразличимость или зыбкость границ между ними — оказалась остро осознаваемой Горьким именно в 1920-е годы, когда возникло желание автора усилить символическую неопределенность сюжета и характеров «Фальшивой монеты». В результате в центре пьесы оказался образ всемогущего Дьявола и его разнообразные воплощения.

Ключевые слова: М. Горький; «Фальшивая монета»; И.Ф. Анненский; ложь; правда; Дьявол; метафизика; критика; социологическая трактовка; символика; история создания; драматургические поиски; «Мой спутник»; Л. Андреев.

Михайлова Мария Викторовна — доктор филологических наук, профессор кафедры истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАЕН (e-mail: mary1701@mail.ru).

Над пьесой «Фальшивая монета» М. Горький работал невероятно долго, более 10 лет. Задумав пьесу в 1913 г., он вернулся к ней в начале 1920-х и завершил в 1926 г. Идея пьесы, видимо, настолько владела писателем, что он постоянно возвращался к первоначальным заметкам. В итоге имеются четыре редакции произведения, 150 страниц большого формата, около 60 малого, 30 страниц машинописи с авторской правкой и множество небольших отрывков. Все это свидетельствует о том, что работа шла медленно и трудно. История создания пьесы «Фальшивая монета» подробно изложена в статье Б.А. Бялика и В.С. Нечаевой [Бялик, Нечаева, 1965: 53–118]. Эта пьеса относится к наиболее загадочным, нерасшифрованным пьесам Горького, практически не имеет сценической истории, очень скуден и ее филологический анализ. Важно, что она начала создаваться, когда Горький приветствовал «пробу нового пути, который, может быть, вольет горячую жизнь в театр и драматургию» [У Горького, 1914], когда его сознанием овладела мысль о необходимости появления мелодрамы нового типа, сконцентрированной вокруг «“больших чувств”, на которых строили свои драмы знатоки человеческой души <...>» [Архив А.М. Горького, 1951: 221], а переделывалась и завершалась, когда он совершенно перестал использовать слово «мелодрама» при определении новых путей театра и драматургии.

Но прежде чем перейти к ее разбору, сделаем экскурс в тот пласт произведений, что ей предшествовали и где налицо приглушение индивидуальных черт персонажей и основательное расширение обобщенно-символического смысла образов. Напомним, что критика 1890-х годов встала в тупик, соприкоснувшись с системой горьковских образов в его рассказах о босяках. Наиболее последователен в неприятии предложенных писателем принципов типизации был Н.К. Михайловский, который считал нарисованные фигуры фантастичными, нереальными (негативизм критика обычно связывают с его неготовностью принять новое в литературе XX в.). Неожиданно его поддержал В.В. Воровский, согласно мнению которого Горький в образах босяков отразил именно героическое настроение эпохи, пробуждение личностного потенциала человека, т.е. что-то неуловимо-аморфное, туманное, то, что носится в воздухе и определяет общественную атмосферу в целом. В качестве примера такого предельного обобщения явления укажем на нечасто привлекаемый к анализу рассказ «Мой спутник», где герой явно задуман не как типический характер (грузинские черты в характере князя Шакро Птадзе не являются определяющими для его облика). Чехову рассказ понравился тем, что в нем есть «и воздух, и дальний план, одним словом, всё» [М. Горький и А. Чехов, 1951: 66], т.е.

опять-таки что-то, что *больше*, чем конкретная история. Определение «странная повесть» [Иван Странник, 1903: 38], данное Иваном Странником (А.М. Аничковой), на разные лады варьировалось и в других отзывах. Многие догадывались, что ключ содержится в названии, отсылающем к словам рассказчика: «Это мой спутник <...>. Я могу бросить его здесь, но не могу уйти от него, ибо имя ему — легион <...>. Это спутник всей моей жизни <...> он до гроба проводит меня <...>» [Горький, 1968: 133]. Но все же даже в них не раскрывалась центральная идея образа как концентрированного зла, дьявольского начала, которое порабощает душу человека, без особых усилий способно полностью овладеть им. Иными словами, Шакро — это Дьявол, пользующийся человеческой податливостью и слабостью, несущий ложь и обман. Так, в самом начале творческого пути писателя обозначилась едва ли не главная проблема его творчества: фальшь, разъедающая людские души, и та тонкая грань, что отделяет ее от правды. Ведь недаром одной из завершающих рассказ фраз была такая: «<...> я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и веселым смехом» [Горький, 1968: 152]. На нее, кстати, критики не обратили должного внимания, в то время как слова встреченного героями чабана, с которыми солидаризируется Горький, дружно цитировали как доказательство великодушия человека, дарующего другому свободу.

В плане символического прочтения горьковских произведений хочется выделить И.Ф. Анненского, определенно заявившего, что «после Достоевского» этот писатель «самый резко выраженный русский символист. <...>. Глядя на его картины, вспоминаешь слова автора “Подростка”, который говорил когда-то, что в иные минуты самая будничная обстановка кажется ему сном или иллюзией». Иными словами, критик, сказав, что есть нечто, что «придает реализму Горького особо фантастический <...> колорит» [Анненский, 1979: 72], имел в виду, конечно, «фантастический реализм» Достоевского. Анненский, анализируя пьесу «На дне», постоянно заявляет, что Горького менее всего интересует «реальное изображение нищеты, падения и надрыва», что, «читая его, думаешь не о действительности и прошлом, а об этике и будущем», т.е. вырываешься за пределы художественного пространства произведения, а «за появлением каждого из <...> лиц вырастает нечто новое, что выше и значительнее их» [Анненский, 1979: 73].

О реалистической символике в «Фальшивой монете» писала Н.Н. Комлик [Комлик, 1988: 3–23], которая выделила главный символ пьесы, акцентированный в ее заглавии, — фальшь, верно уловила в ней «бесовские ноты», усиленные отсылками к лермонтовскому

Демону и гетевскому Мефистофелю и к почти постоянному упоминанию слова «чёрт» по отношению к разным героям, попыталась расширить контекст пьесы за счет апелляции к горьковским произведениям, рисующим образ часовщиков и движение времени, нашла любопытные переклички с эпопеей о Самгине, провела аналогию с «Фальшивым купоном» Л.Н. Толстого. Но все эти интересные находки практически аннулируются в результате интерпретации идейного смысла драмы как разоблачения фальшивой морали буржуазного общества, как указания на грядущую гибель «буржуазной цивилизации» [Комлик, 1988: 18]. Не менее странной выглядит и прочтение пьесы в одной из самых последних работ, посвященных ей. М.А. Семашкина убеждена, что перед нами «запустение старого дворянского дома», «разрушающийся дворянский дом» [Семашкина, 2017: 112], хотя создается впечатление, что Кемской здесь такой же жилец, как и все остальные, а в целом это случайное скопище людей в доме без хозяина, некий проходной двор... Она твердо заявляет, что в пьесе два положительных образа — Полина и Наташа (двойственность Полины, не способной справиться с обуревающими ее страстями, очевидна, на вычурность поведения и страсть к пересмешничанью Наташи укажем здесь) и что в результате переделок персонажи пьесы получили «усложненную характеристику», а их поступки стали «недостаточно мотивированы». Она также считает, что гибель Полины под колесами «поезда психологически неубедительна», как, впрочем, «психологически неубедителен» [Семашкина, 2017: 105, 111] и финал. Иначе говоря, предъявляя пьесе претензии психологического свойства, она остается неудовлетворенной ее исполнением.

В итоге получается, по мысли автора статьи 1988 г., десять лет труда Горький потратил на то, чтобы в 1926 г. обнажить душевную гнилость «представителей <...> буржуазной России» [Комлик, 1988: 9]. И конечно, при таком раскладе оказываются бесполезными все усилия по доказательству «философского звучания» пьесы. А раскрытие ее «подлинно горьковского содержания» [там же: 5] сводится к торжеству «очистительного огня революции, который уничтожит “вековую ложь”» [там же: 18]. А по мысли автора статьи 2017 г., что Горький — неумелый психолог, хотя дело в данном случае не в психологии. Ведь если это так, то становится понятно изумление Луначарского, принявшего появившуюся в 1926 г. пьесу за тогда же созданную и поэтому после прочтения ее в рукописи вынесшего ей суровый вердикт: «Если не понимать эту пьесу символически, тогда она лишена абсолютно всякой ценности <...>. Но если понимать пьесу как широко символическую, то и тогда вряд ли пьеса

может кого-либо удовлетворить <...>». Больше всего Луначарского возмутила затея автора создать пьесу, «характеризующую “жизнь вообще”». И понятно, что ей он хотел противопоставить конкретно-исторический прогноз, который в духе времени виделся ему таким: «<...> огромный, свежий, светлый, зовущий к простору прорыв в самую настоящую правду», коей и является «революция с ее идеями, ее лозунгами, ее строительством» [Луначарский, 1926].

И надо признать, что Луначарский в этой разносной статье ближе других подошел к осмыслению философского замысла Горького, естественно, категорически не приняв его. Вот что он писал: «Ложь — это главное действующее лицо пьесы <...>. Сумасшедший <...> представляет собою <...> символ, долженствующий выразить идею писателя, а именно то, что правда пропала, а может быть, ее и вовсе нет. Никто ее не отыщет, и весь мир живет в тенетах сплошной лжи» [там же]. И действительно, как можно понять иначе диалог между Стоговым и Наташей после того, как она не сумела найти настоящую монету среди фальшивых: «<...> Иногда думаешь, что настоящих — вовсе нет. То есть фальшивых нет. Но — эта признана фальшивой» [Горький, 1972: 276]. Иными словами, наличие правды и лжи — это всего лишь условность, некий договор, существующий между людьми, заключаемый на определенный срок. И подтверждает Стогов свое наблюдение словами: «С людьми так же: настоящего человека отличить от фальшивых можно, только поставив на него свой знак. Но это портит его» [Горький, 1972: 276–277). Последнее замечание означает, что сохранить правду не удается никому... Правдолюбец может возгордиться, впасть в ложный пафос, испортиться, одним словом. Не случайно Горький считал эти слова главными в пьесе, выражающими ее смысл [Горький, 1972: 536]. О том, что сутью пьесы должно было стать некое явление, которое Горьким обозначено как Чёрт, свидетельствует его признание 1924 г.: «Сочиняю пьесу, у которой главное действующее лицо — Чёрт, он фабрикует фальшивую монету» [Горький, 2012: 31]. (При этом, надо заметить, переход фальшивой монеты из рук в руки ничего не добавляет к характеристикам героев, в душе которых уже созрела готовность к преступлению, для них грань между добром и злом размыта.) И даже когда драматург отказал переводчику в просьбе написать «Пролог», он не мог не признать, что ему пьеса «кажется <...> *уже не очень символической*» [АГ. ХПГ.–47–6–5]. Иными словами, «доля» символизма в ней, даже по мнению самого автора, присутствует.

Но похоже, что после публичного «раздраконивания» (выражение Горького) [Горький, 1972: 538) пьесы Луначарским писатель начал опасаться именно такого, «расширительного» прочтения пьесы. Во

всяком случае, он стал подчеркивать, что пьеса была «написана в 913 г.» [Горький, 1972: 538], что он ничего не будет иметь против, если ее снимут «с репертуара» [Горький, 1972: 539], отсоветовал А.К. Воронскому ее «печатать». Но еще более показательны слова Горького, обращенные к немецкому переводчику пьесы, где он резко высказался против «символического значения пьесы»: она мне «кажется ясной и уже (?! — *М.М.*) не очень символической» [Горький, 1972: 535]. И предложил пояснение едва ли не каждого образа. Тут надо заметить, что обычно все разъяснения Горьким своих пьес страдают огрублением и упрощением (вспомним, что в итоге он «расшифровал» своего Луку как человека, врущего для того, чтобы его оставили в покое). То же произошло и здесь. Сложным, противоречивым, двоящимся, не поддающимся однозначной трактовке характерам он дает однозначные характеристики. Стогов, агент полиции, оказывается у него порядочным (?) человеком с темным прошлым, потерявшим смысл жизни; Лузгин — всего-навсего душевнобольным. И это он говорит о героях, в которых наиболее заметно «бесовское» начало. Ведь Стогов появляется в пьесе как бес-искуситель из прошлой жизни Полины, которую он соблазнил. Он вновь пробуждает в ней чувственность, горячие желания, с которыми она усердно боролась прежде, манит ее несбывшимися мечтами, а потом переключает свое внимание на Наташу. Наконец, он подбрасывает фальшивый золотой Яковлеву, и до конца остается неясным, то ли он сыщик-провокатор, то ли сам замешан в темных делишках и в любую минуту готов вступить в сделку с одноглазым часовщиком. Он по-своему является двойником Лузгина, в чье сумасшествие не верит: «Вы, Лузгин, слишком умно сошли с ума, вы плохо притворяетесь...» [Горький, 1972: 290]. Создается впечатление, что он видит в Лузгине соперника по «бесовскому ремеслу» и не хочет ему уступать пальму первенства. Но и Лузгин со своими горячечными речами о некоей трагедии, приключившейся с его сыном, в чем явно есть и его вина, не так прост, как кажется на первый взгляд. Неслучайно именно завершение пьесы на бреде сумасшедшего показалось переводчику неубедительным, он прямо признался, что «не понимает конца пьесы» [Горький 1972: 535]. То же сомнение высказал и некто Д.А. Лутохин: «<...> 3-я сцена не развязывается, как хотелось бы <...>. Словно нужно дописать 4-ую» (Горький 1972: 541). И хотя, глядя на Лузгина, Яковлев произносит: «Кто здесь распоряжается? Чёрт распоряжается, а?» [Горький, 1972: 289], тот не является *полноценным* Дьяволом. Он, как и Стогов, из породы фальшивых чертенят. Вот почему при виде Стогова он говорит: «Нет, это не ты... не тот!» [Горький, 1972: 291]. Весьма показательно, что второй редакции пьесы должен был предшествовать

«Заговор случайностей, или: Правдивый рассказ о [*мелких*] (курсив мой. — *М.М.*) злодеяниях черта» [АГ. ХПГ–30–4–1].

Они оба, скорее, подмастерья или подручные у кого-то, кто заправляет всем. Как справедливо заметил один из читателей: «<...> Стогов и Лузгин — темны» [Горький, 1972: 541]. Их повелитель — невидим, но вездесущ. Его изображение возникает в зеркале. Там происходит обнаружение изнанки каждого человека, но сквозь нее маячит нечто сверхъестественное, фантастическое, что хочется изловить, прочувствовать, осознать, ибо, как признается Лузгин, «<...> он давно ходит за мной, он изуродовал всю мою жизнь» [Горький, 1972: 291]. Это что-то наподобие андреевского Некто в Сером, но не выведенного на авансцену (опять-таки напомним, что в одном из намечаемых предварений пьесы должны были действовать Чорт (так у М. Горького!), Лузгин, Режиссер, Рабочий, Автор, Наташа, Голос из публики, т.е. реальные и предельно обобщенные фигуры). «Вот, вот он... Держите его... <...>» [Горький, 1972: **290**], — кричит Лузгин, глядя в зеркало. И чуть позже поинтересуется: «А того — мерзавца — поймали? Врага моего поймали?» [Горький, 1972: 290]. Но «враг» окажется не пойманным. Это Некто в Зеркале, или в Зазеркалье, распространяющий свое смрадное дыхание на все вокруг. И окончательную его характеристику даст опять-таки Лузгин: «Был фальшив, как бес. Притворялся, что знает несокрушимые законы. Он — правду оболгал...» И о том, что Дьявол — это вечный спутник человека, «мой спутник», также говорит признание Лузгина: «Тут был человек... он давно ходит за мной, он изуродовал мою жизнь. <...> Сына оторвал от меня... Женщину...» [Горький, 1972: 291].

Думается, не случайно Горький не оставил своего замысла 1913 г. (возможно, в чем-то инициированного тесным общением с Андреевым), что действительность 1920-х годов подтвердила его весьма неутешительный диагноз: «правит бал» на земле все та же «фальшивая правда», а контролирует ее вечное присутствие в мире «мой спутник», о котором речь шла вначале, тот, который забирает власть над людьми, заставляя их лгать, притворяться, двурушничать, обманывать себя и других. Обращение к «устарелому» в чем-то тексту свидетельствовало, как справедливо указывает Н.Н. Примочкина, на мучившую «и, видимо, *неразрешимую для автора* (курсив мой. — *М.М.*) проблему соотношения правды и лжи, “возвышающего обмана” и “низких истин”» [Примочкина, 2010: 75].

И возможно, что Горький оказался ближе к воплощению на сцене «панпсихизма», требующего, чтобы ведущими в драме оказывались «не вещи действительности и не реальные звуки и голоса ее, а рассеянные в пространстве мысли и ощущения героев» [Андреев, 1996: 527], чем сам Андреев. И хотя советские горьковеды активно

восставали против сближения на этой почве Андреева и Горького, считая, что в драмах последнего всегда царит «жизненная конкретность» [Бялик, 1977: 342], загадочность и затрудненность понимания идеи «Фальшивой монеты», явный расчет на то, чтобы актеры «домыслили» биографии и судьбы своих персонажей, свидетельствуют об обратном.

Список литературы

Андреев Л. Письма о театре // Собр. соч.: В 6 т. Т. 6: Рассказы; Повести; Дневник Сатаны. Роман; 1916–1919; Пьесы 1916; Статьи / Редколл.: И. Андреева, Ю. Верченко, В. Чуваков; сост. и подгот. текста В. Александрова и В. Чувакова; коммент. Ю. Чирвы и В. Чувакова. М., 1996. С. 509–558.

Анненский Иннокентий. Книги отражений. М., 1979.

Архив А.М. Горького. Т. III. Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. М., 1951.

АГ. ХПГ. –30–4–1.

АГ. ХПГ. –47–6 –5.

Бялик Б. М. Горький-драматург. М., 1977.

Бялик Б.А., *Нечаева В.С.* Из творческой истории пьесы «Фальшивая монета» // Литературное наследство. Из наследия советских писателей / Под ред. В.И. Борщукова, Л.И. Тимофеева и Н.А. Трифонова при участии Л.М. Розенблюм. Т. 74. М., 1965. С. 53–118.

Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. Т. 15. М., 2012.

Горький М. Полн. собр. соч. Худож. произв.: В 25 т. Т. 1. М., 1968.

Горький М. Полн. собр. соч. Худож. произв.: В 25 т. Т. 13. М., 1972.

Иван Странник. Максим Горький. Критико-биографический этюд / Пер. с фр. М., 1903.

Комлик Н.Н. Своеобразие реалистической символики драмы А.М. Горького «Фальшивая монета» // Художественное творчество и литературный процесс: Сб. ст. / Отв. ред. Н.Н. Киселев. Вып. VII. Томск, 1988. С. 3–23.

Луначарский А.В. «Фальшивая монета» // Красная газета. Веч. вып. № 273. 1926. 18 нояб.

М. Горький и А. Чехов. Переписка, статьи, высказывания: Сб. материалов. М., 1951.

Примочкина Н.Н. К вопросу о новаторстве Горького-художника (первая половина 1920-х гг.) // Горьковские чтения — 2008. Максим Горький: Взгляд из XXI века. Н. Новгород, 2010. С. 75–84.

Семашкина М.А. М. Горький. «Фальшивая монета» (творческая история пьесы) // Драматургия М. Горького в историко-функциональном аспекте. М., 2017. С. 103–121.

У Горького // Русские ведомости. 1914. 9 февр.

Mariya V. Mikhailova

THE SYMBOLIC CODE OF M. GORKY'S PLAYS ('The Counterfeit Coin')

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The article traces the history of how the play 'The Counterfeit Coin' was created. M. Gorky worked on it intermittently, on and off for more than 13 years. Conceived and written in the 1910s, it turned out to be closely connected with the dramaturgic creative searchings of the author who was at that time working out principles of the new melodrama. This was echoed most immediately in the first version of the play. However, the largely enforced return to work on the play 10 years later led to unexpected results: the symbolic resonance of the work increased, the traditional psychologism turned out to be 'lost', the characters' images began to appear double, to duplicate, polysemy, understatement and muted expression appeared. This led to the Soviet theatres' failure to understand the play and then to refusals to stage it and rejection of its symbolic nature by critics (AV. Lunacharsky). The author of the article notes univocal and predominantly sociological treatment of this work in modern critical literature, which is absolutely insufficient to bring to light its original and distinctive nature. In connection with this it is suggested that points of contact of typification devices with the abstract treatment of characters should be revealed. They could already be observed in Gorky's early creative work, which was dictated by his striving to unravel their metaphysical essence. The main issues in the writer's creative work — the relationship between the truth and lies, their frequent indistinctness or vacillation of the borderline between them — began to be keenly felt by Gorky precisely in the 1920s, when the author started wishing to strengthen the symbolic indeterminacy of the plot and the characters of 'The Counterfeit Coin'. As a result the figure of the all powerful Devil and his various embodiments came to be in the centre of the play.

Key words: M. Gorky; 'The Counterfeit Coin'; I.F. Annensky; lies; the truth; the Devil; metaphysics; criticism; sociological treatment; symbolism; the history of creation; dramaturgic searchings; 'My Travelling Companion'; L. Andreyev.

About the author: *Maria V. Mikhailova* — Doctor of Philology, professor of the Department of the History of Contemporary Russian Literature and Modern Literary Process, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University, Professor Emeritus of Lomonosov Moscow State University, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences (e-mail: mary1701@mail.ru).

References

Andreev L. *Pis'ma o teatre. Sobr. soch.*: V 6 t. T. 6. Rasskazy; Povesti; Dnevnik Satany. Roman; 1916–1919; P'esy 1916; Stat'i. Redkoll.: I. Andreeva, Yu. Verchenko, V. Chuvakov; sost. i podgot. teksta V. Aleksandrova i V. Chuvakova; komment. Yu. Chirvy i V. Chuvakova. M., 1996, ss. 509–558.

Annenskij Innokentij. Knigi otrazhenij. M., 1979.
Arhiv A.M. Gor'kogo. T. III. Povesti, vospominaniya, publicistika, stat'i o literature. M., 1951.
AG. HPG.–30–4–1.
AG. HPG.–47–6–5.
Byalik B.M. *Gor'kij-dramaturg*. M., 1977.
Byalik B.A., Nechaeva V.S. *Iz tvorcheskoj istorii p'esy "Fal'shivaya moneta". Literaturnoe nasledstvo. Iz naslediya sovetskih pisatelej*. Pod red. V.I. Borshchukova, L.I. Timofeeva i N.A. Trifonova pri uchastii L.M. Rozenblyum. T. 74. M., 1965, s. 53–118.
Gor'kij M. *Poln. sobr. soch. Pis'ma*: V 24 t. T. 15. M., 2012.
Gor'kij M. *Poln. sobr. soch. Hudozh. proizv.*: V 25 t. T. 1. M., 1968.
Gor'kij M. *Poln. sobr. soch. Hudozh. proizv.*: V 25 t. T. 13. M., 1972.
Ivan Strannik. Maksim Gor'kij. Kritiko-biograficheskij ehtyud. Per. s fr. M., 1903.
Komlik N.N. *Svoeobrazie realisticheskoj simvoliki dramy A.M. Gor'kogo "Fal'shivaya moneta". Hudozhestvennoe tvorchestvo i literaturnyj process:* Sb. st. Otv. red. N.N. Kiselev. Vyp. VII. Tomsk, 1988, ss. 3–23.
Lunacharskij A.V. "Fal'shivaya moneta". *Krasnaya gazeta. Vech. vyp*. № 273, 1926. 18 noyab.
M. Gor'kij i A. Chekhov. Perepiska, *stat'i*, *vyskazyvaniya*: Sb. materialov. M., 1951.
Primochkina N.N. K voprosu o novatorstve Gor'kogo-hudozhnika (pervaya polovina 1920-h gg.). *Gor'kovskie chteniya — 2008. Maksim Gor'kij*: *Vzglyad iz XXI veka*. N. Novgorod, 2010, ss. 75–84.
Semashkina M.A. M. Gor'kij. "Fal'shivaya moneta»" (tvorcheskaya istoriya p'esy). *Dramaturgiya M. Gor'kogo v istoriko-funkcional'nom aspekte*. M., 2017, ss. 103–121.
U Gor'kogo. *Russkie vedomosti*. 1914. 9 fevr.

ТВОРЧЕСТВО Ш. БРОНТЕ И ЕГО РЕЦЕПЦИЯ: ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ

Е.Н. Аникудимова

ШАРЛОТТА БРОНТЕ ALIAS КАРРЕР БЕЛЛ (о функции мужского псевдонима в женской прозе)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Использование мужского псевдонима писательницей-женщиной — частая ситуация в XIX в. Она объяснима в целом наличием очевидных социально-исторических факторов, ограничивающих профессиональное развитие женщины, построение ею публичной идентичности. Но это общее объяснение не исключает потенциально ценных индивидуальных оттенков. Задача статьи — проанализировать стратегию использования мужского псевдонима «Каррер Белл» Шарлоттой Бронте.

Это имя значится не только на титульных страницах публикуемых романов или в качестве подписи в письмах к издателям. Интерес представляет речевая идентичность «Каррера Белла» как автора текстов, предпосылаемых романам Бронте: это предисловия ко второму и третьему изданиям «Джейн Эйр» (1848), «Биографическая заметка» об Эмили и Энн ко второму посмертному изданию «Агнес Грей» и «Грозовой перевал» в 1850 (“A Biographical Notice of the Authors by Currer Bell”).

Кроме выполнения «дежурных» задач (ответ на похвалу/критику романов и предоставления публике необходимой информации об авторе), нарративное пространство предисловий обнажает драму самоидентификации. Маска анонимности спадает с лица Шарлотты Бронте уже к 1850 г., но она продолжает упорно использовать фигуру «Каррера Белла» в качестве литературного агента. Автопортрет пишущего имеет четкий, ярко проявленный стилистический профиль. В то же время и внутренняя борьба (или, может быть, сотрудничество разных внутренних, гендерно обозначенных ипостасей) обнаруживает себя в тексте предисловий на уровне дейксиса. В статье будет проанализировано «скольжение» между местоимениями «я», «мы», «он», «она», случайно или неслучайно, допускаемое писательницей.

Фактически Шарлотта Бронте создает публичное альтер эго, «соавтора»-мужчину, чья функция — быть «учителем» (Master), редактором, вдохновителем, защитником (от несправедливой критики) т.е. укреплять в ней

Аникудимова Евгения Николаевна — аспирант второго года обучения кафедры общей теории словесности (теории дискурса и коммуникации) филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: eanikudimova@mail.ru).

самой те профессионально необходимые социальные свойства, которых общество не поощряло в женщине. Отсюда — потребность во внутреннем многоголосии, стирающем границы между «она» и «он».

Ключевые слова: гендерная идентичность; нарративная идентичность; псевдоним; предисловие; дейксис.

Использование мужского псевдонима для публикации своих произведений — распространенная практика среди писательниц XIX в., и объяснить это как будто не трудно: и в литературном поле, и в публичной сфере в целом положение женщин-писательниц было явно неравноправным. Культура викторианской Англии, в частности, закрепляла социальные роли мужчины как активного деятеля, создателя, защитника и женщины как пассивного и хрупкого воплощения красоты. Норма женского поведения закрепилась в образе «домашнего ангела» (образ из поэмы Ковентри Пэтмор «Ангел в доме» — “The Angel in the House”), — любое отклонение воспринималось как признак «болезненности». Самореализация в качестве профессионального писателя для женщины не то чтобы исключалась, но мотивировалась не иначе как нуждой, необходимостью заработка. И все же в каждом конкретном случае возникают вопросы: чем обусловлен этот выбор? Как реализуется стратегия вынужденной анонимности в выстраивании писательской карьеры? Ответы зависят не только от принципов функционирования литературного поля в целом, но и от личности самой писательницы.

Фигура Каррера Белла, автора романа «Джейн Эйр», ставшего в миг популярным, скрывала личность истинного создателя — Шарлотты Бронте. Главный интерес для нас представляет характер взаимодействия между личностью и маской (искусственно созданной, нарративной идентичностью) — между «Шарлоттой» и «Каррером», учитывая то, что именно последний стал и долгое время оставался полноценным участником публичного пространства.

Первое публичное появление Каррера Белла предшествовало публикации романа и было связано с выходом в свет в 1846 г. томика стихов, написанных Шарлоттой и ее сестрами Эмили и Энн (представившимися как Эллис Белл и Эктон Белл соответственно). Позже, в биографической заметке (1850), Шарлотта объяснит выбор сестрами мужских псевдонимов тем, что их собственный стиль письма не казался им «женским», а публичность не влекла и даже отталкивала. Кроме того, всех трех смущало предвзятое отношение со стороны читателей и критики к женскому авторству: даже благоприятное суждение относилось скорее к личности пишущей дамы, чем к произведению, и похвала принимала вид снисходительного одобрения, а не разбора достоинств работы. Такое отношение к результатам творческого труда женщины (подмена критической

оценки личными выпадами или лестью) в глазах Шарлотты заведомо его обесценивало. Она пишет Дж.Г. Льюису (19 января 1850 г.): «Мне бы хотелось, чтобы все рецензенты верили в то, что "Каррер Белл" — мужчина, тогда они были бы к нему более справедливы. Я знаю, что Вы мерите меня тем мерилом, которое считается наиболее подходящим для моего пола, и Вы осудите меня, если я не проявлю ожидаемого изящества». Рецензию на роман «Шерли», написанную тем же Льюисом, она воспринимает как оскорбительную, — не по причине уничижительных суждений о романе, а потому, что критик счел возможным его обсуждать именно и только как образец «женской литературы» — повод для постановки вопроса об «интеллектуальном равенстве полов». Бронте пишет: «... после моего честно высказанного желания, чтобы критики судили меня как автора, а не как женщину, Вы столь грубо — я бы даже сказала жестоко — подняли вопрос пола» [The Brontes: The Critical Heritage, 1974: 160].

Для выбора мужского псевдонима были не только социальные, но и личные, психологические причины — уже ранние биографы (например, Э. Гаскелл) ссылались на «интравертивность» характеров Эмили и Энн, которые упорно «избегали дружбы или близости вне сестринского круга, первая из-за замкнутости, последняя из-за робости» [Гаскелл, 2016: 162]. Только смерть обеих освободила Шарлотту от обещания, данного некогда Эмили, охранять анонимность их творчества. Нарушение этого обета она объяснила необходимостью представить своих сестер читателю в качестве «полноправных» авторов (молва распространяла авторство Шарлотты на романы, написанные ее сестрами, тем самым фактически игнорируя существование Эмили и Энн).

Томик ранних стихов не имел успеха у публики, но и позже, когда сестры Бронте принимают решение обратиться к жанру романа, их представителем и голосом в публичном пространстве остается «Каррер Белл». Этим именем Шарлотта подписывает свои письма, рассылаемые издателям, например, письма М. Смиту (издательство «Смит, Элдер и К.») от 15 июля 1847, 7 августа 1847, 12 сентября 1847 [Charlotte Bronte Selected Letters, 2007: 85–88].

Этим же именем подписаны предисловия ко второму и третьему изданиям «Джейн Эйр» (1847 и 1848), предисловие к роману «Учитель», написанное в 1850 г., но опубликованное в 1857 г.[1], а также биографическая заметка об Эмили и Энн и предисловие к изданию

[1] Сам роман был написан в 1846 г., но в свет тогда не вышел, будучи отвергнутым издателями.

1850 г., в которое вошли посмертное издание романов «Грозовой перевал» (Эмили Бронте) и «Агнес Грей» (Энн Бронте). Дальнейший анализ и будет сосредоточен на предисловии как специфическом паратексте, — пространстве, в котором направленно выстраивается авторская нарративная идентичность, формулируется общая коммуникативная задача и устанавливается определенный «пакт», способ отношения с читателем.

Анализируя речевую маску Каррера Белла, важно сказать, что это не первая попытка Шарлотты «примерить» мужскую идентичность. Первая относилась к совместному детскому творчеству сестер Бронте, в котором участвовал также их брат Бренуэлл. Главными героями Шарлотты, от чьего лица велось повествование, были Артур Уэллсли и его младший брат Чарльз, для которых она выбирает писательский труд в качестве карьеры, которая выстраивается в пространстве целого цикла рассказов [Bock, 2002: 34].

Кроме детских произведений, где повествование велось от первого, мужского, лица, важным этапом становления этой стратегии письма стал первый роман Шарлотты Бронте — «Учитель». Главным героем и повествователем является Уильям Кримсворт, молодой человек, ищущий себя и свой профессиональный путь. Он отказывается от привилегий, которые ему дает аристократическое происхождение, порывает с родней, становится простым клерком, но потом осознает это положение как рабское, и избирает в итоге призвание учителя, что приносит ему долгожданный успех и независимость. Став учителем в женской школе, «мастером»[2] женской души, именно Уильям открывает для себя и для читателя сложность «женской природы», осознает искусственность и ложность «ангелического» стереотипа[3]. Еще важнее тот тип отношений, который складывается у него с ученицей — Френсис: первоначальным источником откровения оказывается ее эссе, в котором учителю-читателю видится неожиданный «проблеск того, что представляет она собою в действительности». Назначение учителя — править, подвергать критике и тем самым совершенствовать ученический текст, в котором воплощен и которым постепенно лепится харак-

[2] Английское слово “master” (обращение Френсис к Уильяму) многозначно: знаток, наставник, хозяин, — подразумевает как отношения власти (хозяин и работник), так и отношения сотрудничества (мастер и подмастерье).

[3] «Что знал я о женском характере до приезда в Брюссель? Почти что ничего. Я представлял его чем-то смутным, хрупким, тонким. Теперь же, столкнувшись с ним, я выяснил, что это очень даже осязаемая материя, порою слишком жесткая и часто тяжелая; в ней чувствовался металл — и свинец, и железо. Пусть идеалисты, пусть все мечтающие о земных ангелах, о цветах человеческих заглянут сюда» [Бронте, 2012: 47].

тер ученицы. Уильям, фактически, выступает в роли редактора, а Фрэнсис — становящегося автора (не только конкретного текста, но и собственной жизни как текста). Стоит отметить, что в викторианской идеологии понятие «характер» (character) было неразрывно связано с публичным представительством Я: в «характере» воплощались моральные ценности, принятые в обществе. В «характере» как социально-текстовом конструкте ярче всего обнаруживается напряжение между самоидентификацией индивида и социальной идентичностью, которую он (а) выстраивает себе и/или принимает извне как участник публичного пространства, а также между опытом самосозидания и использованием текстовой маски в качестве инструмента[4]. В «женском» варианте эти универсальные коллизии приобретали особый драматизм.

В дебютном сочинении Шарлотты Бронте роман учителя и ученицы венчается счастливым браком, вполне образцовым для викторианской эпохи: в нем каждому уготована определенная роль — патриархальный голос диктует разумную волю, «домашний ангел» любовно подчиняется супругу. Но картина в итоге не вполне отвечает стереотипному образцу, она выписана тоньше. Френсис, на поверку, ведет двойную жизнь, чего не может не заметить Уильям, который так комментирует метаморфозу, совершившуюся с женой: «В некотором смысле [Френсис] стала совсем другой женщиной, хотя в прочих отношениях ничуть не изменилась. Столь разной бывала она порой, что мне казалось, у меня две жены» [Бронте, 2012: 126]. Такая же четкая дистрибуция ролей (роли послушной дочери и жены и роли успешной писательницы) характеризовала и Шарлотту Бронте. Во всяком случае, так ее утверждала Э. Гаскелл в посмертно написанной биографии, при этом предполагая, что началом внутреннего «расщепления» послужило принятие мужского псевдонима. Именно «с этой поры существование Шарлотты Бронте разделилось на два параллельных потока — жизнь писателя Каррера Белла и жизнь женщины Шарлотты Бронте. У каждого из них были особые обязанности — они не противоречили друг другу, но их было сложно, хотя и не невозможно, примирить» [Гаскелл, 2016: 342].

Схожую с ролью учителя, редактирующего женский «характер», играет и Каррер Белл. Он предстает перед читателем редактором, а не автором первой публикации «Джейн Эйр»: т.е. на титульном листе первого издания жанр обозначен как автобиография, Каррер — ее редактор, корректирующий границы и изложение «личного женского опыта». Однако при повторных публикациях этого же романа, как и

[4] Это многозначное слово могло отсылать также к литературному, вымышленному персонажу и к графическому символу (букве).

при публикации «Шерли» и «Городка», Каррер приобретает статус автора, что представлено на титульных страницах.

Первое издание не сопровождалось предисловием (1847): Каррер Белл в качестве редактора не посчитал нужным комментировать автобиографию, которая должна была говорить сама за себя[5]. Однако неожиданный успех и неизбежная критика романа, обвинявшая произведение в «безбожии» [The Brontes: The Critical Heritage, 1996: 366], мистицизме и имморализме, заставляют «Каррера» обратиться к публике напрямую: в предисловии ко второму изданию (1848) разъяснения с его стороны оказываются остро необходимы ("this second edition demands a few words both of acknowledgment and miscellaneous remark"). Одновременно возникает нужда в **простройке** сложной сети взаимоотношений между авторским Я и разнообразными адресатами — публикой ("the Public"), прессой ("the Press"), издателями и отдельными рецензентами ("the Publishers and the select Reviewers"), критикой.

Публика так же, как и Пресса, — адресат, не вполне понятный для «Каррера Белла»: в предисловии они фигурируют как неопределенные, безличные инстанции ("the Press and the Public are but vague personification"), которым автор готов выразить благодарность за проявленный к роману интерес. Другая группа — это издатели и отдельные критики, описываемые как дружественные и благородные личности (мужчины): "my Publishers are definite", "large-hearted and high-minded men". Благодаря контакту с ними, поясняет «Каррер», ему удается выйти из положения аутсайдера, субъекта, стороннего литературному институту ("an unknown and unrecommended Author", "an obscure aspirant", "a struggling stranger"), — за что этим достойным «джентльменам» следует сердечная благодарность: "I say cordially, Gentlemen, I thank you from my heart".

Но главным адресатом предисловия оказывается противоположная группа ("another class") критиков, настроенных в отношении романа настороженно или враждебно. Автор предисловия отмечает, что их немного и характеризует их как лиц робких и сомневающихся ("timorous... doubters"), не умеющих осознать простые истины и очевидные различия ("certain simple truths", "certain obvious distinctions"), которые он готов им напомнить ("I would suggest to such doubters", "I would remind them").

Предисловие довольно явным образом приобретает стилистические свойства и отчасти даже жанровую форму проповеди, т.о. «Каррер» берет на себя роль заведомо мужскую и хорошо знакомую

[5] Этот факт «Каррер» поясняет в предисловии ко второму изданию: "a preface to the first edition of 'Jane Eyre' being unnecessary, I gave none".

самой Шарлотте, выросшей в семье священника. Но и для нее, и для ее сестер храмом новой религии становится роман[6], именно в храме этом проповедует Каррер, толкуя «заповеди» своей пастве — читателям.

Защищая собственную правоту и безусловность ценностей, представленных образно в романе, Каррер готов преподать всем, и прежде всего маловерам, моральный урок. Своих противников он прямо обвиняет в подмене канона истинной веры набором условностей ("appearance should not be mistaken for truth; **narrow human doctrines**, that only tend to elate and magnify few, should not be substituted for the world-redeeming creed of Christ"). Не понимая внутренних задач романного повествования, критики ошибочно принимают авторское стремление обличить порок за шаткость религиозных убеждений ("self-righteousness is not religion. To attack the first is not to assail the last"). Заодно с враждебными критиками, Каррер решительно осуждает и «свет» ("the world"), склонный подменять священное мирским и ненавидеть того, кому должен быть благодарен за нравственное поучение ("faithful counsel"). Это соотношение ролей — пророка-обличителя и недостойных, не понимающих его и обличаемых им, — предстает как сложившееся не сиюминутно, по поводу конкретного произведения-высказывания, а «от века» и не случайно закрепляется библейской аллюзией (автор — Micaiah, мир/свет — Ahab).

В качестве современного героя в предисловии фигурирует писатель Уильям Теккерей. В глазах Каррера он — не ниже библейских пророков и схож с ними в мере нравственной серьезности, ответственности, готовности и способности исправлять жизнь в целом ("the very master of that working corps who would restore to rectitude the warped system of things"), выжигая зло «греческим огнем сарказма» ("the Greek fire of his sarcasm"), — безжалостной, но духовно спасительной критикой. Посвящение Теккерею, чей литературный статус к концу 1840-х годов был высок и бесспорен, позволяет дополнительно усилить авторитетность позиции пишущего. Таким образом, выстраивая отношения союзничества-противостояния с разными представителями литературного поля, «Каррер» обживает его, и сам становится его частью.

Третьему изданию романа «Джейн Эйр» (1848) предпосылается новая короткая авторская приписка ("note"), обусловленная уже особой необходимостью. Шарлотта Бронте чувствует необходимость отграничить «собственный» образ как Каррера Белла от образов

[6] Сестры Бронте, пишет современный критик, «заменяют патриархальные мужские заповеди на традиции религии, созданные на основе женского вдохновения о природе вселенной», «языческой» женской энергии, ищущей воплощения в творчестве [Maynard, 2002: 196].

сестер — Эмили, которой удалось в 1847 г. опубликовать роман «Грозовой перевал» под псевдонимом Эллис Белл, и Энн, подписавшей роман «Агнес Грей» (1847) именем Эктона Белла, — при этом авторство всех трех романов иные критики были склонны приписывать именно «Карреру». В своем кратком комментарии (лишь 88 слов), настаивая на том, что он отнюдь не является автором «других произведений» (“other works”), «Каррер» не уточняет ни каких именно, ни кому приписываемых. Объяснение претендует на то, чтобы прояснить вопрос об авторстве (“this explanation will serve to rectify mistakes which may already have been made”), но никакой ясности в него почему-то не вносит.

Выяснение отношений с читателем продолжается в биографической заметке об Эмили и Энн, опубликованную в приложении уже ко второму изданию их романов (“A Biographical Notice Of The Authors by Currer Bell”). «Каррер» описывает профессиональный путь двух сестер, принимая на себя полноту ответственности за осуществление и недо-осуществление их ярких природных талантов, фигурируя при этом в вызывающе сложной, множественной роли — фигуры родственно близкой (сестры/брата), издателя, зорко распознавшего новое дарование, и критика, выносящего приговор произведениям сестер.

Из текста явствует, что именно Каррер открыл поэтический талант Эмили, найдя ее стихи, которая та тщательно прятала от других. Он же открыл талант Энн, усмотрев в ее любительских стихах «неповторимую, нежную и искреннюю чувствительность». Примерив на себя роль «пристрастного судьи», именно Каррер принимает решение о публикации и побуждает к ней слишком робких создательниц текста. После ряда неудач и при возникновении возможности опубликовать стихи за свой счет, Каррер берется за это дело всерьез и очень практически, изучая возможные варианты изданий, размеры, виды и качество бумаги и т.д.

На момент написания биографической записки (1850) фигура Каррера Белла уже не была загадкой для читателя, авторство Шарлотты Бронте перестало быть секретом. Тем не менее биографическая записка подписана именем Каррера Белла, и действующее в ней «я» явно, хотя и непоследовательно занимает «мужскую» позицию (продолжая стратегию голоса в предисловиях к «Джейн Эйр»). Рассказывая об Эмили и Энн, о выборе ими псевдонимов, автор записки объединяет себя с ними: «мы не хотели объявлять себя женщинами» (“we did not like to declare ourselves women”). В то же время неудача с публикацией романа «Учитель» описана как неудача Каррера, на что указывает использование имени («книга Каррера Белла не была принята нигде» — “Currer Bell’s book found acceptance nowhere”) и

местоимений мужского рода: «что-то вроде холода отчаяния начало заполнять **его** сердце» (“that something like the chill of despair began to invade **his** heart”), «**он** пытался отправить еще в одно издательство» (“**he** tried one publishing house more”), «**он** вынул письмо из конверта» (“**he** took out of the envelope a letter of two pages”), «**он** прочитал его дрожа» (“**he** read it trembling”) и т.д. Любопытно, что, описывая историю создания исключительно успешного (как известно читателю), романа «Джейн Эйр», автор заметки возвращается к повествованию от первого лица, грамматически неопределенного гендерно: «**я** тогда только что заканчивал (-/а) Джейн Эйр, через три недели я его выслал (-/а)» (“**I** was then just completing Jane Eyre, in three weeks I sent it off”).

Получается, что, уже раскрыв тайну своей личности читателю, Шарлотта продолжает играть с ним, с одной стороны, с упорством используя «Каррера» в качестве активного публичного голоса, а с другой, сохраняя в нем, этом голосе, гендерную неопределенность. Последнее обеспечивается на уровне деиксиса — «скольжением», допускаемым между местоимениями «я», «мы», «он», «она».

Перед читателем в итоге развертывается невидимая внутренняя борьба между дамской уклончивостью и мужественной сверхопределенностью позиции, которую автор приписывает не только себе, но косвенно и своим сестрам. Автор предисловия (Шарлотта/Каррер) решительно отрекается от приписываемой ей/ему склонности к экивокам (“I would scorn in this and in every other case to deal in **equivoque**”), но сам текст говорит об обратном, демонстрируя эту особенность на каждом шагу. Когда «Каррер» говорит о себе и своих сестрах как о едином писательском закрытом сообществе (“**our** domestic circle”, “**we** used to show each other what **we** wrote”, “**we** each set to work on a prose tale”, “ill-success failed to crush **us**”), активно используется местоимение «мы». Это не исключает референций к первому лицу («я») и к третьему («она/они») в случаях, когда важно подчеркнуть независимость авторского «я», авторитетность его публичного голоса и относительную невидимость Эмили и Энн (“for the strangers they were no thing”). Скольжение субъектных инстанций нередко оставляет читателя в недоумении, о ком же идет речь.

Своих сестер Каррер/Шарлотта называет то женскими именами (как ближайших родственников), то использует их мужские (авторские) псевдонимы. Поставив перед собой задачу — очистить имена ушедших из жизни сестер (“their dear names”) от смертного праха, автор заметки решает ее парадоксальным образом: путем одновременного утверждения женского начала и отречения от него (точнее, от многого из того, что приписывает «женскости» молва — “what is called ‘feminine’”).

Нарративная идентичность «Каррера Белла» — инструмент, используемый Шарлоттой Бронте для создания публичного образа себя как писателя на условиях компромисса с ролью и репутацией викторианской леди. Новая идентичность выстраивается за счет освоения профессиональных дискурсов, доступных мужчинам (проповедник, писатель-профессионал, критик). Фактически, Шарлотта Бронте создает «соавтора»-мужчину, который призван служить защитой от критиков и укреплять в ней самой те профессионально необходимые социальные свойства, которых общество не поощряло в женщине. Нетрудно предположить, что из юношеской любви к учителю и из потребности в самореализации литературного таланта родилась эта потребность во внутреннем многоголосии, стирающем границы между «он» и «она». Отсюда проистекает многоголосие на риторическом уровне, «маскарадная» игра с собой и читателем в тексте предисловий.

Список литературы

Бронте Ш. Учитель / Пер. с англ. У. Сапцина. М., 2012.
Гаскелл Э. Жизнь Шарлотты Броне / Пер. с англ. А. Степанова. СПб, 2016.
Bock C. 'Ourplays': The Bronte juvenilia // The Cambridge Companion to the Brontes / Ed. by H. Glen. Cambridge, 2002. P. 34–52.
Bronte C. Jane Eyre. L., 1848.
Bronte E., and A. Bronte Wuthering Heights and Agnes Grey. L., 1850.
Charlotte Bronte. Selected Letters / Ed. M. Smith. Oxford, 2007.
Maynard J. The Brontes and religion // The Cambridge Companion to the Brontes / Ed. by H. Glen. Cambridge, 2002. P. 192–213.
The Brontes: The Critical Heritage / Ed. M.F. Allot. L., 1996.

Evgenia N. Anikudimova

CHARLOTTE BRONTE, ALIAS CURRER BELL
(the role of a male pseudonym in women's prose)

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

Female writers publish their works under male pseudonyms quite often; particularly it was a common practice in the XIXth century. A certain number of obvious socio-historical factors were an obstacle to female professional development and appearance of their public identity. Nevertheless, this situation

did not exclude female agency that was revealed in individual cases of authoresses. This article explores the uses and functions of Charlotte Bronte's pseudonym, Currer Bell.

The name was presented not only on the title pages of her novels or as a signature for her professional correspondence (with editors), but also as an author name in the prefaces to the second and the third editions of 'Jane Eyre' (1848) and in 'A Biographical Notice of the Authors by Currer Bell' (1850) to the second posthumous edition of Anne and Emily Brontes' 'Agnes Grey' and 'Wuthering Heights'. "Currer Bell" became Charlotte's public identity, broadcasting her ideas to readers in a mode considerably more direct and authoritative than her novels, responding to criticism, etc.

Even after the pseudonym had lost the function of anonymity, Charlotte stuck to the public identity of "Currer Bell". The evidence of inner struggle can be found at the level of deixis, the use of interchanging pronouns (I, we, he, she, they) — quite often confusing for the reader. Actually, Charlotte Bronte created a public alter ego or a male co-author whose function was to be a 'Master', an editor, an inspirer, and a protector. Therefore, the need of inner 'polyphony' arose.

Key words: gender identity; narrative identity; pseudonym; preface; deixis.

About the Author: *Evgenia N. Anikudimova* — postgraduate student of the Department of Discourse and Communication Studies, Philological Faculty (e-mail: eanikudimova@mail.ru).

References

Bronte C. *Uchitel* [Professor]. Moscow, 2012. 318 p. (In Russ.)

Gaskell E. *Zhizn Charloty Bronte* [The Life of Charlotte Bronte]. Saint-Petersburg, 2016. 606 p. (In Russ.)

Bock C. *'Ourplays'*: *The Bronte juvenilia*. The Cambridge Companion to the Brontes, ed. by H. Glen. Cambridge, 2002, pp. 34–52.

Bronte C. *Jane Eyre*. London, Smith Elder & Co., 1848. 304 p.

Bronte E. and A. Bronte. *Wuthering Heights and Agnes Grey*. London, Smith Elder & Co., 1850. 446 p.

Charlotte Bronte. Selected Letters. Ed. M. Smith. Oxford, 2007. 273 p.

Maynard J. *The Brontes and religion*. The Cambridge Companion to the Brontes, Ed. by H. Glen. Cambridge, 2002, pp. 192–213.

The Brontes: *The Critical Heritage*. Ed. M.F. Allot. London, Routledge,1996. 475 p.

Н.В. Сарана

РУССКАЯ «ДЖЕННИ ИР»: РЕЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА Ш. БРОНТЕ В РОМАНЕ Ю.В. ЖАДОВСКОЙ «ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» (1860)

Научно-исследовательский университет — Высшая школа экономики,
Школа филологии,
105066, Москва, Старая Басманная ул., д. 21/4

История восприятия Ш. Бронте в России исследовалась в целом, и в специальных работах о Ю.В. Жадовской Бронте упоминалась как важный для русской писательницы автор. Однако анализ форм и механизмов индивидуальной рецепции, опосредованной наличными переводами и современной критикой, предлагаются в настоящей статье впервые. Косвенные следы прочтения романа «Джен Эйр» обнаруживаются в романе Жадовской «Женская история» (1860); показано, как и почему роман воспитания оказался востребован при актуализации в России «женского вопроса».

Ранняя, по преимуществу автобиографическая проза Жадовской повествовала о «простых случаях» (название ее повести 1847 г.) первых влюбленностей и первых разочарований, — в романе 1860 г. наблюдается существенное усложнение психологического рисунка, предпринимаются попытки выйти к социальному обобщению. Сравнение с романом Бронте в качестве вероятной модели обнаруживает как явные сходства — на уровне сюжетных ходов и ключевых метафор, — так и различия, например, более выраженную, сравнительно с оригиналом, дидактичность. Тяготение к «учительности» характеризует также тексты-посредники (переводы, переложения «Джен Эйр» на русский язык) и тем самым — контекст культурной рецепции в целом.

Ключевые слова: Ш. Бронте; Ю.В. Жадовская; роман воспитания; биографический миф; нарратив; рецепция; перевод.

«Школа» британского романа воспитания в конце 1840–1860-х годов приняла в свой состав новых учениц — русских подражательниц. Известно, что наибольшее влияние на русскую аудиторию оказали романы Ш. Бронте. Рецепция творчества Бронте в России — очевидная и давно изучаемая тема; однако некоторые лакуны остаются.

Публикации, посвященные творчеству Ш. Бронте, появляются в русских журналах с начала 1850-х годов; начиная с 1860-х количество переводов, изданий, интерпретаций возрастает.

Сарана Наталья Владимировна — аспирант третьего года обучения школы филологии, НИУ — ВШЭ (e-mail: sara.tasha@gmail.com).

Одна из причин длительной и сложной рецепции сочинений Ш. Бронте и в русской, и в западноевропейской культуре не в последнюю очередь кроется в ее биографическом мифе, в легендах, слухах, сопутствующих имени Бронте, в использовании псевдонима, маскирующего женское авторство и вовлекающего публику в интригу гендерной игры.

Биография Шарлотты Бронте, выступающей под псевдонимом Каррера Белла, возбуждала воображение аудитории тем, что Каррер Белл/Шарлотта Бронте представлялась одновременно и автором, и персонажем своего романа. Чем больше документальных аргументов, эпистолярных и мемуарных свидетельств приводили авторы жизнеописаний, тем выше становился градус мифа. Успех вышедшей в 1857 г. книги Э. Гаскелл «Жизнь Шарлотты Бронте», отчасти скандальный, способствовал росту привлекательности Бронте в глазах аудитории, особенно женской [Петерсон, 1895].

Роман Жадовской «Женская история» написан в 1860 г.; к тому времени Жадовская уже была известна своими стихами и «В стороне от большого света», а биографический миф Шарлотты Бронте вполне сложился. После смерти английской писательницы (1855 г.) в русской периодике помимо некрологов и обзорных статей вышли несколько объемных пересказов книги Гаскелл, из которых наибольшее впечатление на Жадовскую, как представляется, произвела статья Евгении Тур [Тур 1858].

Как и другие, писавшие о Ш. Бронте, Тур делает пространные выписки из книги Гаскелл, но сопровождает их своими примечаниями; во многом именно эти примечания и создают образ Бронте и ее эпохи, который был воспринят Жадовской. К примеру, описывая мать Бронте, Тур добавляет от себя замечание, сыгравшее, на наш взгляд, не меньшую роль в становлении женских образов в романе «Женская история», чем сам текст Бронте: «Женщины слабого характера, задавленные, сокрушенные могущественною волей мужчины, не только не сознают своего рабства, но еще любят его, и если называют его зависимостью, то совершенно естественною, обыкновенною, мало того — необходимою <...> число таких неразвитых, не сознающих своего человеческого достоинства созданий уменьшается всякий день».

Ср. в «Женской истории» Жадовской слова главной героини: «Бедные девушки скоро перестают быть детьми. <...> Мне должно трудиться, и я буду трудиться... Бог и совесть указывают мне этот путь» [Жадовская, 1861: 311]. Слова подруги главной героини, напоминая о Евгении Тур, одновременно похожи и на речи персонажей еще не написанного тогда «Что делать?»: «Я свободна и независима и навсегда останусь такой; никакая цепь, кроме честной, добросо-

вестной любви, не опутает меня» [Жадовская, 1861: 322]. «Будь наши матери умнее и осторожнее, вникай они глубже в свою собственную жизнь, поверяй свои ошибки и страдания, не малодушничай они, не жертвуй своими дочерьми богатству, выгодному положению и страху видеть дочерей своих засидевшимися невестами, не то было бы в нашей семейной жизни!» [Жадовская, 1861: 24].

В самой Ш. Бронте и ее героинях русские читательницы (и писательницы) находили замечательную ролевую модель, — а поиск таких моделей и сопровождающая их адаптация культовых европейских имен к русским литературным условиям продолжались и в 1840-е–1860-е, несмотря на то, что русская литература вроде бы начинала обретать некоторую новую степень самостоятельности и формировала собственный классический канон. Однако по-настоящему значительных авторов-женщин в этом каноне еще не было.

Несмотря на то что русские рецензенты вслед за Гаскелл и Тур охотно тиражировали образ рано постаревшей Бронте, «совесть которой смущена, внутренняя жизнь которой безрадостна», до появления биографии Гаскелл, которая сделала существование другого образа Ш. Бронте в русском литературном контексте весьма затруднительным, — русские литераторы касались таких аспектов романа «Джейн Эйр», которые впоследствии не были учтены каноном «русского критического мифа» о Бронте. Главный среди них — тема женского воспитания, о котором, например, говорит Дружинин в 1853 г.: «...в Англии, за последние два столетия, воспитание женщин и жизнь женщин в обществе, вследствие слияния многих причин, имеют свое особенное направление, чрезвычайно выгодное в артистическом отношении. <...> Девушки этих поколений, едва дожив до той поры, когда для наших девиц только что начинается что-то похожее на жизнь, уже имеют на душе запас воспоминаний и ощущений, часто дающих общий, живописный оттенок всей их следующей жизни».

Описывая жизненный путь Джейн, Дружинин упоминает о «страданиях», но в его глазах Эйр/Бронте далеко не «преждевременно устаревшая женщина», а, напротив, энергичная героиня в борьбе против жестокого мира.

Несмотря на то, что биография Гаскелл сформировала романтический миф о Бронте, затруднив возможность восприятия дидактических интенций «Джен Эйр», Жадовская эту дидактику у Бронте находит.

Контекст журнала «Время», в котором была опубликована «Женская история» (1861, № 2–4), подчеркивал дидактическое начало произведения: именно тогда Достоевский помещает в журнале две свои статьи, важные для обсуждения «женского вопроса»: «Образцы чистосердечия» и «Ответ Русскому Вестнику».

Обратимся к сопоставлению самих романов. Мы попытаемся доказать, что «Женская история» в жанровом, сюжетном, нарративном отношении сопоставима с «Джен Эйр». Если такое сопоставление окажется возможным, это позволит предположить, что Жадовская принимала влияние Бронте осознанно.

Как Жадовская читала роман? У нас нет определенных свидетельств о том, знала ли она английский язык. В 1849 г. «Джен Эйр» перевел И.И. Введенский для «Отечественных записок», позднее появился перевод С.И. Кошлаковой. В русских версиях оригинал подвергся изменениям, и они, возможно, повлияли на то, как роман восприняла Жадовская. Наиболее заметны изменения в переводе Введенского: он изменил акценты, усилил дидактизм и риторическое начало, намеренно обострив «воспитательную» линию [Сыскина, 2012: 180].

Сходство русского романа и романа Ш. Бронте проявляется уже на уровне жанра и организации повествования: описание событий начинается с детства героини и заканчивается словами о счастливой жизни после свадьбы.

В русских переводах название романа Бронте передается поразному, что, возможно, отражает нестабильность восприятия жанра или предоставляет читателю некоторую свободу интерпретации. Произведение Бронте называется “Jane Eyre. An Autobiography”, но на русский язык название переводилось то как «Дженни Ир», то «Дженни Эйр, или Записки гувернантки» или даже «Ловудская сирота (Дженни Эйр)». Только в переводе 1893 г. закрепляется жанровое определение «роман-автобиография».

Жадовская придает своему сочинению форму автобиографических записок героини, также начиная с детства и практически не прерываясь (два раз в повествовании опущены периоды длительностью чуть меньше года) до момента, когда героиня соглашается выйти замуж.

Жанровый выбор Жадовской, вероятно, продиктован названием русского перевода: «Дженни Эйр, или *Записки* гувернантки». Существенно и различие: в названии романа Жадовской нет имени героини, образ главной героини, столь узнаваемый у Бронте, у Жадовской демонстративно превращен в образ поколения.

Сюжетно два романа близки. Обе героини в детстве переживают глубокое потрясение и болезнь: Дженни заболевает после того, как ее в наказание заставляют провести ночь в «красной комнате», спальне умершего дяди; Лиза заболевает вскоре после смерти своей матери.

Обе героини после болезни испытывают нравственный перелом и переживают «перемену мест»: Лиза сближается с отцом; в новом

доме, куда они переехали после того, как отец стал управляющим имения князя N., для нее начинается другая жизнь; Дженни отправляют учиться в школу, где она находит свое призвание учительницы.

Через некоторое время обеим героиням предстоит новое испытание: Лиза теряет отца и переезжает жить к соседям князя N., которые взяли ее к себе на содержание; Дженни получает место гувернантки в поместье Рочестера.

Дженни влюбляется в Рочестера, а Лиза в Михаила Александровича Нерадова, брата Кринельской, хозяйки имения, где живет Лиза. Обе героини пытаются изменить свое положение: Лиза сообщает семье Кринельских, что ищет место гувернантки; Дженни выясняет, что дядя оставил ей наследство (потом это позволит ей быть финансово независимой). Любовная история развивается по одной схеме: осознание влюбленности, затем исчезновение препятствия на пути к счастью, правда, совершающееся весьма по-разному; бегство от любви (Лиза пытается уехать от Кринельских и стать гувернанткой или принять предложение другого молодого человека; Дженни собирается уехать в Индию и выйти замуж за миссионера); и счастливый конец — свадьба.

Сходству сюжетных линий соответствует близость ключевых образов и героев. Обе героини имеют творческие, художественные способности, обе много читают, обе обладают сильным характером. Заметим, что в более позднем романе сила и нравственная бескомпромиссность, свойственные героине Бронте, «распределены» между главной героиней и ее матерью и оценены несколько иначе, чем в английском романе. Жадовская подчеркивает необычное отношение матери к браку: «Она [мать Лизы] постоянно изъявляла желание, чтобы я осталась в девушках и рисовала замужество мрачными красками. Когда я говорила ей, зачем она сама вышла замуж, она отвечала, что ее супружество исключение, из тысячи одно» [Жадовская, 1861: 264]. Мать Лизы не одобряет «девчачьи» игры в куклы, и настаивает, что важнее всего образование; она «неумолима как закон» [Жадовская, 1861: 263]. Ср. слова героини Бронте: «сильные ветры, землетрясения, удары, могут проходить мимо меня: всегда и везде я буду следовать внушениям того внутреннего голоса, в котором вижу и слышу свою совесть, спокойную и чистую» [«Дженни Ир», 1849в: 202]. Сила характера матери Лизы у Жадовской оценивается сложно: в ней видится и деспотизм.

Напоследок укажем на некоторые черты романа Жадовской, которые очень похожи на то, что мы видим у Бронте, но это сходство нельзя с уверенностью интерпретировать как результат прямого влияния: подобное можно найти в других текстах эпохи, Бронте и

Жадовская независимо друг от друга могут замечать одни и те же реалии в окружающем их мире и т. п.

Природа и у Жадовской, и у Ш. Бронте представляется неизменно дружелюбной. Лиза находит умиротворение в прогулке в сосновом бору или в катании на лодке при луне: «Вчера вечером катались по озеру в лодке при лунном свете. Какое очарование! Вечер был тихий. Окрестный ландшафт прекрасен...» [Жадовская, 1861: 287]. Дженни обретает в уединенном наслаждении природой покой, которого не находит среди людей: «Природа, казалось, была для меня благосклонна и добра: я, отверженная девушка, готова была броситься в ее объятия с детской нежностью, забыв на этот раз эгоизм и холодное равнодушие людей...» [«Дженни Ир», 1849д: 193].

А вот, напротив, частная, но запоминающаяся деталь: описание важной для сюжета «Джен Эйр» «красной комнаты» и интерьеров заброшенного дома, куда попадает Лиза: мебель здесь покрыта «малиновым штофом»...

Тринадцать лет, отделяющие роман Жадовской от романа Бронте, объясняют, видимо, и некоторые различия в самом типе повествования, очевидные несмотря на явное «ученичество» русского автора: например, иронически редуцируется готическая составляющая (о привидениях Лиза упоминает, смеясь), а захватывающие сюжетные коллизии уступают место более сглаженному повествованию: это «русские гаммы, разыгранные по нотам, привезенным из туманного Альбиона» [Заметки об английской литературе, 1857: 119].

Список литературы

Английские и североамериканские журналы и книги // Отечественные записки. 1857. Т. 114. № 10. Отд. 5. С. 94.

«Английская беллетристика понесла значительную потерю: она лишилась Коррер Белль» // Библиотека для чтения. 1855. Т. 131. № 4. Отд. 4. С. 72–76.

Библиографический указатель истории русской и всеобщей словесности / Сост. В.И. Межов. СПб, 1867.

Дженни Ир. Роман / Пер. с англ. И. Введенского // Отечественные записки. 1849. Т. 64. № 6. Отд. 1. С. 175–250; Т. 65. № 7. Отд. 1. С. 67–158; № 8. С. 179–262; Т. 66. № 9. Отд. 1. С. 65–132; № 10. Отд. 1. С. 193–330.

Джейн Эйр, роман Коррер Белля // Москвитянин. 1853. № 5. Отд. 5. С. 31–32.

<*Дружинин А.В.*> Литературные беседы и парадоксы Иногороднего подписчика. По поводу Коррер Белля и его романа «Вильет» // Библиотека для чтения. 1856. Т. 140. № 12. Отд. 3. С. 99–120.

Дружинин А.В. Письма об английской литературе // Дружинин А.В. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. СПб, 1865. С. 333–349.
<*Дружинин А.В.*> Коррер Белль и его роман “Shirley” // Библиотека для чтения. 1853. Т. 117. № 1. Отд. 2. С. 14–17.
Жадовская Ю.В. Женская история // Время. Т. I. 1861. С. 261–355; Т. II. 1861. С. 5–64, 329–410.
Заметки об английской литературе // Библиотека для чтения. 1857. Т. 41. № 2. Отд. 3. С. 119.
Коррер Белль. Некролог // Современник. 1855. Т. 52. № 7. Отд. 5. С. 183–185.
Мезьер А.В. Библиографический указатель переводной беллетристики в связи с историей литературы и критикой. СПб, 1897.
Парчевская Б., *Рознатовская Ю.* Сестры Бронте в русских переводах и критике. Библиографический указатель (1849–1998) // Бронте Ш. Эмма. М., 2001.
Петерсон О.М. Семейство Бронте (Керрер, Эллис и Актон Белль). СПб, 1895.
Смерть Коррер Белля // Отечественные записки. 1855. Т. 100. № 5. Отд. 5. С. 50–51.
Сыскина А.А. Переводы XIX века романа «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте: передача характера и взглядов героини в переводе 1849 года Иринарха Введенского // Вестник Томского государственного политехнического университета. 2012. № 3 (118). С. 177–182.
Тур Е. Жизнь Шарлотты Бронте (Коррер-Белля), автора «Дженни Эйр», «Шерли» и «Вильет» // Русский вестник. 1857. Т. 9: Современная летопись. С. 109–119.
Тур Е. Мисс Бронте, ее жизнь и сочинения // Русский вестник. 1858. Т. 18. Декабрь. Кн. 2. С. 564.
Чуйко В. Английские романисты // Женский вестник. 1866. № 2. С. 4.
Brontë Ch. Jane Eyre. Dover Thrift Editions. Courier Corporation, 2012.
Fraiman S. Unbecoming Women: British Women Writers and the Novel of Development. N.Y., 1993.

Natalya V. Sarana

RUSSIAN JANE EYRE: AN ECHO OF CHARLOTTE BRONTE IN YU.V. ZHADOVSKAYA'S ZHENSKAYA ISTORIYA ('The Story of a Woman')

National Research University Higher School of Economics, *School of Philology*, *Moscow*, *Staraya Basmannaya St*, *21/4*, *105066*

The history of Ch. Brontë' reception in Russia has been studied; Y.V. Zhadovskaya was mentioned inter alia; however, the impact of Brontë on

Zhadovskaya's writing have never been discussed thoroughly. The subject of this article the possible influence of "Jane Eyre" in Zhadovskaya's novel "Women's history" (1860), its causes and meaning, forms of its manifestation; it is shown how and why Bildungsroman was in demand regarding women emancipation.

Plot analysis reveals that the novel in question is significantly different from author's previous work: in her early prose, autobiographical to some extent, Zhadovskaya related "simple cases" (see, for instance, "The Simple Story", 1847) of first love and first disappointments; but in "A Story of a Woman" (1860) the love plot is only a subplot, even not its main part, and the whole story is not simple at all.

"A Story of a Woman" and "Jane Eyre" are comparable in different levels (plot, genre, narrative), so it is possible to suggest that the reception was conscious; perhaps Zhadovskaya was influenced not by the English text directly, but by the Russian translation, made in 1849 by I.I. Vvedensky, who made the novel more clearly didactic than the original had been.

Zhadovskaya borrows from Brontë both some plot moves (the choice of the profession of governess could already refer to the famous English novel) and some key metaphors.

Key words: Ch. Brontë, Y.V. Zhadovskaya, Bildungsroman, biographical myth, narrative, reception, translation.

About the author: *Natalya V. Sarana* — PhD Candidate, School of Philology, National Research University Higher School of Economics (e-mail: sara.tasha@gmail.com).

References

Angliiskie i severo-amerikanskie zhurnali I knigi. *Otechestvennye zapiski*, 1857, V. 114, № 10, V, p. 94.

"Angliiskaya belletristika ponesla znachitel'nuyu poter'u: ona lishilas' Korrer Bell". *Biblioteka dlja tschtenija*, 1855, V. 131, № 4, IV, pp. 72–76. (In Russ.)

Jenny Ir. Roman. Perevod s angliiskogo I. *Otechestvennye zapiski*, 1849, V. 64, № 6, I, pp.175–250; V. 65, № 7, pp. 67–158; № 8, pp. 179–262; V. 66, № 9, I, pp. 65–132; № 10, I, pp.193–330.

Bibliographicheskiy ukazatel' istorii russkoi I vseobchei slovesnosti. Compiled by V. I. Mezhov. SPb, 1867.

Jane Eyre, roman Korrer Bellya. *Moskvityanin*, 1853, № 5, V, pp. 31–32.

Druzhinin A.V. Literaturniye besedi I paradoksi Inogorodnego podpischika. Po povodu Korrer Bellya I ego romana "Vil'et". *Biblioteka dlja tschtenija*, 1856, V. 140, № 12, III, pp. 99–120.

Druzhinin A.V. *Pis'ma ob angliiskoi literature.* Druzhinin A.V. Sobranie sochinenii v 8 tomakh. SPb, 1865. V. 5, pp. 333–349.

<Druzhinin A.V.> *Korrer Bell i ego roman "Shirley".* Biblioteka dlya chteniya. 1853. T. 117. № 1. Otd. 2. S. 14–17.

Korrer Bell. *Nekrolog. Sovremennik*. 1855. T. 52. № 7. Otd. 5. S. 183–185.

Zhadovskaya Y.V. Zhenskaya instoria. Vremya, 1861, V. I, pp. 261–355; V. 2, pp. 5–64, 329–410.
Zametki ob anglijskoj literature. Biblioteka dlya chteniya. 1857. T. 141. № 2. Otd. 3. S. 119.
Korrer Bell. *Nekrolog. Sovremennik*. 1855. T. 52. № 7. Otd. 5, ss. 183–185.
Mezier A.V. *Bibliographicheskiy ukazatel' perevodnoy belletristiki v svyazi s istoriey literatury I kritikoi.* SPb, 1897.
Parchevskaya B., Rosnatovskaya Y. *Sestri bronte v russkikh perevodakh I kritike. Bibliographicheskiy ukazatel'* (1849–1998). Emma: roman, Charlotte Bronte and Another Lady. Compiled by I.N. Vasil'eva i Y.G. Fridshtein; ed. by E.Y. Genieva. M., 2001.
Peterson O.M. *Semeistvo Bronte* (*Kerrer*, *Allis I Akton Bell*). SPb, 1895.
Smert' Korrer Bellya. *Otechestvennye zapiski*, 1855, V. 100, № 5, V, pp. 50–51.
Syskina A.A. Perevodi XIX veka romana "Jane Eyre" Charlotte Bronte: peredacha charactera i vzglyadov geroini v perevode 1849 goda Irinarcha Vvedenskogo. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo politechnicheskogo universiteta*, 2012, № 3 (118), pp.177–182.
Tur E. Zhizn' Charlotty Bronte (Korrer-Bellya), avtora "Jenny Eyre", "Sherly" i "Viliet". *Russkiy vestnik*, 1857, V. 9, Sovremennya letopis' [Modern chronicle], pp.109–119.
Tur E. Miss Bronte, ee zhizn' I sochinenia. *Russkiy vestnik*, 1858, V. 18, December, Book 2, p. 564.
Chuyko V. Angliiskie romanisti. *Zhenskiy vestnik*, 1866, № 2, p. 4.
Brontë, Charlotte. Jane Eyre. Dover Thrift Editions. Courier Corporation, 2012.
Fraiman, Susan. *Unbecoming Women*: *British Women Writers and the Novel of Development*. N.Y., 1993.

РЕЦЕНЗИИ

А.В. Кравченко

Рецензия на кн.: КОШЕЛЕВ А.Д. ОЧЕРКИ ЭВОЛЮЦИОННО-СИНТЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА. М.: Издательский Дом ЯСК, 2017. 528 с. (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning.)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет»
664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1

Разрабатываемая А.Д. Кошелевым новая теория языка рассматривается и оценивается с позиций наметившегося в современной когнитивной науке парадигмального сдвига от анализа к синтезу и диктуемой им необходимости междисциплинарных подходов к исследованию языка.

Ключевые слова: деятельность; язык; сенсорный подъязык; функциональный подъязык; прототип; функция, базовый концепт; развитый концепт; языковой онтогенез; антропогенез.

Книга состоит из предисловия, введения, шести глав, списка литературы и пяти указателей. В предисловии автор объясняет, что разработка новой теории необходима для преодоления фундаментальных изъянов лингвистических подходов второй половины XX в., приведших теоретическую лингвистику к кризису; яркое проявление этого кризиса — одновременное существование множества противоречащих друг другу теорий языка.

Введение является очерком разрабатываемой эволюционно-синтетической теории языка (далее — ЭСТЯ) и состоит из трех частей. В первой части обрисовываются основы ЭСТЯ, которая базируется на двух положениях: (1) язык изучается как компонент элементарной модели человека «Мышление — **Деятельность** — Язык», в которой Деятельность — это главный компонент, а Язык — зависимый; поэтому изучение языка тесно связано с изучением других компонентов; (2) компоненты модели исследуются в онтогенезе, что позволяет проследить трансформацию исходно синкретичных детских образований (восприятия, представления мира и др.) в системы взаимосвязанных компонентов. В результате язык предстает как

Кравченко Александр Владимирович — доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ) (e-mail: sashakr@hotmail.com).

совокупность двух последовательно возникающих составляющих: Язык = Универсальный сенсорный подъязык + Этноспецифичный функциональный подъязык, где сенсорный подъязык используется для описания «видимого» (доступного чувственному восприятию) мира, а функциональный подъязык – для описания мыслимого («постигаемого разумом») мира.

Усвоение родного языка начинается у детей с освоения сенсорного языка – слов и фраз, с помощью которых ребенок описывает наблюдаемые ситуации взаимодействия Агенса с целыми предметами, опираясь на хранящуюся в его памяти перцептивную модель мира. Эта модель универсальна и формируется у ребенка до и независимо от языка в результате его когнитивного развития. Впоследствии воспринимаемые ребенком синкретичные ситуации дифференцируются на предметные и двигательные протоконцепты – синкретичные представления предметов и действий, у которых еще не дифференцировались визуальная и функциональная составляющие, а к концу второго года протоконцепты превращаются в базовые концепты – представления предметов и действий с дуальной структурой «Прототип (типичный образ) ← Функция (интерпретация образа)». Они становятся исходными значениями сенсорной лексики (*стул*, *дерево*, *банан*, *озеро*, *бежать*, *есть*, *копать*, *зеленый*, *деревянный*); ее референты доступны прямому (внеконтекстному) распознаванию только на основе своего внешнего вида. В результате у ребенка полутора-двух лет формируется следующая модель человека:

Представление мира = Перцептивная модель мира;

Язык = Сенсорный язык;

Деятельность = Пространственные действия.

В процессе последующего этапа когнитивно-языкового развития ребенка, в котором компоненты модели тесно взаимодействуют друг с другом, все они дополняются новыми составляющими. Так, базовые концепты трансформируются в партитивные — системы частей базовых концептов, структура которых отражает отношение иерархии «главный — дополнительный» между их частями. Тем самым развиваются исходные значения сенсорной лексики, дополняясь партитивными составляющими. С ростом числа функциональных понятий сенсорный язык получает функциональное расширение, а в дополнение к перцептивной модели начинает формироваться функциональное представление о мире. Благодаря этому прежние действия ребенка дополняются множеством сугубо человеческих, предметных (по Н.А. Бернштейну) действий, требующих взаимодействия с отдельными частями предмета (застегивать липучки на обуви, собирать паззлы и под.). Модель мира у трехлетнего ребенка принимает следующий вид:

Представление мира = Перцептивная модель + Функциональное представление;

Язык = Сенсорный язык + Функциональный язык;

Деятельность = Пространственные действия + Предметные действия.

Это — минимальная трехкомпонентная модель человека, которая становится неадекватной при исключении из нее любого элемента. Ее адекватность повышается при включении следующих трех компонентов: мозгового — фиксирующего онтогенетическое развитие мозговых субстратов; социального — отражающего влияние социума на развитие ребенка; анатомического. При этом главным компонентом остается Деятельность, успешную реализацию которой призваны обеспечить все остальные компоненты. Выдвигается гипотеза о двух генетически обусловленных этапах развития ребенка: прачеловеческом (конец первого — конец второго года) и человеческом (конец второго — конец третьего года), на котором сугубо человеческие предметные действия обеспечиваются предметными и двигательными партитивными концептами, а в лексиконе человеческого языка содержатся функциональные имена (*сорняк*, *драчун*, *соня*, *лопает* [*ест*], *хныкает*, *учит*, *красивый*), обозначающие референтные классы, не имеющие общего прототипа и потому недоступные непосредственной идентификации — в отличие от сенсорного лексикона языка прачеловека, в котором функциональных имен нет. Кроме того, однозначная лексика сенсорного языка становится многозначной, дополняясь производными (метафорическими и метонимическими) значениями. Опираясь на известные работы С. Дробышевского, А.В. Маркова и Е.Н. Панова, автор дает общую схему антропогенеза как последовательности чередующихся эволюционных скачков и эволюционных стадий, а эволюционным критерием каждого скачка, порождающего новый вид гоминид, выступает качественное расширение круга деятельности прежнего вида.

Во второй части введения модель мира человека получает дальнейшее развитие на примерах анализа сенсорной лексики. В третьей части описание сенсорного языка продолжается уже на уровне сенсорных грамматических единиц, значениями которых становятся грамматические концепты с той же структурой («Прототип ← Функция»), которая характерна для сенсорной лексики. Здесь поясняется процесс усвоения ребенком сенсорных значений: поскольку эти значения уже присутствуют в виде концептов в детском представлении мира, главная задача ребенка заключается в соотнесении слышимых слов с этими концептами-значениями; этот же механизм действует и при усвоении грамматических единиц. Примерами сенсорных грам-

матических значений являются глагольная переходность, структура двухсловного предложения, падеж, время, число, вид, наклонение, залог. Подчеркивается, что сенсорный язык — исходная и вполне самостоятельная часть человеческого языка, а все остальное – функциональное расширение сенсорного языка, или функциональный язык. Рассматривая лексические и грамматические функциональные единицы, значения которых являются функциональными дериватами сенсорных единиц, автор подчеркивает, что именно благодаря им язык обретает одно из своих фундаментальных свойств – многозначность языковых единиц.

В конце введения автор предлагает объяснение известного парадокса: поразительное многообразие и одновременно единство языков. Он объединяет идеи универсальной грамматики Н. Хомского с ее принципами и параметрами и подход к языку Аристотеля. Автор полагает, что в основе единства языков лежит универсальная перцептивная модель мира, а сенсорный язык играет роль начальной стадии языка с установленными параметрами. Таким образом, языковое разнообразие множества конкретных языков обусловлено разнообразием их сенсорных языков, представляющих собой разные способы кодирования универсальной перцептивной модели мира. В заключительном замечании еще раз подчеркивается подчиненный статус языка в модели человека, определяющий его главную функцию – «помогать реализации общей цели модели, а именно: а) участвовать в осмыслении и планировании различных видов деятельности, т.е. способствовать человеческому мышлению, и б) обеспечивать описание этой деятельности другим ее участникам, т.е. служить средством коммуникации» [с. 108].

В следующих за введением главах отдельные положения ЭСТЯ освещаются и развиваются более детально. В первой главе приводятся доказательства того, что лингвистика находится в глубоком кризисе, из которого надо срочно искать выход; таким выходом может послужить построение эволюционно-синтетической теории языка.

Во второй главе излагаются принципы описания основных значений сенсорной лексики. На примере существительных, обозначающих «видимые» предметы и физические действия, рассмотрена процедура определения основного (= сенсорного) значения слова и категории его прямых референтов. Показывается, что словарные и научные толкования сенсорных слов, как правило, описывают лишь прототипический компонент основного значения слова, а описание главного — функционального — компонента в толкованиях либо отсутствует, либо редуцировано.

Третья глава посвящена базовым концептам как нейробиологическим кодам памяти. Взяв за основу понятие «базовый концепт», предложенное в исследованиях Э. Рош, К. Мервис, Д. Лакоффа и др. и имеющее, в случае предметного концепта, формулу «концепт X = форма + действие человека с ней», автор видоизменяет его структуру, добавляя к визуальной форме предмета его функцию, а к визуальному действию — психофизическое состояние человека, осуществляющего это действие. Несмотря на то что предметные концепты базового уровня принято считать исходными таксономическими единицами, автор показывает, что они на самом деле вторичны, так как определяются через более элементарные когнитивные единицы — двигательные концепты.

Далее кратко излагаются результаты нейробиологических исследований Д. Циня [2007], в которых экспериментальным путем выявлен механизм, лежащий в основе памяти и состоящий в том, что те или иные взаимодействия организма со средой отображаются в активации отдельных групп нейронов (нейронных клик). При многократном повторении однотипных событий их типизированный код памяти (в виде ансамбля клик) переходит из эпизодической в долговременную память[1]. Анализируемое автором психофизическое состояние человека (например, при сидении, ходьбе, беге) рассматривается как нейронный код долговременной памяти, т.е. двигательный концепт, включающий три компонента: кинематику, динамику и мотив (цель) действия, соответствующие трем этапам распознавания действия. Трехкомпонентная структура действия противопоставляется, как более адекватная, двухкомпонентной структуре «кинематика — цель», постулируемой теорией зеркальных нейронов Д. Риццолатти и К. Синигалья.

В четвертой главе описываются прииненный генитив, глагольная переходность и залоговые конструкции как элементы сенсорной грамматики. Автор показывает, как базовая структура концепта влияет на корректность/некорректность употребления конструкций с прииненным генитивом (например, *дверь дома*/**антенна дома*, *ручка двери*/**глазок двери*). Выдвигается гипотеза, что во множестве грамматических единиц имеются сенсорные единицы, и их значения структурно и генетически сходны с лексическими значениями. Доказательству этой гипотезы посвящены разделы о глагольной переходности и залоге.

[1] Выявленный Д. Цинем механизм подтверждает предложенный ранее теоретический механизм накопления опыта/знания как сохраняющихся во времени специфических состояний активности нервной системы, вызванных взаимодействиями [Кравченко, 2001: 196; Kravchenko, 2008: 98].

В пятой главе обобщаются и получают дальнейшее развитие основные положения, сформулированные в предыдущих главах. Вводятся такие понятия, как развитый концепт, отношение развития, два уровня иерархии развитого концепта, когнитивный конструктор как исходный язык мысли и др. Рассматривается процесс концептуализации предметных свойств (цвета, размера, формы), в результате которого расширяется словарь элементарных когнитивных единиц ребенка; показывается аналогичность структуры двигательного концепта, задающего базовую ситуацию, структуре развитого предметного концепта и то, как базовые ситуации дифференцируются и превращаются в актантные ситуации с двигательным концептом как главным элементом.

Обращаясь к распространенному пониманию языка мысли как универсальной, независимой от конкретного языка системы концептов и отношений, посредством которых человек представляет свои мысли (структуры концептов) и языковые значения, автор указывает на разделенность перцептивного и концептуального уровней мышления, характерную, например, для Естественного семантического метаязыка А. Вежбицкой. Подобную разделенность помогает преодолеть отождествление языка мысли с когнитивным конструктором, который содержит единицы обоих этих уровней: перцептивные «атомы», или прототипы, представляющие перцептивный мир, и функциональные (интенциональные) «атомы» — человеческие осмысления этих прототипов, в дополнение к которым вводится отношение интерпретации, соотносящее с прототипами приписываемые им функции. Тем самым создаются дуальные комплексы вида «Прототип ← Функция», которые становятся базовыми («молекулярными») структурами предлагаемого языка мысли. Различие между сенсорными и функциональными понятиями лежит в основе дуальной структуры представления мира и языка, при этом если перцептивное представление универсально и не зависит от конкретного языка, функциональное представление этноспецифично, так как является результатом влияния родного языка и жизненного уклада этноса, в котором растет ребенок.

Шестая глава посвящена тому, как структура видов деятельности этноса предопределяет эволюцию языка. Опираясь на теорию Л. Моргана, автор показывает двухэтапный процесс возникновения языка и его социальной эволюции: от сенсорного языка сообщества пралюдей к обыденному языку гомогенного этноса, не имеющего ни одного профессионального вида деятельности, к современному языку гетерогенного этноса с множеством профессиональных видов деятельности. При этом с каждым качественно новым видом

профессиональной деятельности, появляющимся в гетерогенном этносе, связан новый компонент представления мира и новый язык, его обслуживающий. Этот язык служит донором для обновления прежнего языка, т.е. культура оказывает влияние на язык.

Книга читается с интересом, поддерживаемым как самими принципиальными идеями, заложенными в ЭСТЯ (которые можно оценивать по-разному), так и подробным анализом многочисленных примеров, иллюстрирующих выдвигаемые положения. Главное достоинство книги в том, что, заявляя о глубоком кризисе, в котором пребывает теоретическая лингвистика, автор одновременно предлагает путь выхода из него, и направление этого пути намечено в ЭСТЯ. Автор предлагает перестать рассматривать язык как нечто внеположное человеку, а подходить к нему как неотъемлемой части человеческого мышления и деятельности в целом. Это означает переход от идеологии аналитизма к синтетизму и диктуемой им необходимости междисциплинарных подходов к исследованию языка.

Выделение автором сенсорного подъязыка и функционального подъязыка в языковом онтогенезе очень важно в методологическом отношении, и понимание этого можно найти еще у Дж. Локка [1960], т.е. намного раньше, чем у А.С. Шишкова, на которого в этой связи ссылается автор. Используемое понятие сенсорного языка и то, как автор понимает его роль в языковом онтогенезе, перекликаются с эволюционной моделью относительной иерархии знаков Ч. Пирса (икона → индекс → символ), в которой, как подчеркивает Т. Дикон [Deacon, 2011], символическая функция языкового знака становится возможной лишь благодаря ее укорененности в индексальной референции. Об исконно присущей словам естественного языка индексальности писали в свое время Б. Рассел, Г.-Н. Кастанеда, У. Куайн[2] и др., но должного внимания эта чрезвычайно важная для общей теории языка мысль в XX в. не получила. В книге она снова ставится в повестку дня, намечая важный вектор в развитии ЭСТЯ.

То, что компонент «Деятельность» в когнитивной модели человека играет главную роль, не подлежит сомнению. Однако сама модель, в которой Язык противопоставлен Деятельности как зависимый компонент основному, вызывает вопрос: если Деятельность = Пространственные действия + Предметные действия, т.е. Язык и Мышление не являются Деятельностью, то в чем их неразрывная связь с Деятельностью и что служит основанием для рассмотрения Языка именно как зависимого от Деятельности? Правда, автор

[2] «Членение мира на сущности происходит не сразу. Опорными точками в исходной концептуальной схеме являются увиденные предметы, а не впечатления от них» [Куайн, 1986: 24].

замечает, что «деятельность человека не ограничивается пространственными и предметными действиями. Прежде всего здесь имеются в виду речевые действия. Но они требуют отдельного рассмотрения» [с. 40]. И хотя в книге речевая деятельность упоминается не раз, ее «отдельного рассмотрения» читатель так и не находит, и остается непонятным, какое место в Деятельности занимают «речевые действия», равно как и соотношение между языком и речью — хотя закрадывается подозрение, что автор по инерции использует привычную соссюровскую дихотомию. Все это позволяет предположить нежелание (возможно, подсознательное) отойти от устоявшегося воззрения на язык как знаковую систему, внешнюю по отношению к человеку и выполняющую инструментальную функцию по передаче информации. Отчасти подтверждением этому служат те места в книге, где говорится о «внешних выражениях» грамматических значений, уже сформированных и хранящихся в модели мира ребенка, о свойстве предложений сенсорного языка передавать слушающему свои референтные ситуации или о сенсорных языках вообще как разных способах кодирования универсальной перцептивной модели мира. В последнем случае у читателя возникает еще один вопрос: если языковое разнообразие множества конкретных языков обусловлено разнообразием их сенсорных языков, но при этом перцептивное представление универсально и не зависит от конкретного языка, в чем истоки разнообразия сенсорных языков?

Трудно согласиться и с пониманием главной функции языка, которая, по мнению автора, состоит в том, что он способствует человеческому мышлению (осмыслению и планированию различных видов деятельности) и обеспечивает эксплицитное описание этой деятельности и представлений о мире другим ее участникам, служа средством коммуникации и основой взаимопонимания. Подобное понимание языка как знаковой системы, «репрезентирующей» нашему сознанию «объективный» мир, уходит корнями в философию объективного реализма, основанную на картезианском рационализме. Современная не-картезианская (биологически ориентированная) когнитивная наука от этой философии отказывается [см.: Кравченко, 2015].

В процессе чтения книги возникает ощущение, что автору близка идеология когнитивизма второго поколения, основанная на понимании воплощенности (корпореальности) когниции [Varela, Thompson, Rosch, 1991], однако ощущение это «смазывается» одним важным обстоятельством, характеризующим подход автора к мышлению и языку: мышление (концептуальные структуры) понимается как представление знаний (что неизбежно при рационалистическом

подходе к когниции), которые выводятся «вовне» посредством языка, функция которого в этом и состоит; при этом, однако, исходные лексические значения парадоксальным образом уже присутствуют в виде концептов, и задача ребенка на раннем этапе языкового развития состоит в соотнесении слышимых слов с этими концептами-значениями.

Не имея принципиальных возражений против предлагаемой автором схемы эволюционного развития человека, выскажу, все же, два соображения «по поводу». Во-первых, нормальные условия развития ребенка в современном обществе отличаются от реконструируемой схемы антропогенеза тем, что язык как особый вид деятельности, в которую ребенок погружается буквально с первых минут своей жизни и без которой его полноценное когнитивное развитие невозможно, есть данность, фактор окружающей (социальной) среды, влияние которого на развитие интеллекта ребенка и всего, что с этим понятием связано (в том числе различные виды предметной деятельности) доказано многочисленными исследованиями (и автор с этим не спорит), тогда как существующие глоттогенетические гипотезы исходят, как правило, из параллельного развития интеллекта и языка [см.: Deacon, 1997], а это уже нечто совсем другое. Во-вторых, вряд ли можно предположить, что трансформация исходно синкретичных детских образований в системы взаимосвязанных компонентов происходит без влияния языка, опредмечивающего человеческий мир, тем более что в предлагаемой автором модели мира ребенка язык занимает промежуточное положение между представлением мира и деятельностью.

Считаю, что разрабатываемая автором теория и предложенная им модель человека существенно выиграла бы, если бы автор смог преодолеть навязанное структурализмом понимание языка как средства передачи мыслительного содержания, которое давно и обоснованно подвергается критике [см., например: Harris, 1981; Гаспаров, 1996; Kravchenko, 2017]. Поскольку деятельность человека как живой системы в общем и целом основана на взаимодействиях с окружающей средой, позволяющих регулировать двигательное поведение организма (включая пространственные и предметные действия), имеются весомые основания подходить к языку как видоспецифичной (характерной исключительно для вида *Homo sapiens sapiens*) **Деятельности**, имеющей ориентирующий характер и эволюционно связанной с биологической (ориентирующей) функцией органов чувств высших животных [см.: Morris, 1938; Maturana, 1978]: «Как человеческие существа, мы суть существа, вовлеченные в языковую деятельность (languaging), и наша человечность коренится в языке» [Maturana, Mpodozis, Letelier, 1995: 23]. Но в таком случае

элементарная модель человека, предложенная автором, нуждается в серьезной доработке.

Тем не менее, несмотря на ряд «узких мест», не все из которых здесь представляется возможным проанализировать, в целом книгу надо оценить положительно как заметный вклад в развитие отечественной лингвистической мысли, способствующий ее дальнейшему движению вперед по пути познания языка, а, следовательно, и человека. Уверен, что она будет интересна и полезна всем, кто задается вопросом о ближайшем и отдаленном будущем лингвистики как науки.

Список литературы

Гаспаров Б.М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.

Кравченко А.В. Знак, значение, знание: Очерк когнитивной философии языка. Иркутск, 2001.

Кравченко А.В. Объективный реализм и биология познания: эпистемологический поворот // Гуманитарные чтения РГГУ–2014: Сб. мат. М., 2015. С. 697–709.

Куайн У.В.О. Слово и объект // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. М., 1986. С. 24–97.

Локк Дж. Опыт о человеческом разуме // Избр. философские сочинения. Т. 1. М., 1960.

Цинь Д. Код памяти // В мире науки. 2007. № 11. С. 18–25.

Deacon T.W. The Symbolic Species: The co-evolution of language and the human brain. W.W. Norton & Co, 1997.

Deacon T.W. The symbol concept // M. Tallerman, K. Gibson (eds.). The Oxford Handbook of Language Evolution. Oxford, 2011. P. 393–405.

Harris R. The Language Myth. L., 1981.

Kravchenko A.V. Biology of cognition and linguistic analysis: From non-realist linguistics to a realistic language science. Frankfurt/Main etc., 2008.

Kravchenko A.V. Making sense of languaging as a consensual domain of interactions: Didactic implications // Intellectica. 2017. № 2 (68). P. 175–191.

Maturana H.R. Biology of Language: The Epistemology of Reality // G. Miller, E. Lenneberg (eds.). Psychology and Biology of Language and Thought. N.Y., 1978. P. 28–62.

Maturana H., *Mpodozis J.*, *Letelier J.C.* Brain, language, and the origin of human mental functions // Biological Research. 1995. № 28. P. 15–26.

Morris C.W. Foundations of the theory of signs // O. Neurath, R. Carnap, C.W. Morris (eds.), International Encyclopedia of Unified Science. Vol. 1, part 2. Chicago, 1938.

Varela F.J., *Thompson E.*, *Rosch E.* The Embodied Mind: Cognitive science and human experience. Cambridge, MA, 1991.

Alexander V. Kravchenko

Book Review: KOSHELEV, A.D. ESSAYS ON THE EVOLUTIONARY-SYNTHETIC THEORY OF LANGUAGE. M.: YaSK Publishing House, 2017

Irkutsk State University,
1 Karl Marx St., *Irkutsk*, *664003*

The new linguistic theory developed by Alexei Koshelev is described and evaluated in view of the paradigm shift from analysis to synthesis that begins to show in contemporary cognitive science and calls for interdisciplinary approaches to language studies.

Key words: activity; language; sensory sublanguage; functional sublanguage; prototype; function; basic concept; developed concept; language ontogeny; anthropogeny.

About the author: *Alexander V. Kravchenko* — Full Professor, Department of English Philology, Institute of Philology, Foreign Languages and Media-Communication (e-mail: sashakr@hotmail.com).

References

Gasparov B.M. *Jazyk*, *pamjat'*, *obraz. Lingvistika jazykovogo sushchestvovanija*. [Language, memory, image. The linguistics of existing in language] Moscow, 1996 (in Russ.)

Kravchenko A.V. *Znak*, *znachenie*, *znanie*: *Ocherk kognitivnoj filosofii jazyka* [Sign, meaning, knowledge: An essay in the cognitive philosophy of language]. Irkutsk, 2001 (in Russ.). English edition: Frankfurt/Main etc., 2003.

Kravchenko A.V. Ob'ektivnyj realizm i biologija poznanija: èpistemologichaskij povorot [External realism and biology of cognition: an epistemological turn] // *Gumanitarnye chtenija RGGU–2014*. Book of Proceedings. Moscow, 2015, pp. 697–709 (in Russ.)

Quine W.V.O. *Word and Object*. N. Y.; London, 1960.

Locke J. *An Essay Concerning Human Understanding*. London, 1960.

Tsien J. The memory code. *Scientific American*, July 2007, pp. 52–59.

Deacon T.W. *The Symbolic Species*: *The co-evolution of language and the human brain*. W.W. Norton & Co., 1997.

Deacon T.W. The symbol concept. In M. Tallerman, K. Gibson (eds.), *The Oxford Handbook of Language Evolution*. Oxford, 2011, pp. 393–405.

Harris R. *The Language Myth*. London, 1981.

Kravchenko A.V. *Biology of cognition and linguistic analysis*: *From non-realist linguistics to a realistic language science*. Frankfurt/Main etc., 2008.

Kravchenko A.V. Making sense of languaging as a consensual domain of interactions: Didactic implications. *Intellectica*, 2017, № 2(68), pp. 175–191.
Maturana H.R. Biology of Language: The Epistemology of Reality. In G. Miller, E. Lenneberg (eds.), *Psychology and Biology of Language and Thought*. N. Y., 1978, pp. 28–62.
Maturana H., Mpodozis J., Letelier J.C. Brain, language, and the origin of human mental functions. *Biological Research*, 1995, № 28, pp. 15–26.
Morris C.W. Foundations of the theory of signs. In O. Neurath, R. Carnap, C.W. Morris (eds.), *International Encyclopedia of Unified Science*, vol. 1, part 2. Chicago, 1938.
Varela F.J., Thompson E., Rosch E. *The Embodied Mind*: *Cognitive science and human experience*. Cambridge, MA, 1991.

Ю.В. Николаева

Рецензия на кн.: Г Р И Ш И Н А Е Л Е Н А. РУССКАЯ ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ С ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. КОРПУСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. М.: Издательский Дом « Языки славянской культуры», 2017. 744 с.[1]

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Книга Е.А. Гришиной представляет собой собрание корпусных исследований жестов рук, а также движений головы и взгляда. На материале созданного автором мультимедийного корпуса (МУРКО), входящего в состав Национального корпуса русского языка, изучаются свойства жестов, встречающихся в общении лицом к лицу, и показывается их связь с лексическими, синтаксическими, прагматическими и просодическими характеристиками речи.

Ключевые слова: жестикуляция; мультимодальная лингвистика; мультимедийный корпус русского языка.

Около 100 лет назад визуальная сторона коммуникации заинтересовала лингвистов, и исследования о жестах в коммуникации появились сначала в США, затем в Европе. За это время из второстепенной области языкознания мультимодальные исследования выросли в отдельную большую сферу, связанную корнями с психологией и антропологией, которая сейчас смыкается с робототехникой и когнитивной наукой. При этом книги по невербальной/мультимодальной/полимодальной лингвистике, вышедшие на русском языке, можно пересчитать по пальцам одной руки. О том, что эта сфера — новая для отечественного языкознания, говорит и отсутствие устоявшегося термина. Мы будем придерживаться термина «мультимодальность», который использовала в своей книге и Е.А. Гришина.

Исследования, собранные в книге, выполнены на материале созданного Е.А. Гришиной Мультимедийного русского корпуса

Николаева Юлия Владимировна — кандидат филологических наук, мл. научный сотрудник кафедры теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: julianikk@gmail.com).

[1] Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 14-18-03819 «Язык как он есть: русский мультимодальный дискурс».

(МУРКО), для которого она с нуля разрабатывала принципы формирования, описания и выдачи примеров. Следует отметить, что создание корпуса — сама по себе чрезвычайно трудоемкая работа, необозримая по объему. Учитывая, что до сих пор нет однозначно выработанных и подтвержденных теоретических оснований для описания и классификации жестов, а основные из существующих сейчас в мире подходов неполны, противоречивы и плохо состыкуются друг с другом, аннотация собранных примеров становится особенно интересной научной задачей. При этом перед автором стояла цель описать данные, собранные в МУРКО, таким образом, чтобы они были понятны отечественным лингвистам.

Подход, представленный в книге, заключается в том, что описание жестов опирается на формальные признаки (направления движения по трем осям, траектория движения, конфигурация руки, число рук, участвующих в жесте и т.д.), и затем эти признаки сопоставляются с характеристиками слов, с которыми встретились данные жесты. Этот подход на настоящий момент считается самым многообещающим и только разрабатывается и проверяется в англоязычных исследованиях, подкрепленный, вдобавок, данными современных приборов записи движений. Сложность формального подхода в описании невербальных явлений, равно жестовых и просодических — в том, что носители языка обычно не используют невербальные средства в отрыве от вербальных, и тем более в отрыве от контекста, в котором они появились. В результате мы сталкиваемся с тем, что один признак связан с несколькими часто несовместимыми значениями, при этом носители языка, несомненно, учитывают много других параметров, не попавших в сито контролируемого эксперимента или отобранных корпусных данных. Не очень понятно, как совместить целостность человеческого восприятия и едва ли поддающегося рефлексии использования многообразных средств в общении, не предполагающих дискретизации, с одной стороны, и необходимость независимого анализа отдельных признаков, разложенных по клеточкам таблицы — с другой. Книга Е.А. Гришиной — шаг, указывающий на значимые и стабильные точки в этом океане едва уловимых, неоднозначных и взаимосвязанных признаков.

Е.А. Гришина рассматривает все значимые параметры движений, насколько их возможно объединить в группы, чтобы сделать обобщения на многих примерах. Это позволяет делать неожиданные, интересные и многообещающие выводы о том, как мы используем и понимаем язык, при помощи которого говорим. Выявление корреляций между признаками жестов и контекстами, в которых встречаются движения такого типа, приводит к вполне достоверным, с учетом статистической вероятности, гипотезам о значениях

этих признаков. В современных исследованиях о жестах существуют разные направления, и разные подходы имеют свои преимущества и недостатки. Корпусный метод — достоверный, позволяющий оценить все многообразие существующих явлений, при этом следует отметить, что тщательный анализ каждого отдельного случая не предполагается.

В книге 15 глав, разделенных на четыре большие темы. Введение, открывающее книгу, включает определение жестов, описание их структуры и функциональных типов, определения некоторых других понятий, которые будут использоваться дальше, и описание Мультимедийного русского корпуса (МУРКО). Первая часть, названная «Система русских указательных жестов», рассматривает указания рукой, головой, указательным и большим пальцем и как отдельный тип — указание на себя. В ней рассматриваются самые разные параметры жестов (конфигурация, направление и тип движения) и прагматические и семантические факторы, связанные с этими параметрами. Корпусные данные показывают, что некоторые формальные характеристики жестов связаны между собой: так, указывая на что-то открытой ладонью, человек обычно держит ладонь развернутой вверх, а если использован указательный палец — ладонь скорее будет развернута вниз или вертикально. При этом напряженность руки тоже связана с ориентацией ладони вниз. Выбор между двумя основными конфигурациями — открытая ладонь или указательный палец — обусловлен такими факторами, как определенность/неопределенность референта, единичность/множественность объекта, размер, расстояние до него и даже противопоставление объекта и ситуации. Угол между рукой и телом и напряженность ладони описываются как жестикуляционные обертоны и достоверно связаны с расстоянием до объекта. Иллокутивный тип высказывания и степень активированности референта также влияют на выбор формы жеста. Когда рассматриваются указания большим пальцем, кроме перечисленных факторов оказываются релевантыми, помимо прочих, направление взгляда говорящего в момент речи (на собеседника или на объект) и даже пол говорящего. При рассмотрении автодейксиса — указаний на себя — можно обнаружить другие интересные закономерности. Так, открытая ладонь в сравнении с указательным пальцем чаще сочетается с императивами и вопросами — высказываниями, предполагающими ответные высказывания или другую реакцию адресата.

Вторая часть книги рассматривает изобразительные жесты, которые передают какие-то характеристики объекта или действия: например, рисуют форму, размер, взаимное расположение объектов или траекторию и направление движения. Эти жесты могут быть

очень разными по форме, в зависимости от контекста и намерений говорящего. Таким образом, встает вопрос о выборе параметров, по которым можно было бы сравнивать разнообразные изобразительные жесты. Главы в этой части книги описывают жесты с точки зрения декартовых координат (поперечная, сагиттальная и вертикальная оси), направления движения, основных траекторий (колебательные и круговые движения, прямая и дуга) и конфигурации руки (соединения пальцев, которые в свою очередь делятся еще на несколько типов, соприкосновение рук, кулак). Помимо мануальных жестов, рассматриваются и движения головы (кивок в сторону или вперед, движение головы вперед, поворот головы или указание подбородком). Формальные признаки жестов, как следует из приведенных в книге примеров и обобщающих таблиц, связаны со значением глагольных корней и приставок, грамматическим временем, видом и модальными характеристиками глагола, типом иллокуции и даже синтаксической структурой фразы, которую сопровождал данный жест.

В части, посвященной служебным жестам, рассматриваются такие редко замечаемые вещи, как направление взглядов участников коммуникации, моргания и закрывания глаз. Корпусный материал доказывает, что направление взгляда отвечает за смену ролей говорящего и слушающего, выражает эмфазу или согласие/несогласие, а закрытые глаза или моргания вполне могут быть полнозначным жестом (выражая значение «не видеть» или «исчезновение»), быть аналогом знаков пунктуации или способом выделить важное слово.

Четвертая часть «Сквозные темы в жестикуляции» рассматривает такие темы, как глубинные и поверхностные иллокуции, степень активации референта, его семантические и прагматические характеристики. В главе, посвященной глагольному виду, Е.А. Гришина демонстрирует, что в жестикуляции для видового противопоставления ключевым оказывается параметр длительности жеста, и видовые значения оказываются второстепенными с точки зрения жестикулирующего по сравнению с лексическими и прагматическими.

В завершение можно добавить, что иногда поднимался вопрос, насколько достоверны выводы, сделанные на основе жестов актеров в фильмах, и можно ли эти примеры считать равноценными тем, которые мы видим в повседневной речи. Е.А. Гришина, сравнив жесты из МУРКО и записи бытовых диалогов, доказала, что жесты из мультимедийного корпуса отличаются только более четкой артикулированностью, а все остальные их характеристики (сочетания конфигурации руки, траектории и длительности движения, объединение в один жестовых комплекс движений рук, головы и взгляда) практически не отличаются.

Книга представляет добротный лингвистический метод, опирающийся на корпусный подход. Е.А. Гришина переработала огромное количество литературы по данной теме, намного раньше других поставила вопросы, с которыми сейчас сталкиваются специалисты во всем мире, и предложила их решение. Это касается и того, как строилась работа с данными (отбор всех примеров без исключения, таблицы, статистическая проверка значимости различий) и того, какие корреляции она искала.

Елена Александровна Гришина ушла из жизни в 2016 г. Она не увидела свою книгу изданной, но, несмотря на болезнь, успела подготовить все материалы, включая иллюстрации и оформление обложки. Более чем 700-страничный том представляет исследования, над которыми она работала последние годы, и является настоящей энциклопедией для тех, кто интересуется мультимодальной лингвистикой.

Yulia V. Nikolaeva

Book Review: G R I S H I N A E L E N A.
RUSSIAN GESTURES FROM A LINGUISTIC PERSPECTIVE.
A COLLECTION OF CORPUS STUDIES.
Moscow: Publishing House "Languages of Slavic Culture", 2017. 774 p.

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The book by E.A. Grishina presents a collection of corpus studies of hands, head and eye gaze gestures. Using her "Russian Multimedia Corpus (MURKO)", which is a part of The Russian National Corpus, the author investigates characteristics of gestures used in everyday communication and shows their interrelation with lexical, syntactic, pragmatic and prosodic features of the speech accompanied by them.

Key words: gesticulation; multimodal linguistics; Russian multimedia corpus.

About the author: *Yulia V. Nikolaeva* — Junior Researcher, Department of Theoretical and Applied Linguistics, Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University (e-mail: julianikk@gmail.com).

Т.Б. Радбиль

Рецензия на кн.: Ч Е Р Н Е Й К О Л . О . КАК РОЖДАЕТСЯ СМЫСЛ: СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЕЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ. М.: Гнозис, 2017. 208 с.

Институт филологии и журналистики, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 603950, Россия, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23

В рецензии рассматриваются основные научные идеи книги Л.О. Чернейко под названием «Как рождается смысл: Смысловая структура художественного текста и лингвистические принципы ее моделирования» (М.: Гнозис, 2017. 208 с.). Акцентируется значительная научная новизна и актуальность предложенных и обоснованных в книге принципов моделирования семантического пространства художественного текста, методов определения позиции наблюдателя в тексте и конкретных проблем взаимосвязи «художественного сознания» и «художественного слова» в поле интерактивного взаимодействия текста-письма и текста-чтения.

Теоретической основой предлагаемых Л.О. Чернейко лингвистических принципов моделирования «смысловой структуры текста» является научное понятие «гипертекст», который представляет собой исследовательскую модель текста, выявляющую нелинейные смысловые отношения составляющих его лексических единиц и базирующуюся на их внутритекстовых парадигматических связях. «Квантом» модели гипертекстовой организации текста и проводником в мир смыслов, стоящих за словоупотреблениями, является «текстовая парадигма» — это минимальная внутритекстовая структура, основанная на разновекторных смысловых ассоциативных связях. Л.О. Чернейко также продемонстрировала существенное расширение возможностей использования понятия «наблюдатель» применительно к анализу форм художественного воплощения субъективного пространства и времени посредством постулирования фигуры «метанаблюдателя» (адресата, интерпретатора текста) и включения в исследовательское поле разных видов метафоры-дейксиса.

В качестве достоинств рецензируемого издания также отмечается широта и разнообразие текстового материала для исследования, нетривиаль-

Радбиль Тимур Беньюминович — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры современного русского языка и общего языкознания, Институт филологии и журналистики, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (e-mail: timur@radbil.ru).

ность хода анализа и полученных результатов, серьезные перспективы для их практического применения. Делается общий вывод, что исследование Л.О. Чернейко сочетает научную строгость с художественной яркостью, поэтической образностью и афористичностью.

Ключевые слова: лингвопоэтика; лингвистический анализ художественного текста; нарративная структура; текстовая парадигма; позиция наблюдателя.

Современная лингвистика решительно вторгается в сферы, ранее полагавшиеся для нее запретными. В области трансцендентного и метафизического, куда было дозволено ступать только ноге философа или священника. Современная лингвистика уже научилась ставить правильные вопросы. Даже если они из разряда «вечных». Один из таких вопросов вынесен в заглавие книги Л.О. Чернейко «Как рождается смысл». Эта книга явно выделяется в ряду изданий, посвященных проблематике лингвистического анализа художественного текста, — своей очевидной лингвофилософской ориентацией, так сказать, концептуальной насыщенностью, «сгущенностью» мысли, а также ярко выраженной установкой на **эвристичность** предложенных моделей интерпретации текстов (при условии толкового и внятного применения этих моделей мы сможем из любого текста, не прибегая к затекстовой информации, извлечь не то, «что хотел сказать автор, а то, что он сказал», по выражению Людмилы Олеговны, а точнее говоря — то, «что сказалось им» в процессе порождения текста). И в этом мне видится явное противоречие между заявленным жанром «учебное пособие», который, так сказать, «по умолчанию» предполагает некий облегченный подход к изложению материала и опору на уже устоявшиеся в науке взгляды, и новаторским характером рецензируемой книги, ее концептуального аппарата и нетривиального подхода к принципам анализа языка художественного текста, что, скорее, характерно, для научной монографии. Ну что же, скажем проще, — студентам очень сильно повезет учиться по этой книге. Да и тем, кто уже не студент, тоже...

Итак, «естественной» (в смысле — органично присущей человеческой природе) лабораторией по производству смыслов выступает художественный текст. Условно говоря, есть два альтернативных пути анализа текста. Первый — это «взгляд через телескоп», направленный на выявление тематических и интенциональных «узлов» произведения, его места в ряду других произведений автора, его связей с эпохой, господствующим литературным направлением и традицией, всем тем, что называется «внетекстовое культурное пространство». Второй — это «взгляд через микроскоп», пристально изучающий микроконтексты, слова и выражения, тропы и фигуры, из которых формируется образная структура произведения. Л.О. Чернейко удалось совместить эти два, казалось бы, взаимоисключающих пути

интерпретации «квантовой неопределенности» текста на основе парадигматического подхода, открывающего «большое в малом», доминанты художественного сознания — в сцеплении слов друг с другом. При этом весьма удачными видятся и отдельные, частные «открытия» Людмилы Олеговны, сделанные на материале анализа языка произведений М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова, А.П. Чехова, В. Набокова, А. Белого, О. Мандельштама, И. Бродского, С. Довлатова и др.

Методологические приоритеты Л.О. Чернейко обозначены в части первой **«Принципы моделирования семантического пространства художественного текста»,** где автор обосновывает герменевтический (в подлинном смысле слова) подход к истолкованию «темных», «многосмысленных» мест произведения (а ведь в хорошем произведении все места «темные»), основанный на анализе исключительно «лексико-грамматической информации, которая наличествует в тексте как линейной последовательности языковых знаков без привлечения литературоведчески релевантной информации, такой, например, как исторический контекст, в который вписано художественное произведение временем его создания и публикации, биографические сведения об авторе, включающие информацию и о его психологическом состоянии» (с. 4).

Теоретической основой предлагаемых Л.О. Чернейко лингвистических принципов моделирования «смысловой структуры текста» является нетривиально и необщепринято трактуемое научное понятие «**гипертекст**», которое не имеет никакого отношения к компьютерным приемам организации контента или к метатекстовой рамке словарей и энциклопедий: «гипертекст», по Л.О. Чернейко, представляет собой исследовательскую модель текста, «выявляющую нелинейные смысловые отношения составляющих его лексических единиц и базирующуюся на их внутритекстовых парадигматических связях», которая имплицитно присутствует в языковой ткани текста и выводится путем процедур читательской и/или научной интерпретации (с. 17–19).

«Квантом» модели гипертекстовой организации текста и проводником в мир смыслов, стоящих за словоупотреблениями, является «**текстовая парадигма**» — это минимальная внутритекстовая структура, основанная на разновекторных смысловых ассоциативных связях. Парадигмы могут быть «логическими», т.е. воплощать объединение слов на основе рациональных типов связности — на родо-видовых, иерархических, причинно-следственных, партитивных и других отношений, и «перцептивно-аксиологическими», когда ассоциативные связи языковых единиц текста основаны на «общности восприятия и оценки совершенно разных явлений, что позволяет выстраивать надтекстовые аффективные пространства,

раскрывающие восприятие мира персонажем (или автором как одним из персонажей художественного произведения)» (с. 22–24 и далее). Первый тип парадигм относится к ономасиологическим, а второй — к семасиологическим (субстантивным, адъективным, глагольным).

Предлагаемый Л.О. Чернейко метод лингвистического конструирования перцептивно-аксиологических парадигм основан на выявлении неузуальной сочетаемости имен с предикатами (прилагательными и глаголами), которая позволяет выявить так называемые проективные смыслы (еще один удачный термин Людмилы Олеговны»), формирующие доминанту художественного мира произведения. Семасиологические текстовые парадигмы могут быть двух типов: А — фреймовая и Б — аксиологическая. Для фреймовых парадигм инвариантом является сущее (предмет, идея), а вариантами — предикаты имени сущего (*звезда* у О. Мандельштама), для аксиологических — инвариант (константа парадигмы) — аксиологический предикат, а вариантами — собранные им имена фрагментов мира, заполняющих индивидуальное аффективное поле («унылый» мир А.С. Пушкина, «колющий, ранящий» мир О.Э. Мандельштама, «наплевательский» мир В.В. Маяковского).

Во второй главе первой части, которая посвящена анализу языковой организации повести А.П. Чехова «Скучная история», наше внимание привлекает четкая исследовательская позиция Л.О. Чернейко, которая отражает изменившиеся акценты в стратегиях научного поиска в современной гуманитаристике: согласно новым взглядам, «единственной языковой реальностью признается текст. Поэтому на первое место выходят изучение и раскрытие механизмов смыслопорождения (понимания текста), а не текстопорождения (понимания действительности)» (с. 36). Мысль о том, что смысл рождается в модусе читательского восприятия языковой структуры текста, а не заранее пред-задан сознанием художника в готовом и самотождественном виде, созвучна поискам в русле наиболее востребованных и самых актуальных идей современной парадигмы лингвистического знания, для которой характерна междисциплинарность, когнитивная ориентация и антропоцентризм. Ср. в этом плане высказывание Б.А. Успенского: «При таком понимании смысл существует для слушающего (адресата), но не для говорящего (адресанта). В самом деле, смысл — это явление текста, уже порожденного говорящим, и он определяется в процессе восприятия текста» [Успенский, 2007: 111]. По сути, Л.О. Чернейко строит не теорию содержания, а теорию понимания художественного текста, которая основана на том, что смысл объективируется через сознание читателя и/или исследователя, конструируясь из парадигматически организованных языковых элементов в тексте, существующих в поле

взаимодействия с определенной моделью внетекстовой реальности, которая опять же принадлежит тексту. «Для построения теории понимания художественного текста важным является, с одной стороны, соблюдение герметичности текста, т.е. запрет на привнесение в текст тех смыслов, которые являются результатом не мотивированных единицами текста ассоциаций, с другой — признание текста самодостаточным квантом дискурса» (с. 190).

Данный исследовательский инструментарий успешно продемонстрирован Людмилой Олеговной в оригинальном и тонком анализе интертекстуальных связей между «Скучной историей» А.П. Чехова и «Занятым человеком» В.В. Набокова, который осуществлен в третьей главе первой части. Исключительно ценным в научном плане представляется предложенное Л.О. Чернейко разграничение между тремя базовыми для герменевтического подхода понятиями «понимание», «толкование» и «интерпретация»: «понимание» — это ментальное состояние, возникающее в результате декодирования текста, которое направлено на раскрытие мотивировки его означающего (частный случай — реконструкция такой важной, но внетекстовой составляющей, как замысел автора). Толкование следует за пониманием и предшествует интерпретации. «Толкование» — это индивидуальное понимание, которое обусловливает привнесение в текст своего собственного мировидения через неявные, но присущие тексту (могущие быть выведенными из него) смыслы. «Интерпретация» — это кодирование декодированного смысла текста. Освобожденный смысл вновь упаковывается, т.е. обретает иную форму — метатекст. Интерпретация базируется на понимании текста и является вербализацией его толкования» (с. 53–54). Подобная трактовка является оригинальным и глубоким обобщением семиотических идей Р. Барта, герменевтики П. Рикера, рецептивной эстетики Р. Ингардена и деконструкции Ж. Деррида.

Часть вторая **«Позиция наблюдателя и принципы ее определения»** демонстрирует поистине безграничные возможности использования для реконструкции «художественного сознания», представленного в тексте, понятия **наблюдателя**. Это понятие является лингвистически структурированным коррелятом научного концепта «точка зрения» и выступает как ключевое для описания особенностей художественного пространства и времени. Идея введения «фигуры наблюдателя» в семантическое представление языкового выражения восходит еще к пионерским работам К. Бюлера и Ч. Филлмора, в отечественном языкознании ее активно разрабатывали Ю.Д. Апресян и Е.В. Падучева. Важно, что, по мысли Е.В. Падучевой, наблюдатель имплицируется семантикой многих классов слов и выражений естественного языка [Падучева, 1996], и в этом смысле он в известном смысле «пригово-

рен» к облигаторной актуализации в высказывании, даже если автор по каким-то причинам этого и «не планировал».

Л.О. Чернейко продемонстрировала существенное расширение возможностей использования понятия «наблюдатель» применительно к анализу форм художественного воплощения субъективного пространства и времени посредством постулирования фигуры «**метанаблюдателя**» (адресата, интерпретатора текста) и включения в исследовательское поле разных видов метафоры-дейксиса. В первой главе второй части Л.О. Чернейко подчеркивает: «В центре внимания — субстантивные и глагольные метафоры, кодирующие визуальные восприятия наблюдателя, введенного в художественный текст, и импликатуры этих метафор, возникающие в сознании метанаблюдателя — слушателя или читателя. Нас интересует вопрос: какие лексические единицы и при каких условиях значат в тексте-чтении больше, чем означают в тексте-письме» (с. 69). Опираясь на примеры из текстов М.В. Ломоносова, Б. Пастернака, О. Мандельштама, И. Бродского и др., автор показывает, что **генитивная образная метафора** «вводит субъективное время-длительность (“l’étendue”), геометрическая модель которого — точка, растянутая мыслью»; при этом сопряжение в сознании идей конкретных предметов, приводящее к их перевоплощению, необходимо отличать от соединения идей конкретного предмета и абстрактного (*лишай забвения*, *изнанка правды* в текстах И. Бродского) в **генитивной метафоре-символе**, источник которой — воплощение бестелесного предмета (абстрактной идеи) (с. 102–103).

Во второй главе второй части исследуются модусы сознания наблюдателя как основание типологии пейзажных фрагментов художественного текста. Основываясь на фрагментах из текстов Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, И.А. Гончарова, И.А. Бунина, Л.О. Чернейко показывает ряд несовпадений зрительной позиции наблюдателя текста-письма и наблюдателя текста-чтения (метанаблюдателя) и на этой основе выделяет четыре типа пейзажных фрагментов художественного текста, которым соответствует четыре модуса сознания наблюдателя текста-чтения: перцепция (чистое спонтанное восприятие), постперцепция (восприятие, основанное на воспоминаниях), апперцепция (умозрительное восприятие, основанное на знаниях и опыте) и интроспекция (восприятие, обогащаемое фантазией, мечтами и пр.).

В третьей главе осуществляется анализ связей между видимым и знаемым в позиции наблюдателя, языковым средством выражения которых является субстантивная и глагольная метафора, выступающие как «средство номинации избираемого аспекта интенционального объекта», которые «могут имплицировать информацию о

психическом состоянии наблюдателя» (с. 115). Так, *труха звезд* и *колтун пространства* О. Мандельштама явным образом выражают неприятие воссоздаваемого предмета (или абстрактной сущности) и мира в целом. Делается важный вывод о том, что метафорические средства номинации явлений создаваемого художественным текстом иллюзорного, воображаемого мира «имплицируют физическую и психическую позиции наблюдателя этого мира в сознании мета-наблюдателя, который воображает воображаемое, т.е. в сознании автора текста-чтения» (с. 121).

Исключительно плодотворной выглядит предлагаемая в книге методика «парадигматического анализа» текста при исследовании «языка подсознания», которое представлено в четвертой главе второй части на материале языка произведения А. Белого «Котик Летаев». Именно здесь выражаются сильные стороны обосновываемых Л.О. Чернейко принципов выявления «проективных смыслов», т.е. скрытого, имплицитного содержания, которое стоит за нарушающими автоматизм восприятия метафорическими конструкциями. Чтобы не быть голословным, приведу фрагмент анализа в качестве образца: «Особенности образов-доминант (предметов) не только в их повторяемости, а в том, что, повторяясь в разных “Я” Котика Летаева, они собирают в пучки понятия разных видов: абстрактные, отвлеченные, конкретные, поскольку они могут “прорастать” (то есть ассоциироваться) одинаковыми предметами (а значит, одинаково звучать): *накипь — мир*, *мысли*; *шар — состояние*, *сознание*; *старуха — внетелесное состояние*, *хищная птица*; *обои — звездное небо*, *время*» (с. 135). Применительно к проведенному анализу удачно используется авторское терминосочетание «квантование смыслов» (с. 137): есть темы, разбивающие текст на главы: «Старуха», «Комнаты», «Церковь», «Самосознание» и т.д. Но внутри этих тем есть движение повторяющихся образов и картин. Взаимодействие языка дискурсивного сознания (абстрактные имена) и языка подсознания (имена конкретных предметов в соединении с абстрактными), их сложное переплетение в языке автора составляют лингвистическую особенность повести.

В части третьей **«Слово в системе языка и в художественном тексте»** представлены исследования конкретных проблем взаимосвязи «художественного сознания» и «художественного слова» в поле интерактивного взаимодействия текста-письма и текста-чтения. В первой главе анализируется лексика семантической сферы ‘АЛКОГОЛЬ’ в нехудожественном и художественном типах текста. Л.О. Чернейко убедительно показывает, что метафорические проекции неалкогольной сферы на алкогольную свидетельствуют о существенной трансформации норм повседневной жизни (с. 156).

Во второй главе в контексте идей «паронимической аттракции» В.П. Григорьева рассмотрено необщепринятое научное понятие «лексические ассимиляции», по отношению к которому «паронимическая аттракция» выступает в качестве видового — **фонетическая ассимиляция**. Кроме этого выделяется семантическая аттракция денотативная: — *Нам всем от этой цунами пробка. // — Не пробка, а крышка*, — и синтагматическая аттракция: — *Федя, не лезь на подоконник. Ссыплешься. // — Я не ссыплюсь — я же не сахар* (с. 165). Как это вообще характерно для научного творчества Л.О. Чернейко, из анализа конкретного языкового материала делаются значимые лингвофилософские выводы о природе лингвокреативности, о власти языка над человеком: «Представляется, что языковая креативность говорящего проявляется тогда, когда говорящий ориентирован не столько на информацию о положении дел в мире (на пропозицию), сколько на сам язык, а за этой ориентацией стоит не что иное, как поэтическая функция языка. <...> В «лексической ассимиляции» проявляется творческий потенциал, заложенный в самом языке» (с. 169).

Со второй главой перекликается и содержание третьей главы третьей части, посвященной проблеме лингвопоэтических функций семантической деривации. Речь идет о появлении у слов в некоторых контекстах так называемого «метатекстового значения» как реакции адресата не на фрагмент реальности, а на само словоупотребление. Приводятся типы явлений «метатекста в тексте», выраженных оценочными прилагательными (*холодные*, *угрюмые* названия, *скучные*, *веселые*, *пугающие* слова), развернутыми оценочными суждениями (*Мне не нравится слово «попса»*; *Я не согласен с термином «народные массы»*) или более сложными аксиологическими суждениями (*Он перешел на язык войны*) (с. 179). Делается значимый в научном плане вывод о том, что метаязыковая и поэтическая функции языка в ряде речевых ситуаций не разграничиваются, что, на мой взгляд, свидетельствует о наличии у них неких общих лингвопрагматических механизмов.

Здесь хочется еще раз остановиться на особенностях языка научных работ Л.О. Чернейко, который сочетает научную строгость с художественной яркостью, поэтической образностью и афористичностью. Л.О. Чернейко всегда находит удивительно емкие и запоминающиеся формулировки, как, например, замечательный оборот «референциально бескорыстный» в следующем пассаже: «В речевой коммуникации семантическая деривация проявляет себя как “референциально бескорыстный” текстопорождающий фактор, воплощающий поэтическую функцию языка» (с. 184).

В заключение формулируется суть и предназначенность развиваемой Л.О. Чернейко теории понимания текста: «Изучение восприятия художественного текста обыденным сознанием в процессе чтения

и моделирование этого восприятия на филологической основе составляют вполне самостоятельный и вполне научный объект исследовательского интереса, совпадающего с целями и задачами филологии и позволяющего моделировать смысловую структуру сложного целого (текста-письма), приближая адекватное его воссоздание множественностью текста-чтения» (с. 190).

Воистину — нельзя закончить лучше, чем закончил автор. Читая книгу Л.О. Чернейко, снова и снова понимаешь, что текст выступает и как феноменологически заданный первичный способ существования культуры [Лотман, 2010]. В каком-то смысле способность человека творить тексты — это и есть культура. Человеческий способ адаптироваться к среде, воздействуя на нее. Текст — это своего рода механизм по превращению природной среды в среду культурную. Механизм по преобразованию естественной энтропии в информацию. Механизм по производству смыслов из хаоса мироздания. И мысли Л.О. Чернейко, изложенные в этой книге, являются глубокой, оригинальной и очень перспективной попыткой понять и объяснить нам всем, как же все-таки рождаются эти смыслы.

Список литературы

Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки (1968–1992). СПб, 2010. 703 с.

Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М., 1996. 464 с.

Успенский Б.А. Ego Loquens: Язык и коммуникационное пространство. М., 2007. 320 с.

Timur B. Radbil

Book Review: CHERNEYKO, L.O. THE BIRTH OF SENSE: THE SEMANTIC STRUCTURE OF A LITERARY TEXT AND LINGUISTIC PRINCIPLES OF ITS SEMANTIC STRUCTURE MODELLING. Moscow: Gnosis, 2017. 208 p.

Institute of Philology and Journalism, National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod
Gagarin Av., 23, Nizhni Novgorod, 603950, Russia

The review considers basic scientific ideas of the L.O. Cherneyko's book "The Birth of Sense: The Semantic Structure of a Literary Text and Linguistic Principles of Its Semantic Structure Modelling" (Moscow, Gnosis, 2017. 208 p.).

Significant scientific newness and actuality of presented and substantiated in the book principles of textual semantic space modelling, methods to determine the observer's position in text as well as concrete problems of interrelation between "artistic consciousness" and "artistic consciousness" in the field of interaction between text-writing and text-reading are accented in the review.

The theoretical base of the L.O. Cherneyko's linguistic principles of textual "semantic structure modelling" is scientific concept "hypertext" which is the research text model detecting non-linear sense relations of its lexical units and basing on their in-text paradigmatic connections. The "quant" of hyper-textual organization model of a text as well as the conductor into the world of meanings behind word-usages is "text paradigm" which is a minimal in-text structure based on multi-vector semantic associative connections. L.O. Cherneyko has also demonstrated sufficient extension of potentialities of usage of the scientific concept "observer" applied to analysis of forms of textual embodiment of subject time and space by means of postulating the figure of "meta-observer" (addressee, text) and including metaphor-deixis of various types in the field of the analysis.

As especial worth of the reviewed work the reviewer marks the breadth and variety of textual material for research, the non-trivial process of the analysis and the results obtained, serious prospects for their practical application as well. The reviewer comes at a conclusion that L.O. Cherneyko's research combines scientific strictness with artistic brilliancy, poetic imagery and aphoristic manner.

Key words: linguo-poetics; linguistic analysis of literary text; narrative structure; text paradigm; observer position.

About the Author: *Timur B. Radbil* — Grand Ph. D. in Philological Sciences, Professor, Professor of Department of Modern Russian Language and General Linguistics (e-mail: timur@radbil.ru).

References

Lotman Yu. M. *Semiosfera. Kul'tura i vzryv. Vnutri myslyashchih mirov*. Stat'i. Issledovaniya. Zametki (1968–1992) [Semiosphere. Culture and Explosion. Inside the thinking worlds. Articles. Research. Notes (1968–1992)]. St. Petersburg, 2010. 703 p.

Paducheva E.V. *Semanticheskie issledovaniya* (*Semantika vremeni i vida v russkom yazyke*; *Semantika narrativa*) [Semantic Research (Semantics of Tense and Aspect in Russian; Semantics of Narrative)]. Moscow, 1996. 464 p.

Uspenskij B.A. *Ego Loquens*: *Yazyk i kommunikacionnoe prostranstvo* [Ego Loquens: A Language and communication space]. Moscow, 2007. 320 p.

Н.Т. Пахсарьян

Рецензия на кн.: Г О Л У Б К О В А . В . ПРЕЦИОЗНОСТЬ И ГАЛАНТНАЯ ТРАДИЦИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ САЛОННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII века. М.: ИМЛИ РАН, 2017. 294 с.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

В рецензии представлена книга, посвященная тому феномену французской литературы XVII в., который до сих пор не становился предметом специального и глубокого анализа в отечественном литературоведении. В монографии исследованы социокультурные истоки прециозности (различные трактаты о благородном поведении), этапы становления прециозного и галантного дискурсов, дан анализ основных понятий — “précieuse”, “galant”, “honnête” и т.п., рассмотрено своеобразие художественного воплощения образов прециозниц в наиболее показательных сочинениях XVII столетия, прежде всего — в знаменитой комедии Мольера “Précieuses ridicules”. Многие произведения, посвященные этому явлению культуры классической эпохи, вводятся в отечественный литературоведческий обиход впервые. Наряду с высокой оценкой важных и доказательных наблюдений и выводов монографии, в рецензии отмечены и некоторые недостатки, связанные с переводом нескольких слов и выражений той эпохи, что оказало определенное воздействие и на общую концепцию работы А.В. Голубкова, однако не изменило общей положительной оценки книги.

Ключевые слова: классика; прециозность; галантность; аристократизм; буржуазность; благовоспитанность; формы репрезентации; идеал поведения; перевод.

Монография А.В. Голубкова — важное и актуальное исследование того сегмента французской литературы, который практически не исследован отечественной наукой. Говорить об актуальности изучения литературы классической эпохи — одновременно легко и сложно. Легко — поскольку литературная классика вечно актуальна, связана с ценностями, постоянно востребованными, и проблемами, вновь и вновь решаемыми каждым последующим периодом в

Пахсарьян Наталья Тиграновна — доктор филологических наук, профессор кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: npakhsarian@gmail.com).

истории культуры. Трудно — поскольку далеко не все произведения классического этапа входят в круг тех феноменов, которые принято называть мировой и национальной классикой, уход таких произведений на периферию читательского интереса часто сопровождается и маргинальным положением их в исследованиях специалистов. В то же время, как верно сказал некогда Поль Валери, «никому не дано сказать, что окажется завтра живым или мертвым в литературе, в философии, в эстетике». И если конкретно обратиться к феномену прециозности — на первый взгляд, причудливому и почти забытому явлению французской светской культуры XVII в., то современные гендерные штудии с их интересом к генеалогии феминизма, неожиданным образом открыли необходимость тщательного анализа прециозного движения, его становления, эволюции, репутации в кругу современников, соотношения с галантной традицией и т.д.

Отечественное литературоведение, наследуя настороженно-пренебрежительное отношение советской гуманитаристики к аристократической и светской культуре прошлого, редко обращалось к ее фундаментальному анализу. Следствием недостаточной изученности этого феномена является то, что в нашем литературном обиходе понятия «прециозность», «галантность» и «куртуазность» часто употребляются как синонимы, их историко-культурное и этико-эстетическое различие нивелируется, а терминологическое значение едва ли не вытесняется обыденным (подобно расхожему употреблению слова «романтический», например). Однако, хотя сам автор монографии прежде всего подчеркивает актуальность и новизну своей работы в контексте российского литературоведения, и для зарубежной литературной науки она имеет важное значение: в ней по-новому поставлены вопросы историко-культурной периодизации феномена прециозности (в отличие от расширительного толкования Р. Бре и его последователей, с одной стороны, и от сужающего, хронологически ограничивающего толкования А. Адана), сделана большая работа по определению как самого круга исследуемых источников, так и анализа дискуссионных моментов изучения прециозности в западном литературоведении. Тщательный и подробный обзор предшествующих трудов по истории светской культуры во Франции XVII столетия позволяет определить самостоятельную исследовательскую стратегию, логично выстроить этапы анализа движения прециозности — ее истоков, кульминации и угасания. Скрупулезность анализа, методологическая основательность, сочетание историко-литературной конкретности и теоретической обобщенности, аргументированность выводов отличают данный труд.

В монографии А.В. Голубкова, помимо введения и заключения (а также обширной, практически исчерпывающей библиографии) содержатся две главы, поделенные на разделы. Такая структура представляется логически обоснованной: она позволяет системно организовать обширный материал исследования, сконцентрироваться на анализе узловых проблем. Обращаясь к предыстории формирования прециозной культуры в первой главе, А.В. Голубков закономерно включает в круг исследовательского внимания знаменитый трактат Кастильоне «Придворный», оказавший огромное влияние на формирование светской культуры XVII в., и связанный с этим термин «академия», пускаясь в пространный и основательный обзор академий от времен Платона до конца XVII в. Очень интересен раздел 2.1 («Глаз крота»), где речь идет о медицинских и онтологических основаниях мизогинии от того же Платона, Аристотеля и других античных авторов до эпохи позднего Ренессанса и, в частности, Монтеня. Чрезвычайно важно, что автор всякий раз сопрягает анализ генезиса культурных явлений «академизма», «галантности», «прециозности» с уточнением того, как формируются и функционируют сами названные понятия: стремление выявить тонкие, порой зыбкие терминологические различия, позволяет осуществить сущностную культурологическую дифференциацию и эволюцию этих явлений, отметить точки схождения и нюансы полемики. Установление оттенков смысла в словах и словосочетаниях “galanterie”, “préciosité”, “honnête homme”, “homme galant”, “galant homme”, “femme galante”, “précieuse”, “prude”, “coquette” — дело достаточно сложное, с которым автор монографии успешно справляется, соединяя лингвистический, историко-литературный и культурологический подходы.

В каждом из разделов первой главы А.В. Голубков обращается к рассмотрению большого числа трактатов от античности до Нового времени (помимо уже названных — «О назначении частей человеческого тела» Клавдия Галена, «Галатео, или Об обычаях» Джованни делла Казы, «Светская беседа» Стефано Гуаццо, «Благовоспитанный человек, или Искусство нравиться при дворе» Никола Фаре, «Законы галантности» Шарля Сореля и многие другие), не просто умножая количество анализируемых текстов, а доказательно воссоздавая интеллектуальный контекст, в котором формировалась светская культура во Франции, в частности, уточняя степень знакомства французской публики с названными сочинениями. Завершая главу демонстрацией «обратной стороны» галантности на примере сопоставительного анализа трактата Сореля и пьесы Мольера «Смешные прециозницы», автор органично переходит от предыстории к собственно истории феномена прециозности.

Во второй главе «Феномен прециозности — реальность или литературная фикция?» объектом анализа становятся различные формы репрезентации прециозниц, трактовки их облика, поведения, языка в художественной литературе середины XVII столетия — в «Карте Нежности» Мадлены де Скюдери, «Карте королевства Любви» Тристана л'Эрмита» и «Карте страны Легкомыслия» Бюсси-Рабютена, в романе Мишеля де Пюра «Прециозница, или Тайна алькова» и «Мещанском романе» Фюретьера, в пьесах Мольера и Бодо де Сомеза, в «Словаре прециозниц» того же Сомеза, в поэзии Демаре де Сен-Сорлена, Монтозье, в «Занимательных историях» Таллемана де Рео и т.п. Отечественным литературоведам впервые предоставляется возможность проследить, говоря словами самого А.В. Голубкова, «перипетии формирования женского салонного эпоса» во всех нюансах и на материале, практически отсутствующем в обиходе российского — а отчасти и зарубежного литературоведения. Особое место занимают подробное описание и анализ «лингвистических и литературных стратегий прециозниц» (раздел 2.7). Они рассматриваются на фоне языковых трансформаций, происходивших во Франции в течение XVI–XVII вв. Очень важен и обоснован вывод о том, что в лингвистических экспериментах прециозниц дают о себе знать и барочная изощренность, и классицистический «отказ от грубостей и низкого стиля» (с. 222).

Работа А.В. Голубкова читается с интересом не только благодаря глубине и тщательности анализа поставленной проблемы, анализа, сделанного на современном методологическом уровне, но и по причине в целом хорошего слога. Есть, однако, некоторые особенности словоупотребления у автора, которые можно назвать недостатками: так, он явно предпочитает писать «генерализация» вместо «обобщение» и отмечает свойство «генерализированности» трижды на двух соседних страницах, причем дважды — в следующих друг за другом предложениях (с. 4–5); отмечая деление персонажей Мольера на хороших и плохих, Андрей Васильевич называет это деление «сегрегацией»; заголовок трактата любящего трезвый стиль Шарля Сореля «О знакомстве с хорошими книгами» переводит возвышенно-архаизированно как «О познании добрых книг». Разумеется, замечания такого рода носят вкусовой характер и могут показаться придирками. Однако в отдельных случаях специфическое авторское словоупотребление носит концептуальный характер и вызывает в связи с этим более серьезные возражения: так, определяя характерное для прециозниц требование сдержанности в любовных отношениях, девственной чистоты, невинности и даже холодности посредством термина «фригидность» (термина, имеющего медицин-

скую семантику, означающего род болезни, существование которой, впрочем, некоторыми специалистами оспаривается), А.В. Голубков тем самым пытается, по существу, определить физиологические особенности как реальных прециозных дам, так и литературных героинь (в частности, он говорит о «противоестественной фригидности» мольеровских Като и Мадлон — с. 72). Полагаю, что вряд ли мы можем сегодня сказать что-либо определенное о сексуальном темпераменте Мадлены де Скюдери и иже с нею. Если же использовать это слово метафорически, то такая метафора — не самая удачная, в ней есть своего рода утрировка, натяжка — как и в прозвучавшем в заключительном разделе книги утверждении, что Мольер был мизогином (с. 267). В этом случае автор практически становится на сторону радикального феминизма, объявляющего любую критику женщин, указание на негативные качества отдельных женщин или даже определенной социальной группы мизогинией.

А.В. Голубков хорошо владеет французским языком, что позволяет ему в процессе анализа большей частью не переведенных у нас текстов точно и стилистически тонко передать их смысл, перевести цитаты и отдельные выражения. В то же время и здесь необходимо сделать некоторые замечания: так, более удачным и близким к семантике галантной эпохи был бы перевод выражения “faire l’amour” как «ухаживать» (а не «заниматься любовью», ведь это выражение несет для современного читателя совершенно особые коннотации). Представляется, кроме того, не слишком точным перевод понятия “honnête homme” как «человек чести». Дело не в словарном буквализме, не просто в том, что “honnête homme” — это не “homme d’honneur”. Тут стоило бы обратиться к идее Ж.-К. Турнана, который определяет развитие типа личности во французском свете от 1630 к 1660-м годам как движение «от героя к благовоспитанному человеку» [Tournant, 1978: 103). Еще со времен знаменитого трактата Никола Фаре (1630) упор делался не на способности “honnête homme” защищать свою честь, а на следовании тем правилам поведения, которые приняты в светском обществе, и эти правила включали приятные манеры, умение одеваться, ухаживать за дамами и т.п. Благовоспитанный человек — это человек меры, в котором ничего не должно выходить за рамки этой меры, а стало быть, он не только не должен быть педантичным, например, но и не должен быть воинственным (что не слишком вяжется с понятием «человек чести»). Как писал «профессор благопристойности» Мере, «война — самое прекрасное ремесло на свете. С этим надо согласиться. Но ...у благовоспитанного человека нет никакого ремесла» [Chevalier de Méré, 1930: 11]. К этому стоит добавить, что такой перевод, возможно, рождается от

того, что автор монографии предпочитает говорить не о светской в более широком смысле, а об аристократической культуре, частью которой он считает как галантность, так и прециозность. Отсюда проистекает, по-видимому, и ошибочное причисление А.В. Голубковым героев мольеровской пьесы — Лагранжа и Дюкруази — к аристократам. Между тем, хотя сословная принадлежность этих персонажей не обозначена в списке действующих лиц (в отличие от прямо названного буржуа Горжибюса), как верно указывает Джеймс Гейнс, уже в первой сцене «Смешных прециозниц» Мольер устанавливает социальную принадлежность Лагранжа и Дюкруази посредством того, что они «обращаются друг к другу с характерным буржуазным титулованием — "господин"», а во второй сцене «их буржуазный статус подкреплен тем, что буржуа Горжибюс просто называет их "вы"», позднее объясняя, что «знает их семьи и состояние» — знать состояние женихов, поясняет ученый, было бы не нужно, будь они аристократы [Gaines, 1984: 63–64). Что же касается социального состава посетителей прециозных салонов, то и тут можно сослаться на сборник «Город и общественное сознание» [La ville et l'esprit de société, 2004], где в статье Никола Шапирà (Schapira, 17–32) говорится о том, что светские городские салоны отличались от придворно-аристократических собраний, они были призваны соединять аристократов, крупных и мелких буржуа (торговцев, банкиров и ремесленников), мелкое дворянство, священников и литераторов — выходцев из разных, но чаще всего не аристократических сословий.

Совершенно верно, что модели, идеалы, ценности прециозной культуры восходили к аристократическим моделям, идеалам и ценностям, не случайно в салоне Мадлены де Скюдери (которая была скорее всего буржуазкой по происхождению, или в лучшем случае, как пишут некоторые биографы, принадлежала к захудалому дворянскому роду, но уж никак не к аристократии), где собиралась почти исключительно как раз буржуазная публика, бытовала убийственная характеристика «вести себя как последний буржуа». Но культивирование интеллектуально-поведенческого и языкового аристократизма не означает все-таки принадлежности к тому, что можно было бы назвать собственно аристократической культурой (как культивирование рыцарственности не тождественно принадлежности к рыцарскому сословию).

Пожалуй, это самое основное полемическое расхождение с концепцией А.В. Голубкова, которое необходимо констатировать, оговорив, одновременно безусловное право автора на иную точку зрения. Проявив дотошность, можно сделать еще несколько мел-

ких замечаний: например, хотелось бы узнать источник, из которого А.В. Голубков почерпнул сведения о том, что последние тома «Астреи» были дописаны Гомбервилем (с. 111) (до сих пор считалось, что это сделал секретарь писателя Баро); было бы нелишне пояснить, что такое «стерильное» пространство романа д'Юрфе (с. 114), в чем и как проявляется эта стерильность; наконец, лучше было бы исправить ошибочное произношение и написание имени Ге де Бальзака (не Гез, а Ге — перестали же мы говорить Форез вместо Форе и Сен-Тропез вместо Сен-Тропе), чем давать еще более ошибочный вариант — Гёз де Бальзак.

Однако все эти замечания не отменяют общей высокой оценки монографии А.В. Голубкова, издание которой можно лишь приветствовать. Наблюдения и выводы, сделанные автором, помогут как более глубокому и точному академическому исследованию французской литературы и культуры XVII в., так и более увлекательному и конкретному преподаванию ее в университетских курсах и спецкурсах.

Список литературы

Chevalier de Méré. Oeuvres complètes. 3 vol. T. 1. Paris, 1930.

Gaines James F. Social structures in Moliere's theater. Columbus, 1984. 283 p.

La ville et l'esprit de société / K. Beguin et O. Daustresme dir. Tours, 2004. 154 p.

Tournant J.-C. Introduction à la vie littéraire du XVII siècle. Paris, 1978. 190 p.

Natalia T. Pakhsarian

Book Review: GOLUBKOV A.V. AFFECTED MANNERS AND THE GALANT TRADITION IN THE 17th — CENTURY FRENCH DRAWING-ROOM LITERATURE. M.: IMLI RAN edition, 2017. 294 p.

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The review represents the book about the phenomenon the XVII century French literature, which has been the subject of social and deep analyses in Russian literary criticism. The monograph examines the social and cultural sources of noble behavior, the stages of refined and gallant discources. Such concepts as "précieuse",

"galant", "honnête", etc. are analyzed. The peculiarity of fiction implementation of refined women images of in definite literary works of the XVII cent., in particular in famous comedy "Précieuses ridicules" by Moliere. Many works on this classic epoch phenomenon are regarded for the first time in Russian literary criticism. However, beside the important and proved observations by the author of the monograph, some little mistakes, connected with the translation of phrases and words of that epoch, were found. This fact influenced the whole work concept, but did not change the positive evaluation of A.V. Golubkov's work.

Key words: classics; preciosity; gallantry; aristocratism; bourgeoisness; refined manners; forms of representation; the ideal of behavior; translation.

About the author: *Natalia T. Pakhsarian* — DSc in Philology, Professor, Departement of Foreign Literature, Lomonosov Moscow State University (e-mail: npakhsarian@gmail.com).

References

Chevalier de Méré. *Oeuvres complètes*. 3 vol. Paris, 1930. T. 1.

Gaines James F. *Social structures in Moliere's theater*. Columbus, 1984. 283 p.

La ville et l'esprit de société / *K. Beguin et O. Daustresme dir*. Tours, 2004. 154 p.

Tournant J.-C. *Introduction à la vie littéraire du XVII siècle*. Paris, 1978. 190 p.

И.В. Мотеюнайте

Рецензия на кн.: Н.С. ЛЕСКОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ / Сост., подгот. текста, публ. воспоминаний О.А. Фрибес, А.Е. Зарина и Е.И. Зариной, коммент. Л.И. Соболева; публ. фрагментов дневника С.И. Смирновой-Сазоновой и коммент. к ним Л.С. Даниловой и В.В. Сминой; предисл. А. Ранчина. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 832 с. (Серия «Россия в мемуарах)

Псковский государственный университет
180000, Псков, пл. Ленина, 2

В рецензии отмечается важность собрания под одной обложкой мемуарных материалов о Н.С. Лескове, полезных в связи отсутствием полного академического собрания сочинений Лескова. Автор указывает на своеобразие композиции издания, разножанровость мемуарных материалов, связанную с особенностями литературной репутации Лескова и профессионализм составления комментариев. В результате издание не только помогает созданию личного портрета Лескова, но и открывает перспективы научного изучения мемуаристики XIX столетия как специфического дискурса, формируемого литераторами второго ряда.

Ключевые слова: Н.С. Лесков; мемуары; издание; биография.

Сложная литературная репутация Н.С. Лескова сказалась не только на его собственной жизни, но и на посмертной судьбе его наследия. Через пять лет после его смерти В.Г. Авсеенко сетовал на небрежение памятью о Лескове и, естественно, на нелюбопытство о нем: «Жизнью и личностью наших талантливых людей мы занимаемся вообще немного. Биографический отдел — самый слабый в истории нашей культуры» (343). Через два десятилетия ситуация воспринималась неизменившейся: «Идет уже вторая четверть века со дня смерти Лескова, а как плохо изучен и обследован этот тайнодум и великий мастер русского слова» (Б.В. Варнеке, 497).

Эти привычные для публицистики риторические пассажи, кажется, никогда не потеряют актуальности. Несмотря на то, что в течение уже четвертого десятилетия творчество Лескова активно изучается

Мотеюнайте Илона Витаутасовна — доктор филологических наук, историк русской литературы, профессор Псковского государственного университета (e-mail: ilona_motya@mail.ru).

(защищаются диссертации, выходят сборники и проводятся конференции), а его статус классика закреплен включением «Левши» в школьную программу, есть ощущение неровности информации о нем: в одних темах густо, в других — пусто.

Вместе с тем нельзя сказать, что Лесков был забытым автором и в определенный момент вдруг неожиданно был поднят со дна истории. Меньше чем через 10 лет после его смерти вышла книга А. Фаресова «Против течений» с подробными записями разговоров с писателем; и как ни относись к этой книге, биографического материала в ней содержится довольно много. Героические усилия сына Лескова Андрея Николаевича подарили читателям в 1954 году его обширную биографию. Как только стало можно, вышел и его 11-томник, собравший немалый корпус текстов и писем, а потом и воспроизведение его прижизненного собрания сочинений в 12 томах; и это не считая различных массовых изданий. В целом, нужно признать, что Лескову с биографами и почитателями повезло.

Издание воспоминаний о нем еще одно тому подтверждение. Работа составителей, и особенно комментатора, не может не вызвать благодарности и восхищения, особенно на фоне замершего издания 30-томного собрания сочинений и обещанной в ЖЗЛ биографии Лескова.

Книга состоит из предисловия А. Ранчина, мемуаров о Лескове, двух приложений и примечаний. После четырех собранных вместе работ А.И. Фаресова, долгие годы бывших главным обобщающим источником для лескововедов, редакторы поместили по хронологии биографии Лескова (насколько можно ей следовать) разные тексты о нем; затем его собственные автобиографические заметки, а также ответы и интервью. Собранные под одной обложкой материалы, таким образом, облегчают работу читателя, обратившегося к «личности и биографии писателя». Композиция получилась не без подвоха в духе игры самого Лескова: почитайте всех, но слушайте меня самого. Сравнение суждений и оценок наталкивает на традиционное размышление об этичности публикации мемуаров. При наличии автобиографии писателя, т.е. когда мы знаем, что он позаботился о своей посмертной известности, выбрав из массива фактов те, которые считал важными и возможными, насколько необходимы и оправданы публикации, отражающие прихотливый поток жизни, в котором мы уже вряд ли можем восстановить иерархию обстоятельств?

Собственно мемуарная часть книги разнопланова. Ее несомненное достоинство в том, что вместе собраны тексты, разбросанные по русской и зарубежной периодике XIX–XX вв., а также архивные, неизвестные или труднодоступные; некоторые републикации сверены по рукописям. В эту часть вошли и воспоминания о писа-

теле, так сказать, в чистом виде (как, например, «Мое знакомство с Н.С. Лесковым и его письма ко мне» Е.Н. Ахматовой или «Мои воспоминания о Николае Семеновиче Лескове» Е.И. Борхсениус), и фрагменты дневников (в частности, четкие и ясные записи фактов С.И. Смирновой-Сазоновой или описание эпизода Ф.Г. Шиловым в «Записках старого книжника»), и беллетристически оформленные высказывания о писателе (например, «Издатель у Лескова» К.Д. Бальмонта). Разножанровость в данном случае объясняется и тем простым обстоятельством, на которое обратил внимание автор вступительной статьи А.Б. Ранчин: «С мемуарами, а отчасти и с мемуаристами Лескову не повезло. Обширных воспоминаний о нем, особенно написанными коллегами-литераторами, почти нет, зато среди посвященных Лескову мемуаров немало кратких заметок лиц, встречавшихся с ним раз или два, и воспоминаний, в которых Лесков отнюдь не является главным персонажем» (5).

Вокруг Лескова не сложился миф, но сформировался ореол недосказанности, недопонятости, недоговоренности; «Загадочный талант», как сформулировал тот же Авсеенко, перефразируя название очерка Лескова об А. Бенни («Загадочный человек»). Литературные скандалы Лескова, вызванные, среди прочего, и его прямым и нетерпеливым характером, имели мемуарные последствия: о нем как об изгнанном из первого ряда литераторов ведущие критики эпохи практически не писали, своего издания он не имел, в течение жизни общался со многими и разными людьми, меняя симпатии и лагеря. Несомненно, что он производил на людей сильное впечатление. Примечательно, что Лесков стал темой нескольких высказываний не только профессиональных журналистов А.И. Фаресова и С.Ф. Либровича, закрепивших свой интерес к писателю известными публикациями, но и В.Г. Авсеенко, и А.М. Хирьякова, обратившихся к этой теме, кажется, в силу обстоятельств. Любовно собранные в издании, такие цепочки материалов показывают, как тема не отпускала, авторы стремились ее освоить, не умещаясь в один текст. Общее впечатление о Лескове — «очень самобытный» и «нетерпячий» человек; в воспоминаниях множество прямых определений его самобытности и сведений о необычности одежды, манеры работы и поведения. Формула «сложный, противоречивый характер» отлично описывает Лескова, и составители издания представили конкретные подтверждения этой формуле, обновив ее уже стершийся прямой смысл.

Однако получилось, что собранные в издании тексты ценны, может быть, не столько сведениями о самом Лескове, сколько воссозданием фона его жизни и творчества. Картина получилась чрезвычайно пестрая и показательная в своей разностильности. Перед нами

прекрасный материал для описания мемуарного дискурса эпохи, формируемого рядовыми журналистами и литераторами. С одной стороны, множество конкретных фактов о писательской и издательской «кухне», случайные сведения, например, об утраченном тексте («Книгодрательный бес», пересказанный Б.В. Варнеке), свидетельства об умении произвести впечатление. С другой — стремление к слишком обобщенным оценкам и выражению признательности; а иногда в дополнение к этому — такая сдержанность в передаче конкретики, которая скорее намекает, умалчивая, чем рассказывает.

Комментарии занимают четверть объема книги и сделаны в высшей степени профессионально. Кроме информации об авторе и источнике публикации, они содержат подробные описания отношений автора с Лесковым. Практически везде указаны источники цитат, исправлены неточности, отмечены возможные ошибки памяти мемуариста, объяснены упомянутые факты, а также предоставлена возможность проверки текста: рассказы одного автора уточнены по воспоминаниям других, иногда приводятся оценки А.Н. Лескова. Эта колоссальная работа оттеняется замечаниями типа «установить не удалось». На фоне огромного количества обнаруженного и установленного они свидетельствуют о профессиональной ответственности и научной перспективе. Позволю себе метафору: благодаря этой части книги мы имеем на ветшающем полотне литературного процесса позапрошлого века немалый фрагмент с отчетливо прорисованным узором, вытканным длинными целыми нитями. Добавлю, что современный аппарат издания существенно облегчает работу с ним по разным темам.

Ilona V. Motiejunaite

Book Review: N.S. LESKOV IN THE MEMOIRS OF CONTEMPORARIES / Ed. by O.A. Fribes, A. E. and E.I. Zarina, commentary by L.I. Sobolev; L.S. Smirnova-Sazonova diary fragments publication and commenting by L.S. Danilova and V.V. Somina; Preface by A. Ranchin. Moscow: New literary review, 2018. 832 p. (Series "Russia in memoirs")

Pskov State University,
2, Lenin square, Pskov, 180000

The review notes the importance of a collection of memoirs on N.S. Leskov, useful in connection with the absence of a complete academic collection of

Leskov's works. The author points out the specific features of the composition of the publication, the heterogeneity of memoir materials connected with the peculiarities of Leskov's literary reputation and the professionalism with which commentaries were compiled. As a result, the edition not only helps to create a personal portrait of Leskov, but also opens the prospect for a scientific study of the nineteenth-century memoirism as a specific discourse formed by second-line writers.

Key words: N.S. Leskov; memoirs; edition; biography.

About the author: *Ilona V. Motiejunaite* — Doctor of Philology, historian of Russian Literature, Pskov State University professor (e-mail: ilona_motya@mail.ru).

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В.Е. Добровольская, А.Б. Ипполитова

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ФОЛЬКЛОРИСТОВ

Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова 101000, Москва, Сверчков пер., д. 8 стр. 3

IV Всероссийский конгресс фольклористов прошел в Туле 1–5 марта 2018 г. Он был посвящен 210-летию П.В. Киреевского и 180-летию А.Н. Веселовского. Организаторами выступили Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерство культуры Тульской области и Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма. В нем приняли участие более 300 ученых, как из России, так и из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. В программе Конгресса было 16 секций, четыре дискуссионных площадки, презентация проектов по актуализации народной культуры, представление книг и периодических изданий по фольклору, показы документального кино и полевых видеоматериалов. Ряд секций был связан с проблемами этномузыкологии, декоративно-прикладного искусства и художественных ремесел, актуализации народной культуры в современном обществе. Остальные были посвящены филологическим и этнографическим исследованиям фольклора, современным полевым исследованиям и роли фольклора в современном обществе.

Ключевые слова: IV Конгресс фольклористов; фольклористика; культурная антропология; этномузыкология, педагогика.

IV Всероссийский конгресс фольклористов прошел в Туле 1–5 марта 2018 г. Он был посвящен 210-летию П.В. Киреевского и 180-летию А.Н. Веселовского. Организаторами выступили Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерство культуры Тульской области и Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма.

Конгресс стал знаковым событием для специалистов в области народной культуры. В нем приняли участие более 300 ученых, как из России, так и из 19 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Добровольская Варвара Евгеньевна — кандидат филологических наук, зав. сектором нематериального культурного наследия Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова (e-mail: dobrovolska@inbox.ru).

Ипполитова Александра Борисовна — кандидат исторических наук, эксперт сектора нематериального культурного наследия Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова (e-mail: alhip@yandex.ru).

В программе Конгресса было 16 секций, четыре дискуссионных площадки, презентация проектов по актуализации народной культуры, представление книг и периодических изданий по фольклору, показы документального кино и полевых видеоматериалов.

Ряд секций был связан с проблемами этномузыкологии, декоративно-прикладного искусства и художественных ремесел, актуализации народной культуры в современном обществе. Предметом обсуждений на дискуссионных площадках Конгресса стало народно-певческое искусство в XXI в., роль волонтеров в собирании, сохранении и актуализации фольклора. Многие стали участниками дискуссий о визуальной антропологии и роли этнографического кино в исследованиях фольклора.

На секциях Конгресса рассматривались самые актуальные для современной фольклористики темы. Одной из самых представительных стала секция «История науки». Ее участники представили архивные материалы, связанные с деятельностью исследователей и собирателей прошлого (*Б.А. Леонова*, *О.В. Тюренкова*, *Н.А. Мальцева*, *А.Н. Данилова*, *С.Д. Мухоплева*, *И.Б. Теплова*), публикации фольклора в провинциальной прессе и столичных изданиях XIX — начала XX в. (А.*Н. Розов*, *В.А. Поздеев*, *Т.С. Молчанова*, *Е.В. Битерякова*), записи фольклористов, работавших в зонах полиэтнических контактов (*В.П. Миронова*, *К. Женюхова*, *А.С. Халилов*, *В.Н. Никитина*), редчайшие аудиозаписи (*Л.П. Махова*). Были рассмотрены и новые редакции классических статей по фольклору, их место в истории русской фольклористики (*Т.В. Говенько*, *А.Л. Топорков*, *А.С. Васкул*). Особое внимание было уделено и исполнителям фольклорных жанров, их биографии и специфике творчества (*А.Н. Власов*, *М.В. Строганов*). В рамках работы секции было рассказано о формировании крупных фольклорных коллекций и частных собраний (*В.Ф. Шевченко*, *С.В. Подрезова*, *Г.В. Лобанова*, *Е.Г. Богина*).

На секции, посвященной исследованиям локальных традиций и культур, были рассмотрены календарные (*С.Г. Низовцева*, *Ю.А. Крашенинникова*, *С.А. Мяснякова*) и семейные обрядовые практики (*М.Г. Матлин*, *П.С. Шахов*), легенды, предания, устные рассказы и песенные традиции отдельных региональных традиций (*С.Ю. Королёва*, *Н.В. Дранникова*, *Т.Н. Морозова*, *Т.С. Канева*, *Ё. Куманоя-Накагава*). Помимо этого были представлены визуальные материалы отдельной локальной традиции (*Д.И. Вайман*), специфика традиции одного населенного пункта (*А.А. Чернобаева*), гендерные социокультурные ценности, нашедшие свое отражение в локальных традициях (*Н.Е. Украинцева*). Был проведен сопоставительный анализ традиции «материнских» и «переселенческих» сел, выявлены особенности сохранения некоторых элементов традиционной культуры (*Е.В. Минёнок*). Участники секции обратились и к анализу современной ка-

лендарной обрядности, роли традиции в формировании сегодняшней праздничной культуры (*А.А. Конунов*).

На секции № 6 участники обратились к проблемам изучения несказочной прозы. На одном из секционных заседаний докладчики рассматривали жанровые особенности несказочной прозы, современные нарративы о расколе, предания и былички о кладах, запреты и предписания, представления о мифологических персонажах и персонифицированных днях недели в современных записях (*И.К. Феоктистова*, *Н.С. Душакова*, *Н.Е. Котельникова*, *А.С. Беломестнова*, *Ф.Ф. Гайсина*, *Н.В. Анисимов*, *С.Н. Амосова*). Участники другого заседания обратились к анализу магических практик, микроритуалов, обрядовых медвежьих песен, нормативов в поэтических обрядовых текстах (*А.Л. Топорков*, *Т.В. Тадевосян*, *Л.Н. Виноградова*, *Т.А. Молданов*, *Ю.А. Крашенниникова*).

Небольшая секция «Язык фольклора» вызвала ожидаемый интерес у многих участников Конгресса. Докладчики обратились к истории лингвофольклористики, к проблеме цветообозначения в переводах калмыцких песен, языковой репрезентации базовых концептов в песнях и языковых варьированиях в духовных стихах (*В.Н. Камил*, *Э.У. Омакаева*, *А.М. Хакимьянова*, *Т.Н. Бунчук*). Они проанализировали семантические переносы в сфере мифологической лексики, антропомонимы в пословицах, загадках и идиомах и архаическую лексику в собрании Е.В. Барсова (*И.И. Русинова*, *М.Л. Ковшова*, *О.Д. Сурикова*).

Участники секции «Народная вера и верования: официальная доктрина и народные толкования» представили для обсуждения доклады, посвященные легендам в устной и письменной традициях, трансформации житийных сюжетов, механизмам формирования и сохранения устной прозы о монастырях, соотношении религиозной фольклорной прозы и письменных источников, персонификации святости (*Л.С. Лобанова*, *М.В. Антонова*, *П.Ф. Лимеров*, *Ю.М. Шеваренкова*, *Е.В. Рычкова*, *Т.Г. Казанцева*). Докладчики обратились к религиозному фольклору современных субкультур, народным толкованиям текстов Священного писания, ритуальным практикам на могилах и трансформации народных верований в современном мире (*Л.К. Гаврюшина*, *А.М. Жердева*, *М. Накахори*, *Т. Ямада*). Особого внимания удостоились доклады посвященные жанру традиционной молитвы осетин и роли молодых жрецов в ритуальной и общественной жизни удмуртов (*Д.В. Сокаева*, *Е. Тулуз*).

Состояние традиционной культуры в условиях межэтнических контактов были рассмотрены в рамках секции 9. Ее участники остановились на роли мигрантов в сохранении традиции, методах изучения анклавных традиций, опыты межэтнических взаимодействий, отражение контактов между различными народами в фольклорных

текстах (*Е.Е. Анастасова*, *М.В. Станюкович*, *Е.Е. Левкиевская*, *А.В. Черных*, *С.Б. Егоров*, *А.Д. Цветкова*, *Е.Л. Тихонова*, *В.Л. Кляус*). Ряд докладчиков рассмотрели фольклорные традиции пограничья и остановились на роли традиций в формировании этнической идентичности (*Е.С. Узенева*, *О.В. Белова*, *Т.В. Володина*, *Н.В. Петров*, *Н.С. Петрова*, *Е.М. Боганева*, *А.И. Ганчев*).

Место фольклора в интернет-пространстве стала одним из аспектов, обсуждаемых на секции, посвященной современному фольклору (*И.А. Седакова*, *К.А. Климова*, *М.В. Зигидулина*, *Н.А. Славгородская*). Участники данной секции обратились к трансформации традиционной обрядности в современной жизни, отметили появление новых форм в традиционных ритуальных практиках (*Й. Мардоса*, *Е.З. Соловьева*, *М.М. Красиков*). Они обратились к историко-этнографическому контексту ряда сюжетов и жанров (*А.К. Байбурин*, *С.М. Прохоров*, *Н.Н. Рычкова*), рассмотрели фотографию, как коммуникативный текст (*А.А. Пригарин*) и обсудили базы данных по региональному фольклору (*Т.А. Золотова*, *Н.И. Ефимова*, *Е.А. Плотникова*, *В.И. Токтарова*).

Проблемы и перспективы изучения сказочной традиции были рассмотрены в докладах, представленных участниками секции 11. Докладчики обратились к анализу состояния сказочной традиции в XXI веке, проанализировали трансформацию функционирования сказочных текстов, изменения их сюжетного состава и возраста сказочников (*В.Е. Добровольская*). Был отмечен характер трансформации сюжетов сказок, зафиксированных в анклавах (*В.Л. Кляус*, *А.А. Острогская*). Большое внимание уделялось этническим сказочным традициям (*Н.С. Коровина*, *Н.В. Павлова*). Выступающие представили малоизвестные версии сказочных сюжетов и варианты одного сюжетного типа в рамках локальной традиции, рассмотрели некоторые сказочные образы (*А.С. Лызлова*, *И. Жепниковска*, *Р.Р. Зинурова*). Были рассмотрены музыкальные особенности тувинских сказок (*А.Д-Б. Баранмаа*), а также архивные коллекции сказочных текстов (*В.Ф. Шевченко*, *В.В. Обоюкова*). Особый интерес вызвал доклад об инновационной форме актуализации сказочного материала при работе с детьми (*Н.Г. Кожанова*).

Вопросы конфессиональной идентичности как фактор формирования и сохранения фольклорной традиции в иноэтничном окружении, референтность и структуру фольклорного текста, кодирование и декодирование действительности в рамках фольклорного текста стали предметом обсуждения на секции «Теоретические аспекты фольклористики» (*А.А. Иванова*, *А.Г. Игумнов*, *О.Е. Фролова*). Еще одним направлением работы этой секции стала стратегия полевых интервью, взаимоотношения собирателя и исполнителя, позиция

говорящего как критерий классификации текста и т.п. (*А.А. Плотникова*, *В.А. Черванёва*, *Ю.Н. Наумова*). Особый интерес вызвал доклад о городском уличном театре как явлении фольклорной культуры (*С.П. Сорокина*).

Взаимодействие фольклора и авторского творчества всегда привлекало внимание исследователей. В этот раз на секции, посвященной данной тематике рассматривались вопросы, связанные с проблемами литературного фольклоризма, взаимодействием литературы и фольклора в рамках одной этнической традиции, отражение фольклорных жанров в авторской поэзии, фольклоризм современной молодежной прозы и т.д. (*А.Х. Гольденберг*, *Е.А. Зайцева*, *Т.Г. Владыкина*, *М.Х. Идельбаев*, *Е.А. Плотникова*, *А.О. Трошкина*, *Т.А. Золотова*, *Н.И. Ефимова*, *В.В. Трубницина*, *Н.З. Коковина*, *С.Н. Петренко*). В ряде выступлений рассматривался фольклоризм музыкальных произведений (*Е.А. Зайцева*, *Э.А. Луганская*), взаимосвязь иконы и книжной легенды с фольклорной традицией (*Л.В. Фадеева*), этноботанические аспекты в письмах семьи Тургеневых (*К.И. Шарафадина*) и диалекты в прозе В.Н. Глаголева (*Н.А. Красовская*).

В секцию 14 вошли доклады, авторы которых обратились к анализу образного мира фольклора. Была рассмотрена культурная символика отдельных реалий, образы зверей и птиц в традициях разных народов, мифологические персонажи и растения (*В.С. Кучко*, *М.О. Леонтьева*, *М.А. Тростина*, *И.А. Швед*, *К.С. Юзиева*, *Э.Г. Рахимова*, *М.В. Ясинская*, *М. Кыйва*, *О.В. Ахмадрахимова*, *А. Куперьянов*, *А.Б. Ипполитова*).

Проблемам этнокультурного образования и детскому фольклору была посвящена секция, участники которой не только проанализировали различные жанры словесной и музыкальной поэзии детства, но и затронули серьезные вопросы, связанные с обучением устному народному творчеству на разных этапах (*И.Н. Райкова*, *М.С. Альтшулер*, *Е.К. Малая*, *В.С. Бузин*, *Т.А. Золотова*, *М.Н. Пирогова*, *В.И. Токтарова*, *Г.Ф. Юнусова*, *Д.В. Абашева*, *О.Б. Христофорова*, *Н.В. Петров*).

В рамках секции, посвященной эпическому наследию рассматривались вопросы, связанные с ролью эпического сказителя в бытовании текста, мотивная структура эпических произведений, образная система и цветовая символика, обрядовый текст в сюжете эпоса, неизвестные записи эпоса и его популяризация в СМИ (*А.М. Гутов*, *Ф.Х. Завгарова*, *Р.Ф. Султангареева*, *З.Д. Джапуа*, *С.С. Макаров*, *Л.В. Ангеловская*, *М.Г. Бабалык*, *Т.Ф. Пухова*, *В.А. Петрова*).

На закрытии Конгресса было отмечено, что Конгресс, за судьбу которого переживало всё научное фольклористическое содружество, был организован в кратчайшие сроки и прошел на высоком уровне.

Участники говорили о том, что традиция проведения Конгрессов должна продолжаться, поскольку это и возможность представителей разных географических регионов, и национальных республик России обмениваться результатами научной работы. Только такое масштабное научное мероприятие способно познакомить начинающих специалистов с различными направлениями фольклористики, проконсультироваться с ведущими специалистами в той или иной области, а коллегам — увидеться, обсудить текущие и перспективные проблемы науки, заявить о новых темах и получить отклик на них.

Varvara E. Dobrovolskaya, Alexsandra B. Ippolitova

THE 4th RUSSIAN CONGRESS ON FOLK RESEARCH

The Russian National House of Folk Art's and Amateur Creativity
8/3 Sverchkov side street, Moscow, Russian Federation, 101000

The IV Russian Congress of folklorists was held in Tula on March 1–5, 2018. It was dedicated to the 210th anniversary of P.V. Kireevsky and the 180th anniversary of A.N. Veselovsky. The organizers were the Ministry of culture of the Russian Federation, The Russian National House of Folk Art`s and Amateur Creativity named after V.D. Polenov, the Ministry of culture of Tula region and the Association of centers for the development of art, folk culture and tourism. It was attended by more than 300 scientists, both from Russia and from 19 countries of near and far abroad. The program of the Congress included 16 sections, 4 discussion platforms, presentation of projects on the actualization of folk culture, presentation of books and periodicals on folklore, screenings of documentary films and field videos. A number of sections were connected with the problems of ethnomusicology, arts and crafts, actualization of folk culture in modern society. The rest dealt with philological and ethnographic studies of folklore, modern field research and the role of folklore in modern society.

Key words: IV Congress of folklorists; folklore studies and cultural anthropology; ethnomusicology; pedagogy.

About the authors: *Varvara E. Dobrovolskaya* — PhD (Philologicaly), Philosophy Doctor, head of department of intangible cultural heritage, The Russian National House of Folk Art`s and Amateur Creativity (e-mail: dobrovolska@inbox.ru); *Aleksandra B. Ippolitova* — PhD (History), Philosophy Doctor, expert of department of intangible cultural heritage, The Russian National House of Folk Art's and Amateur Creativity (e-mail: alhip@yandex.ru).

У.В. Башко, А.О. Бурцева, О.А. Воробьева, Е.А. Пастернак

VII Международная конференция молодых исследователей «ТЕКСТОЛОГИЯ И ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС» (МГУ, 15–17 марта 2018 г.)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

В настоящей хронике дается обзор VII Международной конференции молодых исследователей «Текстология и историко-литературный процесс», которая прошла на филологическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 15–17 марта 2018 г. Конференция описана в хронологическом порядке, отдельно выделена информация о приглашенных лекторах и дискуссантах. В начале хроники дается краткий обзор географии конференции: Россия, Украина, Италия, Эстония. Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов, среди которых текстология древней словесности, история и текстология отечественной и зарубежной литературы, привлечение ранее неизвестных архивных материалов, история периодической печати и книгоиздания, вопросы переводоведения и компьютерного анализа текстуального материала. Хронология докладов охватывает период от поздней античности до второй половины XX в. Организаторами конференции выступили аспиранты, магистранты и выпускники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Ключевые слова: конференция; хроника; текстология; история литературы; литературный процесс.

В марте 2018 г. на филологическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова прошла VII Международная конференция молодых ученых «Текстология и историко-литературный процесс». За три дня своими теоретическими и практическими соображениями поделились историки и

Башко Ульяна Викторовна — магистрант первого года обучения филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: ulyasha0210@gmail.com).

Бурцева Алла Олеговна — выпускница МГУ имени М.В. Ломоносова, сотрудник научно-издательского центра «Ладомир» (e-mail: nilpferdin@yandex.ru).

Воробьева Оксана Александровна — аспирант третьего года обучения филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: erhalten@inbox.ru).

Пастернак Екатерина Алексеевна — магистрант первого года обучения филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: katrusia95@mail.ru).

филологи из Вильнюса, Киева, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рима и Тарту. Как обычно, в этом году прозвучало много докладов строго текстологического характера, в нескольких выступлениях исследователи затронули проблемы компьютерных методов, применимых для текстологического анализа. Впервые выделилось отдельное заседание, где обсуждали переводоведческие вопросы. Конференция снова стала полем для дискуссий как о русской, так и о зарубежной словесности, исторической и текстологической методологии, проблемах публикации архивных материалов.

Конференция началась с презентации сборника, куда вошли статьи по материалам докладов прошлого года[1].

В качестве специального гостя первого дня конференции выступил с лекцией профессор МГУ *В.В. Калугин*. Лекция представляет в новом свете деятельность малоизвестного мастера Максима, писавшего уникальные книги на холсте, и вводит в научный оборот ценные источники, не известные ранее. Типично народный провинциальный мастер Максим жил в конце XVIII — первой трети XIX в. и принадлежал к старообрядцам-поповцам. Будучи одновременно писцом, рисовальщиком и переплетчиком, он, возможно, был связан со скитниками и бродячими монахами. Около 1820-х годов Максим изготавливал маленькие холстяные рукописи, продолжающие традиции древнерусских и старообрядческих Канонников. Такие книги часто использовали в дороге и странствиях. Вероятно, поэтому мастер выбрал столь необычный материал, не известный в предшествующей истории славяно-русской книги. Позднее одна из рукописей могла перейти к староверам-бегунам, а другая покинула Россию и оказалась в Турции у казаков-некрасовцев.

Впервые в конференции поучаствовал специальный гость не из академической среды — шеф-редактор сайта «Арзамас», выпускник МГУ, *Кирилл Головастиков*. Основной вопрос, вынесенный в название дискуссии «Просвещение или профанация?», задавал тон беседы. Головастиков начал выступление с истории создания гуманитарного просветительского проекта, рассказал о задачах, которые ставит перед собой редакция сайта. В дискуссии был затронут вопрос, как «Арзамас» взаимодействует со своими с авторами; почему и в каких случаях материалы, подготовленные кандидатами и докторами наук, нуждаются в упрощении. Участники конференции вместе с гостем

[1] Текстология и историко-литературный процесс: VI Международная конференция молодых исследователей. Сборник статей / Под ред. У.В. Башко, А.О. Бурцевой, О.А. Воробьевой, Ю.И. Красносельской, О.А. Кузнецовой, Е.А. Пастернак, А.Н. Першкиной, А.С. Федотова. М., 2017. 180 с. Полная электронная версия сборника доступна на сайте конференции «Текстология и историко-литературный процесс». URL: http://tekstologia.jimdo.com).

пытались разобраться, как этот подход сказывается на взаимоотношениях между ученым, редакцией и аудиторией, нет ли опасности недооценить осведомленность читателя, и как следствие — не провоцирует ли это снижение интереса к сайту со стороны профессиональной аудитории.

Третий день конференции вновь включил лекцию специального гостя. Профессор филологического факультета МГУ *Г.В. Зыкова* поделилась наблюдениями над личным архивом поэта Всеволода Некрасова и филолога Анны Журавлевой 1950-х — начала 2000-х годов, причем говорила не только о текстологических вопросах, но и о сложностях, которые возникают при передаче документов в архивы. Так, трудно бывает описать материалы из-за его жанрово-визуальной специфики, если речь идет, например, о машинописных графически организованных стихотворениях и стихотворениях-артефактах. Большой проблемой остается фиксирование самиздата в описи: архивные правила не предполагают сообщения о наличии самиздата в коллекции, что усложняет поиск. Отдельное внимание профессор уделила проблеме неавторского вмешательства в текст. В заключение лектор рассказала об особенностях находящихся в архиве статей, посвященных истории русского провинциального театра.

Открылась же конференция, по традиции, разговором о древнерусской словесности.

Ксения Грищенко (Новосибирск) обратилась к истории ранних редакций «Сказания о Борисе и Глебе». Сравнив неисследованные списки Сказания (текст сборника из собрания М.Н. Тихомирова ОРКиР ГПНТБ СО РАН № 296 (кон. XV — нач. XVI в.) и неизданный список из сборника XV в., принадлежащий старообрядцам Восточной Сибири) с Успенским Сборником XII–XIII вв., она продемонстрировала основные тенденции редакторской правки, которая была проведена составителем канонического жития Бориса и Глеба и охарактеризовала особенности, присущие ранним версиям Сказания.

Дмитрий Шаров (Москва) в своем докладе поставил вопрос, вел ли Юрий Долгорукий в Суздале летописание. Как оказалось, распространенная гипотеза о существовании «особого летописца» у Долгорукого неубедительна, однако можно говорить, что при дворе последнего собирали материал для создания летописи.

В докладе *Алины Алексеевой* (Москва) были представлены результаты работы над созданием электронного корпуса рукописных заговоров XVII–XVIII вв. В процессе подготовки нового набора удалось уточнить «темные места», а также сделать выводы об истории и бытовании: выяснилось, что большинство заговоров из Олонецкого сборника XVII в., вопреки мнению А.Л. Топоркова, имеет письменные источники.

Анализу сатирической сказки К.Н. Батюшкова «Странствователь и домосед» был посвящен доклад *Анастасии Калининой* (Москва). Она уделила внимание литературным отношениям, отразившимся в стихотворении, и подробнее остановилась на диалоге с П.А. Вяземским: привела отсылки к его биографии и сочинениям, а также показала, что на «вяземский» слой в «Странствователе...» накладывается богатый комплекс автобиографических и автоцитатных проекций самого Батюшкова.

Виолетта Арстанова (Москва) обратила внимание на проблемы подлинности адресации в так называемом сушковском цикле М.Ю. Лермонтова. Очертив круг стихотворений 1830–1831 гг., который предположительно был адресован Е.А. Сушковой, докладчик поставила адресацию большинства стихотворений под сомнение и пришла к выводу, что лишь одно из них можно точно адресовать Сушковой («К» 1830 г. — «Вблизи тебя до этих пор...»), а адресат большинства стихотворений остается неизвестен.

Екатерина Ящук (Тарту) проанализировала образ Польши и поляка в романе М.Н. Загоскина «Юрий Милославский или Русские в 1612 году», рассмотрев польскую тему в контексте отношения к полякам и Польше в русском общественном сознании XVIII–XIX вв. По мнению докладчика, поднимая острый для русской читательской аудитории «польский вопрос», Загоскин далек от полонофобии, причем подобная картина сохраняется и в его произведениях, написанных после восстания 1830–1831 гг.

Антонина Мартыненко (Тарту) посвятила свое выступление эпистолярному корпусу Е.А. Баратынского. В работе над пятым томом Полного собрания сочинений и писем поэта была создана база данных, позволяющая показать, как первоначальное «ядро» эпистолярного корпуса, заданного в «семейных» изданиях сочинений поэта (1869 и 1884 гг.), дополнялось и изменялось в изданиях XX в., а также уточнить источники «юбилейных» изданий 1894 г. Между тем обобщение данных о современном состоянии корпуса позволило поставить под вопрос целесообразность традиционного индивидуального эпистолярного собрания как инструмента для изучения истории литературы.

Наталия Преснова (Москва) рассказала о переводах сочинения Эразма Роттердамского “De civilitate morum puerilium”, большинство из которых имеют заголовок «Гражданство обычаев детских». Признавая влияние польского варианта на русский, докладчик перечислила особенности, восходящие к латинскому оригиналу, обратила внимание и на те черты, которые не восходят ни к польскому, ни к латыни, а внесены непосредственно русским переводчиком, что характерно для традиции XVII в.

В докладе *Елизаветы Лочмелис* (Москва) было рассмотрено освоение сюжетной модели романа Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза» Н.М. Карамзиным («Чувствительный и холодный», 1803) через посредничество романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» И.В. Гёте. Докладчик доказала, что конструирование системы персонажей и выстраивание конфликта «чувствительного» героя с толпой в романах генетически родственны, отметив сюжетные конструкции, которые стали возможными в повести Карамзина только благодаря осмыслению романа Гёте.

Анетта Багаева (Москва) рассказала о непростой литературной судьбе стихотворной сказки А.Ф. Вельтмана «Троян и Ангелица», изданной в 1846 г., и попыталась ответить на вопрос, почему сказку плохо приняли в России, в то время как в Болгарии Ст. Изворским в 1858 г. в журнале «Български книжици» был опубликован перевод начального фрагмента сказки. Докладчик видит причину в жанровой амбивалентности сказки, находящейся между поэзией и прозой, а также между жанрами собственно волшебной сказки и литературной баллады, что подтверждается двумя совершенно разными черновиками Вельтмана.

Елизавета Носова (Москва) подробно рассмотрела, какие изменения претерпевала в русском переводе повесть “The Boy Tar, or A Voyage in the Dark” (1859) Майн Рида. Ей удалось восстановить картину преемственности всех переводов (некоторые из них были сделаны с опорой на французские варианты) и убедительно доказать использование «старых» переводов при подготовке «новых».

Дарья Глебова (Москва) продемонстрировала, как цифровые методы, в частности, стилометрия, позволяют найти дополнительные аргументы в пользу гипотезы о стилевом переломе в средневековом памятнике “Bjarnar saga Hítdælakapppa”. Объединенный с традиционными текстологическими наблюдениями, полученный материал позволил докладчику прийти к выводам относительно взаимодействия двух вариантов саги.

Екатерина Новикова (Москва) проанализировала специфику употребления фонетического варианта duellum, заменяющего классическое bellum, в дошедшем до нас наследии Квинта Энния. Она продемонстрировала, как можно истолковать возникновение этого варианта в поэтическом тексте, исходя из специфики античного стихосложения, а также рассмотрела вопрос о подлинности сохранившихся отрывков.

Павел Князев (Москва) выступил с докладом, посвященным истории публикации сочинения Гуго Гроция. Докладчик показал, как воспринималось сочинение «О древности Батавского государства» (1610) современниками, попытался восстановить исходный замысел

его создателя, а также проследил роль трактата Гроция в формировании «батавского мифа» в Нидерландах раннего Нового времени.

Доклад *Ксении Кропачевой* (МГУ) был посвящен специфике функционирования нормативной поэтики во Франции на рубеже XVI–XVII вв. Анализ источников трактата Пьера Лодена д'Эгалье «Французское поэтическое искусство» (1597) позволил заключить, что поэтика, опираясь на уже существующие образцы, становится проявлением следования канону, одновременно исправляя и дополняя его и тем самым пересоздавая для будущих поколений.

Выступление *Анны Поляковой* (Санкт-Петербург) было посвящено финансовой стороне не увидевшего свет «якутского альманаха» А.А. Бестужева (1829). Рассмотрев замысел проекта в контексте книгоиздательской практики 1820-х годов, она попыталась объяснить, почему этот амбициозный проект изначально не мог стать успешным.

Екатерина Вожик (Санкт-Петербург) особое внимание уделила напечатанным в малоизученном альманахе Н.В. Кукольника «Дагеротип» (1842) фельетонным «Заметкам о Петербурге» и «Астраханским письмам» — текстам, задающим тон повествования альманаху в целом. Уточняя современное понимание жанра фельетона, она отметила уникальность издания Кукольника среди других изданий своего времени и пояснила, почему выбранная фельетонная манера наилучшим образом соответствует концепции «литературно-дагеротипных» произведений.

Сара Маццони (Рим) отметила значимость публикации переписки М.П. Погодина со словацким и чешским ученым П.Й. Шафариком на страницах журнала «Москвитянин» в контексте становления идеи «славянского единства», которая в 1840-е годы начала принимать черты идеологии. Она показала, что издание этих отрывков имеет большое значение для характеристики литературных и культурных связей между Россией и славянским миром в середине XIX в.

Выступление *Елизаветы Чумаченко* (Москва) было посвящено роли популяризатора науки М.С. Хотинского в «Современнике» начала 1850-х годов и причинам, по которым Хотинский в одном из «чернокнижных» (неподцензурных) текстов А.В. Дружинина перечислен наряду с ассоциировавшимися с магией доктором Фаустом и мистиком К. Эккартсгаузеном. Докладчик объяснила, что появившиеся в «Современнике» тексты Хотинского, направленные на разоблачение магических штудий, могли произвести противоположное действие: привлечь внимание читателей к литературе мистического.

Ингрида Киселюте (Вильнюс) попыталась выявить причины сокращения Ф.М. Достоевским первоначальной публикации романа

«Бедные люди» (1846). В результате анализа отсутствующих в отдельном издании 1847 г. фрагментов, в частности, размышлений Макара Девушкина о ста рублях, докладчик выдвинул гипотезу о связи предпринятых сокращений с решением Достоевского разорвать отношения с «натуральной школой».

В докладе *Анастасии Перниковой* (Санкт-Петербург) было рассказано о двух разноречивых отзывах П.В. Анненкова на пьесу А.Н. Островского «Грех да беда на кого не живет»: статье в «Санкт-Петербургских ведомостях» от 23 февраля 1863 г. и рецензии, составленной в рамках работы над Уваровской премией для драматургов. Докладчик попыталась объяснить, почему изменилось мнение автора, в том числе прагматикой текста (журнальная публикация или отзыв на соискание премии), а также вписала рецензию Анненкова не только в контекст литературной критики, но и в контекст рецензий, поданных на Уваровский конкурс.

Яна Семёшкина (Москва) обратилась к истории формирования образов Михаила Чихачева и других персонажей повести Н.С. Лескова «Инженеры-бессребреники» (1887). Сопоставив ранее не привлекавшиеся исследователями «Воспоминания П.Ф. Фермор» и лесковский текст, выступающая разграничила в произведении авторскую мистификацию и подлинные факты, а также рассказала, как Лесков работал, создавая свои «апокрифы».

Творчеству малоизвестной писательницы рубежа XIX–XX вв. уделила внимание *Татьяна Левицкая* (Москва). Она представила подробный обзор прозы Н.А. Лухмановой времен русско-японской войны, а также очертила круг возможных источников японской темы в творчестве писательницы, сосредоточившись на сказочных и притчевых мотивах.

Наталия Дровалева (Москва) выступила с сообщением об обнаруженных сотрудниками ОР ИМЛИ РАН при разборе материалов Всесросскомдрама двух вариантах стенограммы выступления Андрея Белого по поводу постановки «Мертвых душ» Н.В. Гоголя. Вопросу о публикации и возможному комментарию к изысканию, а также интерпретации расхождений в стенограммах и был посвящен доклад.

Андрей Кокорин (Санкт-Петербург) поделился соображениями относительно текстологической методологии. На примере романа Ю.К. Олеши «Зависть» докладчик показал, почему при наличии множества прижизненных изданий произведения и разночтений требуется привлекать компьютерные методы сличения текстов.

Об архивных изысканиях, касающихся творчества и биографии А. Хоминского, рассказал *Богдан Цымбал* (Киев). Скрупулезный анализ крайне немногочисленных источников (два коротких письма, несколько прижизненных сборников) позволил частично

реконструировать биографию «неуловимого» писателя, «явления необычайного», автора «бессмертных и недостижимых по своей красоте» стихов.

Дарья Луговская (Москва), сравнив существующие варианты текста «Некрополя» В.Ф. Ходасевича, показала, какие сюжетные линии автор последовательно исключал из очерков, создавая заключительный текст. Выступающая отметила важность для композиции центральной главы о М.О. Гершензоне, примере «жизни без жизнетворчества», и окончательной расстановки частей в порядке знакомства автора с героями.

Доклад *Лилии Родичевой* (Москва) был посвящен истории фразы Н.Н. Берберовой «Я не в изгнании, я в послании», часто приписывавшейся З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковскому и ставшей одним из эмигрантских девизов. Она изучила сентенцию в контексте «Лирической поэмы», где та впервые появляется, проанализировала изменения, которые претерпел первоначальный вариант, и рассмотрела контекст употребления в эмигрантских кругах, проследив этапы канонизации фразы в каждом случае ложного определения авторства.

Имманентные и интертекстуальные аспекты поэтики стихотворения «Подражание Жуковскому» Б.Ю. Поплавского рассмотрел в своем докладе *Егор Прокопьев* (Москва). Он проанализировал парадоксальное сочетание сюрреалистической и бытовой семантики в тексте, а также выделил интертекстуальные связи, рассмотрев стихотворение как реплику в эмигрантской полемике о литературном каноне.

Александра Пахомова (Тарту) обратилась к истории деятельности М.А. Кузмина во Всероссийском Союзе поэтов в 1920-е годы, продемонстрировав динамику репутации поэта в раннесоветский период. Сначала Кузмин играет роль «мэтра» литературного Петрограда и претендует на пост председателя Союза, однако вследствие трансформации и идеологизации литературного поля постепенно вытесняется из организации и отходит на периферию литературного процесса.

Анна Белянцева (Москва) попыталась установить основной текст «Романа о девочках» В.С. Высоцкого. Сравнив известные публикации в России и за границей, докладчик попыталась выявить связи между разными вариантами и факторы, которые могли повлиять на разночтения, а также очертила исторический контекст романа, характер метацитирования и связи с литературой других авторов того времени.

Выступление *Александра Гришина* (Санкт-Петербург) было связано с переводом книги-дневника “Black like me” (1961) американского публициста Дж.Г. Гриффина. Он обнаружил в РГАЛИ два варианта

перевода за одним и тем же авторством, что позволило установить, как изменяли текст дневника, пытаясь вписать его в советскую печатную норму.

Ul'jana V. Bashko, Alla O. Burtseva, Oxana A. Vorobyova, Ekaterina A. Pasternak

THE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS 'TEXTOLOGY AND LITERARY PROCESS', Lomonosov Moscow State University, March 15–17, 2018

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

The present chronic observes the VII international academic conference of young scholars "Textual scholarship and literary-historical process", which was held in the philology department at Lomonosov Moscow State University from the 15th to the 17th of March, 2018. The article presents a chronological observation, as well as information about special guests—academics and journalists. The present chronic begins with the description of participants' home states, such as Estonia, Lithuania, Russia, Italy and Ukraine. The conference discusses a wide range of academical problems, such as textual criticism in ancient literature, historical and textual criticism in the Russian and foreign literature, previously unknown archive sources, the history of periodical and book publishing, theory and practice of translation and digital humanities. The thematic of the presented studies was situated within a large period of time—from classical studies to Soviet studies. This academic conference was organized by post-graduate students and graduates from Lomonosov Moscow State University.

Key words: textual scholarship; literary history; literary process; conference; chronic.

About the authors: *Ul'jana V. Bashko* — master's student Lomonosov Moscow State University (e-mail: ulyasha0210@gmail.com); *Alla O. Burtseva* — graduate Lomonosov Moscow State University, Academic publishing center "Ladomir" (e-mail: nilpferdin@yandex.ru); *Oxana A. Vorobyova* — post-graduate student Lomonosov Moscow State University (e-mail: erhalten@inbox.ru); *Ekaterina A. Pasternak* — master's student Lomonosov Moscow State University (e-mail: katrusia95@mail.ru).

А.В. Дулина, Д.Д. Черепанов

XI Международная научная конференция «XVIII ВЕК: СМЕХ И СЛЕЗЫ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ» (МГУ, 22–24 марта 2018)

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1

В обзоре освещается одиннадцатая из серии международных научных конференций по XVIII в. В докладах исследуются способы эмоционального познания мира в «век разума» и способы словесного, визуального и звукового выражения эмоций в XVIII в. На конференции рассматривались также восходящие к XVIII в. традиции художественного изображения эмоций в литературе и искусстве более поздних эпох.

Ключевые слова: конференция; история литературы; XVIII в.; Просвещение; компаративистика; рококо; сентиментализм; классицизм; эмоции; комическое; трагическое; ирония.

22–24 марта 2018 г. кафедра истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова провела одиннадцатую международную научную конференцию «XVIII век: смех и слезы в литературе и искусстве эпохи Просвещения». Давно ставшие традицией конференции по XVIII в., вдохновителем и бессменным организатором которых является профессор кафедры истории зарубежной литературы, президент Российского общества по изучению XVIII в. Н.Т. Пахсарьян, объединяют отечественных и зарубежных филологов, историков, философов, искусствоведов, исследователей западной и русской культуры века Просвещения. В XI конференции приняли участие 78 ученых из России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Саратов, Ростов-на-Дону, Саранск, Самара, Владивосток, Сочи, Уфа, Смоленск, Киров, Курган), Белоруссии, Украины, Грузии, Франции, Германии, Португалии и Ирландии.

Дулина Анна Викторовна — аспирант кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: doolina-anna@yandex.ru).

Черепанов Даниил Дмитриевич — кандидат филологических наук, преподаватель кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: ddcherep@gmail.com).

В этом году конференция была посвящена компаративному анализу способов эмоционального познания мира и изучению специфики художественного изображения эмоций в эпоху Просвещения. Каждый день конференции открывался пленарным заседанием, в котором участвовали исследователи разных национальных литератур и культур, в течение двух первых дней конференции работали три секции, все доклады активно и заинтересовано обсуждались.

Большое внимание докладчики уделили французской литературе XVIII в. *К.Ю. Кашлявик* (Нижний Новгород)[1] выступила с пленарным докладом «Паскалевские повороты просветителей: ирония и меланхолия», в котором были раскрыты механизмы восприятия «Мыслей» Б. Паскаля читателями XVIII в. Обсуждались особенности издания Пор-Рояля и особое место Вольтера в определении направления диалога просветителей с Паскалем. В докладе *Н.Т. Пахсарьян* «Плач и слезы в романе рококо ("Жизнь Марианны" Мариво)», открывавшем заключительное заседание, был рассмотрен вопрос о том, как игровая поэтика рококо использует лексику чувствительности, как создается скептико-ироническое дистанцирование в сюжете, фабула которого как будто настраивает читателя на сентиментальную историю.

Интерпретация сюжета об Эдипе в драме Жана-Франсуа Дюси «Эдип у Адмета» была рассмотрена в докладе *Я.Л. Забудской*. О различных аспектах эмоционального восприятия в литературе XVIII в. шла речь в докладе *М.А. Гистер* «А вдруг это любовь? "Воспитание чувств" в сказках, романах и новеллах мадам д'Онуа и мадам де Вильнёв». Смех и комическое стали главной темой докладов *В.Б. Кокоповой* о смехе «включающем» и смехе «исключающем» в романе М.К. д'Онуа «Записки о путешествии в Испанию» и *С.И. Панюты* о сказках «хранителя французской веселости» Вуазенона. Эмоциональное познание мира в теоретических текстах французского Просвещения рассматривалось в докладе *Т.Н. Жужгиной-Аллахвердян* (Бахмут, Украина) «Ж.-Ж. Руссо и его "Рассуждение о влиянии наук и искусств": откровение скорбящего сердца о прошлом и будущем человечества» и пленарном докладе *Г.Н. Ермоленко* (Смоленск) «Концепция комического в "Философском словаре" Вольтера». Г.Н. Ермоленко анализировала взгляд философа на проблему комического, его позицию в споре о древних и новых авторах, понимание жанра и стиля; главное внимание было уделено оценке жанра комедии, проблеме смешения серьезного и комического начал в драматических жанрах, характеристике высокого и низкого комизма. *О.А. Кулагина*

[1] Для участников из Москвы указание на город опущено.

проанализировала способы создания комического эффекта в «Сказках, баснях и фаблио» маркиза де Сада.

Одна из самых привлекательных особенностей серии конференций по XVIII в. — возможность сопоставительного рассмотрения нескольких национальных литератур. *Е.В. Фейгина* проанализировала понимание жанра комедии у К. Гольдони и К. Гоцци, отметив специфическое использование каждым из драматургов смеховых приемов, а также сопоставила роман У. Фосколо «Последние письма Я. Ортиса» с «Вертером» И.-В. фон Гёте. Итальянский писатель использует «Вертера» как метатекст, отсылая читателя, помимо этого, к Руссо и Стерну. Доклад *Е.Ю. Сапрыкиной* «Усмешка под занавес» был посвящен животным в сатирах аббата Касти, остроумного и дерзкого поэта-либертена, прозванного «итальянским Вольтером».

Широко представлен был и английский материал: к «потокам слез» в новеллах Афры Бен на тему женской чести обратилась *В.С. Трофимова* (СПб). Взаимодействие чувства и чувствительности в «Дневнике для Стеллы» Свифта исследовала *М.С. Харитонова* (Дублин, Ирландия). Поэтике рококо в создании иллюзии достоверности повествования, и игровому самоанализу женских персонажей Д. Дефо был посвящен доклад *А.А. Степановой* (Днепр, Украина). Фарсовые элементы в жанровой структуре комедий Джона Денниса исследовал *О.Ю. Поляков* (Киров). *В.В. Кирюшкина* (Саратов) рассматривала авторское самосознание английских августианцев и прослеживала эволюцию понятий «энтузиазм» и «воображение» у Шефтсбери и С. Джонсона. *Т.Г. Чеснокова* проанализировала важнейшие особенности сюжетной структуры и системы персонажей комедии Дж. Колмана «Ревнивая жена» (1761), частично опиравшейся на фабулу «Истории Тома Джонса» Г. Филдинга. Пьеса рассматривалась в сопоставлении с литературным источником и на фоне жанровых канонов английской «веселой» комедии середины XVIII в. В докладе о сказках У. Бекфорда *Я.С. Линкова* отметила, что оригинальность в трактовке «слез и смеха» возникает за счет обмана читательских ожиданий: канон сказочного повествования разрушается за счет гротеска, парадокса и гиперболы, и таким образом обыгрываются и популярные представления о человеке, познании и природе зла. Английская предромантическая поэзия рассматривалась в докладе *И.Ю. Поповой*, где был прослежен мотив оплакивания дикой природы, и в докладе *Т.Г. Лазаревой* (Курган), посвященном балладе Томаса Перси «Уорквортский отшельник». Как отмечает докладчик, описание надгробного памятника в балладе становится отправной точкой для перехода от сентименталистской поэтической традиции к историческому повествованию со сложной

символической структурой, в которой особое место занимает могила прекрасной дамы.

Три доклада представляли немецкую литературу XVIII в.: в пленарном докладе *Г.В. Синило* (Минск, Беларусь) «Библейская “слезность” и особенности стиля сентименталистов» было показано влияние библейской поэтики на формирование стиля сентиментализма, в частности, Ф.Г. Клопштока, специфика «слезности» в поэме «Мессиада». Книга Псалмов стала важнейшим архетекстом для новаторского жанра, созданного Клопштоком, — религиозно-философского гимна в свободных ритмах. В докладе *И.А. Черненко* (Ростов н/Д) рассматривался роман К.М. Виланда «История абдеритов», истолкованный как модель игрового романа-антиутопии, в котором своеобразно развивается поэтика комического. *Д.Д. Черепанов* анализировал связь между теоретическими работами Я.М.Р. Ленца, прежде всего богословскими и философскими трактатами, и его драматургией, указал на важность для писателя восприятия чувства как целостного ощущения. Немецкая литература эпохи Просвещения была также темой стендовых докладов *Н.Г. Квирикадзе* (Слезливость и комедийность в драмах Готхольда Эфраима Лессинга «Мисс Сара Сампсон» и «Минна фон Барнхельм») и *Н.А. Какауридзе* (Призыв к эмоциональному восприятию мира в литературной теории «Бури и натиска) (Кутаиси, Грузия).

Любопытная история превращения веселой застольной песни английского анакреонтического клуба в национальный гимн США была рассказана в докладе *Т.Н. Потницевой* (Днепр, Украина). Редкий материал был представлен *О.Ю. Пановой* в докладе «Чувствительное и комическое изображение черной расы в англо-американской литературе XVIII — начала XIX в.». *Л.Г. Садыхова* проделала анализ первого драматургического произведения, созданного в США конца XVIII века (“The Contrast”, R. Tyler) с точки зрения его дидактической интенции, структуры и средств создания комизма, которые рассматривались в культурно-историческом контексте.

На конференции также были представлены доклады, посвященные визуальному и звуковому выражению эмоций в живописи и музыке XVIII в. В богато иллюстрированном картинами, сценами из постановок и фрагментами оперных арий докладе *Е. Ивановой-Гледель* (Нант, Франция) были представлены опера Люлли-Кино «Атис» и пародии на нее XVIII в., а затем прослежена эволюция форм пародирования от рококо к постмодернизму, вплоть до новейшей пародии 2017 г. В докладе *В.П. Кадочникова* (Екатеринбург) с точки зрения либреттологии была рассмотрена кантата Карла Вильгельма Рамлера “Der Tod Jesu”. В докладе *Е.Г. Желновой* исследовался вопрос

о влиянии сочинений Екатерины II и И.И. Бецкого на историческую живопись второй половины XVIII в., в том числе на исторические полотна П.И. Соколова. Доклад *М.И. Стихиной* (Екатеринбург) был посвящен визуальному выражению эмоций в русском живописном портрете XVIII в. *В.И. Силантьева* (Одесса, Украина) анализировала ретроспекции XVIII в. в живописи Константина Сомова. Подвергалось сомнению уже устоявшееся мнение о К. Сомове как символисте: портреты, жанровые картины и его пейзажи, рассмотренные в контексте литературного символизма и художников-«мирискусников», позволяют видеть в нем художника «рубежного сознания».

Отдельным направлением работы конференции стало обсуждение традиций сентиментализма в национальных литературах XIX–XXI вв. В докладе *А.В. Поповой* (Донецк, Украина) рассматривались особенности функционирования мотива слез на уровне системы персонажей в эпопее Ф.-Р. де Шатобриана «Начезы». Открытое проявление чувств положительных персонажей «Начезов» противопоставляется болезненной отрешенности от мира людей, безутешности и ощущению исключительности собственных переживаний Рене. Такая оппозиция, с точки зрения докладчика, наглядно иллюстрирует столкновение сентиментальной и романтической модальности в произведении, подтверждая пограничный характер его поэтики. В докладе *Г.И. Модиной* (Владивосток) анализировались аспекты сентиментальной модальности в романе Флобера «Воспитание чувств». Отзвуки иронии XVIII столетия в литературе символизма и постмодернизма проследила *И.Ю. Гаврикова* (Брауншвейг, Германия). *В.Ю. Лукасик* представила доклад «“Желанье смеха и нужда в слезах”: к вопросу о ностальгии XIX века по веку XVIII». *Н.А. Литвиненко* продемонстрировала, что в романе «Индиана» Ж. Санд руссоистская чувствительность легла в основу остранения и разрушения некоторых элементов концепции чувств и страстей, свойственных романтизму. *К.А. Чекалов* указал, что роман судебной ошибки «Роже-ла-Онт» Жюля Мари активно эксплуатирует тот тип сентиментальной модальности, который был характерен для театральной мелодрамы. В докладе было обращено внимание на генетическую связь использованного Жюлем Мари арсенала средств выразительности с культурной традицией XVIII в. *Е.В. Лозинская* провела параллель между трактатами Д. Юма, А. Смита. Г. Хоума, поэтологическими размышлениями А.Л. Барбо и Маккензи и современными исследованиями литературной эмпатии.

В докладе *А.А. Шейко* «Реклама викторианской эпохи как развлечение и привлечение читателей романа в выпусках (“Холодный дом” Диккенса)» был сделан акцент на том, как появившиеся в Англии

в XVIII в. рекламные приемы усваивались и трансформировались в викторианскую эпоху. Мотивы «шотландской готики» в сборнике Р.Л. Стивенсона «Детский сад стихов» проанализировала *Н.Н. Долгая* (Одесса, Украина). *М.К. Согомонян* разбирала колумбийское преломление феномена «Поля и Виржини» в романе Хорхе Исаакса «Мария». Готической традиции были посвящены три доклада: *Т.Б. Карасевой* (Самара) «Готическое как объект пародирования в повестях Дж.К. Джерома», *А.Л. Гринштейн* (Самара) «Готическое в романе Д. Саттерфилд “Тринадцатая сказка”» и *О.В. Разумовской* «“Простодушная непосредственность”: образы слуг как источник комического в готических романах». Об иронии и меланхолии в творчестве Т. Драйзера говорили *В.Е. Калганова* и *Э.Л. Михайлов* (Сочи). Доклад *Е.В. Гнездиловой* был посвящен разуму и чувству в романе Дж. Фаулза «Волхв». Сентиментальной модальности в восточнонемецкой литературе 1990-х годов был посвящен доклад *Ю.А. Помогайбо* (Одесса, Украина). Тексты главных представителей этой литературы, Т. Бруссига и Й. Шпаршу, представляют собой произведения сатирического плана, главной темой которых становится тоска по «утраченному социалистическому раю»: отношение автора к чувствам своих соотечественников колеблется между ироническим (Й. Шпаршу, «Комнатный фонтан») и сентиментально-романтическим (Т. Бруссиг, «Солнечная аллея»). Творчеству латиноамериканского поэта Рубена Дарио был посвящен доклад *А.В. Гладощук*. Доклад о «Маркизе Алорна» (2011) М.Ж. Лопу де Карвалю сделала *Е.В. Огнева*. *А.Д. Маглий* рассмотрела ряд современных романов: «Амстердам» И. Макьюэна (1998), «Часы» М. Каннингема (1999), «Тристан-аккорд» Х.-У. Трайхеля (2000), сопоставляя постмодернистскую иронию этих произведений с различными типами иронии, характерными для текстов XVIII в.

Важное место заняли доклады исследователей русского XVIII в. *А.Н. Пашкуров* (Казань) в пленарном докладе описал на материале русской поэзии рубежа XVIII–XIX вв. предромантическое восприятие меланхолии как тринитарной системы. В пленарном докладе *С.А. Саловой* (Уфа) были проанализированы притчи А.П. Сумарокова и комедия Д.И. Фонвизина «Бригадир» как разножанровые сатирические произведения, тематизировавшие феномен ложной чувствительности и предвосхитившие важнейшую для «Бедной Лизы» Н.М. Карамзина дихотомию «истинная/ложная» чувствительность. *М.Ю. Осокин* рассказал о концепции построчного комментария к комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» и представил фрагменты комментария к некоторым частям пьесы. *О.А. Метелева* (Киров) представила результаты анализа басен В.И. Майкова и вписала их в историко-литературный контекст.

Предметом обсуждения в пленарном докладе *А.В. Архангельской* стала эмоциональная составляющая рассказа о смерти киевского князя Олега в «Повести временных лет» (912 г.) и в исторических сочинениях XVIII — начала XIX в. (М.В. Ломоносов, М.М. Татищев, Н.М. Карамзин) с точки зрения эволюции изображения эмоций в литературе древнерусского периода и Нового времени.

Т.И. Акимова (Саранск) обратила внимание на особенности включения в текст мемуаров Екатерины II анекдота при создании литературных портретов своих современников: с одной стороны, императрица идет вслед за Плутархом, с другой — вводит свой текст в русло разговорной, салонной традиции, в которой анекдот связывается не только с положительными героями или парадоксальными жизненными ситуациями, но и с отрицательными персонажами и с сатирическим осмеянием (в особенности — при создании образа Петра III).

А.Г. Маслова (Киров), рассмотрев торжественные оды Е.И. Кострова различных периодов его творчества, показала, что поэт начинал как ученик М.В. Ломоносова, имитируя лирический восторг в качестве основной эмоции, тогда как в дальнейшем эта тенденция сохранялась в политически и идеологически маркированных ситуациях, а в более свободных одах можно говорить о появлении экспериментов с формой и эмоциональным строем произведения.

Доклад *Т.В. Саськовой* был посвящен двум произведениям Богдановича — ироикомической поэме «Душенька» и лирической одноактной комедии «Радость Душеньки». Первое произведение — своеобразная интерпретация сказки, восходящей к Апулею и Лафонтену, под пером русского поэта обретающей черты пародийности, иронической игры, фривольности, связанные с эстетикой рококо. В основе другого произведения лежит оригинальный сюжет, и здесь комическое, сопряженное с трогательным, восходит к поэтике сентиментализма.

В пленарном докладе *Т.Ф. Теперик* «“Смех” и “Слезы” в переводе Н. Карамзина: “Юлий Цезарь” Шекспира» поэтика перевода рассматривалась в сравнительном сопоставлении, во-первых, с взглядами Н. Карамзина на сущность и задачи художественного перевода, во-вторых, с переводами трагедии Шекспира, выполненными в XIX–XX вв. Переводу М.В. Сушковой драмы Ж.-Г. Дюбуа-Фонтанеля был посвящен доклад *Е.Э. Овчаровой* (Санкт-Петербург) «Сентиментальная драма или восстание против традиций».

Доклады по русской литературе и живописи XVIII в. составили одну из самых интересных секций конференции. *Е.К. Петривняя* обосновала значимость принципа антитетичности в художественной репрезентации темы вина в античной лирике и раскрыла

базовые механизмы ее русификации в анакреонтических песнях Г.Р. Державина. В докладе *Е.М. Дзюбы* (Нижний Новгород) были проанализированы две репрезентативные для творчества М.Д. Чулкова маски автора — «пересмешник» и «скоморох». *А.Д. Ивинский* посвятил доклад аналитическому рассмотрению сентиментальной топики в неопубликованных стихотворениях М.Н. Муравьева, хранящихся в Отделе рукописей РГБ, и актуализировал необходимость критического пересмотра существующих представлений о преромантической природе его художественного мышления. В докладе *Т.А. Алпатовой* была проанализирована система мотивов, связанных с темой смеха, веселья, иронии в «Путешествии из Петербурга в Москву» и был поставлен вопрос о смеховом мире А.Н. Радищева как целостной семиотической системе. Объектом исследования в докладе *А.В. Растягаева* и *Ю.В. Сложеникиной* (Самара) явилось эссе А.П. Сумарокова «О неестественности», где сформулирована эстетическая позиция Сумарокова; формула писателя XVIII в.: «естество простоты и простота естества» интерпретируется как универсальный критерий оценки литературного творчества. Доклад *О.Л. Довгий* посвящался анализу механизма кантемировской иронии, основной принцип которой определялся как «принцип посрамлённого образца», а основная риторическая стратегия — как движение между режимом литоты и режимом гиперболы. В докладе *А.И. Иваницкого* на материале русской панегирической поэзии просвещенного абсолютизма был рассмотрен царский загородный «парадиз» как локус вечной весны «золотого века», возвращённого «богоподобным» монархом; обосновывалась мысль, что с закатом екатерининской эпохи и угасанием «парадизов» природа в сентименталистской и романтической элегии вернулась в состояние разомкнутого целого, управляющего историей.

Ряд докладов был посвящен выходящей за пределы художественной литературы и изобразительного искусства культуре XVIII в. в ее связях с предшествующими и последующими веками. *Т.В. Левченко* проследила переклички в двух пушкинских текстах — романе «Евгений Онегин» и комической поэме «Домик в Коломне» — с реальным предметом XVIII в. — карнавальной венецианской маской, а также выделила специфические венецианские аллюзии в связи с одним из персонажей «Домика в Коломне», служанкой по имени Мавра. *В.А. Махортова* (Лиссабон, Португалия) рассматривала изобретение бразильского священника Б.Л. де Гусмана (1685–1724), вошедшее в историю как «пассарола». Опередившее время изобретение, представлявшее собой аэростат, вызывало непонимание у современников, но было воспринято как многозначный символ поэтами и

писателями последующих эпох. *А.В. Голубков* представил доклад «Галльский смех во французских анекдотах эпохи Просвещения: Gastronomiana, Peteriana, Merdiana». Особое место занял доклад *В.Д. Наривской* (Днепр, Украина) «"Энеида" Ивана Котляревского: иллюстрация как текст», обращенный к украинской литературе.

В обобщающем пленарном докладе *Т.Е. Автухович* (Гродно, Белоруссия) «Несмешной смех XVIII века и его вербальное и визуальное выражение» был рассмотрен вопрос о специфике смеха как способа мироистолкования в литературе века Просвещения. Сатирический смех, оперирующий риторическим «готовым словом», был представлен как вербальное обличение человеческих недостатков, которые рассматриваются как отступление от регламентированной и общепринятой нормы поведения, и потому утверждает незыблемость нормативного устройства общества. Напротив, редкие случаи вербально-визуальных образов в сатире рассматривались как проявление эпистемологической растерянности автора при встрече с непонятными формами поведения, подрывающими базовые представления и ценностные основания мироустройства. По наблюдениям Т.Е. Автухович, вербально-визуальные образы в сатире XVIII в. связаны с осмыслением моды и модного поведения.

Вопрос о месте эмоционального познания мира в «век разума» оказался, таким образом, весьма плодотворным для компаративного изучения культуры XVIII в. в ее национальных вариантах; а общение и интеллектуальный обмен, для которого конференция с ее широким охватом дает уникальную возможность, делает ее одним из самых значимых событий для исследователей этого периода.

По итогам конференции планируется издание коллективной монографии.

Anna V. Dulina, Daniil D. Cherepanov

The 11th International Scientific Conference 'THE 18th CENTURY: LAUGHTER AND TEARS IN THE LITERATURE AND ARTS OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT' (Lomonosov Moscow State University, March 22–24, 2018)

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

This review discusses the 11th International conference on the 18th century held at the Faculty of Philology of the Lomonosov Moscow State University. Contributors concentrated on the emotional cognition and on verbal, visual and

audial expression of emotions during the "Age of Reason". Another focus of the conference was the depiction of feelings in literature and art of other centuries in its relation to the 18th century.

Key words: conference; history of literature; 18th century; Age of Enlightenment; comparative literature studies; Rococo; Sentimentalism; Classicism; emotion; the comic; the tragic; irony.

About the authors: *Anna V. Dulina* — PhD student at the Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University (e-mail: doolina-anna@yandex.ru); *Daniil D. Cherepanov* — Candidate of Philology, Lecturer at the Faculty of Philology, Lomonosov Moscow State University (e-mail: ddcherep@gmail.com).

А.Е. Беликов

ДЕНЬ НАУКИ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ — 2018

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

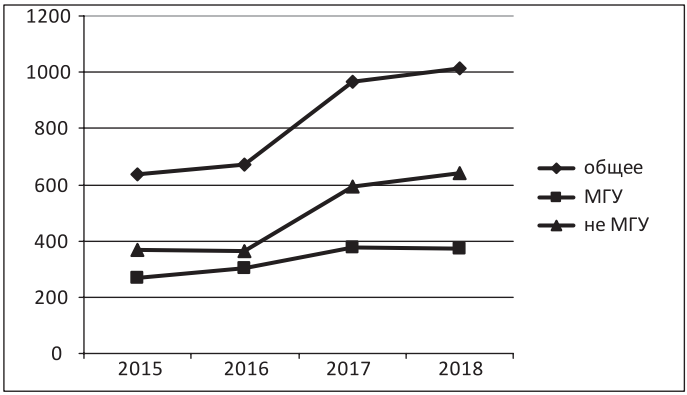
Отчет о прошедшей 11–12 апреля 2018 г. на филологическом факультете Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (День науки) содержит сведения о количестве и составе участников, структуре и тематике подсекций, лучших докладчиках и наградах.

Ключевые слова: конференция Ломоносов; День науки; молодежный форум.

На филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 11 и 12 апреля 2018 г. проходила Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» — традиционный День науки, который объединяет начинающих исследователей из разных вузов и стран. Секция «Филология» привлекла внимание многих участников Международного молодежного научного форума «Ломоносов–2018». По общей тенденции последних лет она остается одной из самых популярных секций гуманитарного направления в рамках Международной конференции «Ломоносов».

В этом году для участия в работе секции «Филология» было подано около 1050 заявок из более чем 150 вузов и научных институтов, в том числе и от иностранных участников из Австралии (из Сиднея), Азербайджана (из Баку), Армении (из Еревана), Белоруссии (из Минска, Гродно, Несвижа), Грузии (из Тбилиси), Казахстана (из Астаны, Алматы, Костаная), Китая (из Шанхая), Литвы (из Мариямполе), Польши (из Познани), Узбекистана (из Ташкента), Украины (из Донецка, Луганска, Ясиноватой), а также от обучающихся на филологических факультетах российских университетов аспирантов из Китая. Пришло много заявок от студентов различных российских вузов: из отобранных работ наибольшее количество приходится на Донецкий национальный университет — 24 работы. Значителен был вклад Северо-Кавказского федерального университета — 22 работы, Санкт-Петербургского государственного университета — 17 работ,

Беликов Алексей Евгеньевич — кандидат филологических наук, доцент кафедры классической филологии филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: belikov.smu@gmail.com).



Число поданных заявок на секцию «Филология» (данные за четыре года)

Высшей школы экономики и Московского государственного областного университета — по 14 работ, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова — 10 работ, Томского государственного университета и Южного федерального университета — по девять работ, Воронежского государственного университета и Российского университета дружбы народов — по восемь работ. Всего по результатам работы экспертных комиссий было отобрано 600 заявок на участие в конференции в секции «Филология». Тезисы этих участников были опубликованы в электронном виде[1].

Работа 56 подсекций была разбита на два дня — 11 и 12 апреля. В рамках секции «Филология» в этот раз было проведено заседание трех межкафедральных подсекций, также в Пушкинской гостиной по приглашению Научного студенческого общества кафедры истории зарубежной литературы с докладом «Карл Орлеанский (1394–1465), принц-поэт, поэт-принц» выступила к.ф.н., доц. кафедры французского языкознания *Е.В. Клюева*. Доклад был посвящен французскому поэтому XV в. Карлу Орлеанскому, в творчестве которого прослеживаются изменения от традиционной куртуазно-аллегорической поэзии к созданию нового поэтического языка. Выступление привлекло значительное внимание участников и гостей конференции.

Традиционно чрезвычайно популярная у молодых исследователей межкафедральная секция «Филологическое исследование переводов текста» (руководитель — к.ф.н., доц. *А.В. Уржа*), на этот раз собрала филологов не только из Москвы, но и из Барнаула, Донецка, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ярославля. Пятнадцать докладов

[1] Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2018» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс]. М., 2018. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. — 1450 Мб. — 11000 экз. — ISBN 978-5-317-05800-5 — СЕКЦИЯ «Филология».

были посвящены переводам самых разных авторов: Томаса Мэлори, А.С. Пушкина, Людвига Уланда, Майн Рида, Германа Гессе, Агаты Кристи, В.В. Набокова и др. Разнообразны были и поднятые вопросы, например: аспектуальные характеристики глагольных форм, компаративные тропы, поэтонимы, поэтика ужасного, этнокультурная идентичность, феноменология и даже нейронные сети. Работа секции продолжила плодотворный процесс обмена результатами и опытом научного исследования языка переводного текста между различными научными школами и направлениями в рамках данной секции конференции «Ломоносов».

Другой межкафедральной секцией по уже сложившейся традиции стала секция «Язык и языки в интернет-коммуникации» (руководитель — д.ф.н., проф. *О.В. Дедова*). В рамках данной секции было прочитано 12 докладов, значительная часть которых была сделана иногородними участниками — докладчиками из Владивостока, Волгограда, Красноярска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Череповца. Были затронуты различные сферы и аспекты функционирования языка в Интернете: комический эффект и языковая игра в интернет мемах, хештег как объект лингвистического исследования, английские заимствования сферы масс-медиа (на материале немецкоязычной прессы), жанр воспоминания в социальной сети, концепция «свой-чужой» в спортивных пабликах, сетература постмодерна и др.

Секция «Геолингвистика и искусственные языки» (руководители — д.ф.н., проф. *С.Н. Кузнецов* и к.ф.н., преп. *О.Н. Шувалова*) проводилась в третий раз и состояла из восьми докладов, в которых рассматривались вопросы лингвоконструирования и искусственных языков (řečpuōspuō̦icisks и его диалекты, эсперанто, эльдарские языки, роль вымышленных языков в гик-культуре), но также вопросы геолингвистической направленности, касающиеся естественных языков: группы имен в говорах Подмосковья, семантический анализ времен в английском и татарском, национальная картина мира и др.

Большим количеством выступлений были отмечены секции английского языкознания (33 доклада), секция истории зарубежной литературы с четырьмя подсекциями (33 доклада), секция истории русской литературы с шестью подсекциями (54 доклада), секция теоретической и прикладной лингвистики (20 докладов), три подсекции кафедры теории литературы объединили 40 участников, секция истории русской литературы XX–XXI вв. с семью подсекциями была представлена 73 докладами, секция «Русский язык как иностранный» состояла из четырех подсекций с общим числом докладов 47, секция «Теория дискурса и коммуникации» — 38 докладов в трех подсекциях. Наибольшим количеством выступлений была отмечена секция «Русский язык», объединившая в восьми подсекциях 99 молодых ученых из Москвы и других городов (Белгород, Владимир, Воронеж,

Вятка, Елец, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Кострома, Петрозаводск, Севастополь, Смоленск, Тольятти, Томск, Тула, Уфа, Хабаровск и др.).

Всего в работе секции «Филология» приняло участие около 630 участников, выступивших с сообщениями перед своими молодыми коллегами и руководившими заседаниями преподавателями-экспертами.

Дипломами ректора за лучший доклад были отмечены: *Божедонова Алла Евгеньевна* (Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова) за доклад «Система названий мастей лошади в якутском языке (сравнительно-исторический аспект», *Чуванова Ольга Игоревна* (Донецкий национальный университет) за доклад «Прием парности в сборнике рассказов Салмана Рушди "Восток, Запад"» и *Шершикова Александра Викторовна* (Донецкий национальный университет) за доклад «Баллада Л. Уланда "Junker Rechberger" в интерпретации В.А. Жуковского: исторический колорит и поэтика ужасного».

Около 200 участников были награждены грамотами декана и книгами, 62 докладчика получили рекомендацию к публикации в рецензируемом мультиязычном научном журнале Stephanos (электронном проекте филологического факультета).

Aleksei E. Belikov

SCIENCE DAY AT THE FACULTY OF PHILOLOGY — 2018

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

This report is dedicated to the philological section of the International conference "Lomonosov" which took place on April 11–12, 2018 at the Faculty of Philology. Approximately 1050 young scientists and scholars had applied and 600 were approved to participate. Guests from all over Russia as well as from Australia, Armenia, Azerbaijan, Belorussia, China, Georgia, Kazakhstan, Lithuania, Poland, Ukraine, Uzbekistan took part in our conference. The philological section had 56 subsections, among them — Geolinguistics and Artificial Languages, Language and Languages in the Internet Communication, Philological Study of Text Translations. Around 200 participants were awarded the diplomas and books, 62 were granted recommendations to publish their articles in the Stephanos journal.

Key words: Lomonosov Conference; Science Day; youth forum.

About the author: *Aleksei E. Belikov* — PhD, Assoc. Prof., Classics Department, Faculty of Philology, Moscow State Lomonosov University (e-mail: belikov.smu@gmail.com).

А.В. Архангельская, А.А. Пауткин

НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.И. БУСЛАЕВА, НА ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Статья представляет собой хронику межкафедральной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Ф.И. Буслаева, прошедшей на филологическом факультете МГУ 17 апреля 2018 г.: излагаются основные положения, предложенные выступающими вниманию слушателей.

Ключевые слова: Ф.И. Буслаев; конференция; научная биография; фольклористика; древнерусская литература; история русского языка; грамматика русского языка; преподавание русского языка.

17 апреля 2018 г. на филологическом факультете МГУ прошла межкафедральная научная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения Федора Ивановича Буслаева (1818–1897). Конференция была организована кафедрой истории русской литературы, к участию были привлечены литературоведы, фольклористы и лингвисты-синхронисты, историки языка и теоретики. В ходе конференции оказались раскрыты самые разные аспекты научной деятельности профессора Императорского Московского университета и действительного члена Петербургской Академии наук Ф.И. Буслаева.

Утреннее заседание открылось вступительным словом заведующего кафедрой истории русской литературы филологического факультета МГУ профессора *В.Б. Катаева*, который отметил разносторонний вклад Ф.И. Буслаева в различные области гуманитарной науки и выразил надежду на то, что вся многообразная палитра интересов ученого получит освещение в ходе работы конференции.

Архангельская Анна Валерьевна — кандидат филологических наук, доцент кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: arhanna@mail.ru).

Пауткин Алексей Аркадьевич — доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: apautkin@yandex.ru).

Профессор *Е.А. Кузьминова* (Москва, МГУ) рассмотрела воззрения Ф.И. Буслаева на метаязыковую рефлексию, отраженные в его фундаментальной «Исторической хрестоматии церковнославянского и древнерусского языка» (М., 1861), которая может служить введением в изучение ранней славяно-русской грамматической традиции, так как опубликованные и прокомментированные в ней фрагменты из сочинений филологической проблематики позволяют вполне адекватно представить себе интересы славянских книжников и процесс развития их грамматического мышления от конца IX в. до первой трети XVIII в.

Доклад профессора *Т.В. Пентковской* (Москва, МГУ) был посвящен рукописи из собрания РГБ. Ф. 304. I № 308, графико-орфографическими и палеографическими особенностями которой занимался Ф.И. Буслаев в середине XIX в. и которая получила впоследствии название «Буслаевской Псалтыри». Отмечалось, что изучение текстологических особенностей входящих в ее состав богослужебных текстов демонстрирует их преимущественное следование южнославянской переводческой традиции, отразившейся на Руси в так называемых киприановских редакциях богослужебных книг. Такая ситуация хорошо сочетается с установленным еще Ф.И. Буслаевым фактом южнославянской ориентации в орфографии и оформлении рукописи.

Доцент *Н.В. Николенкова* (Москва, МГУ) обратилась в своем сообщении еще к одному малоизвестному в науке тексту — сделанному в Москве в середине XVII в. переводу Атласа голландских картографов Блау. Фрагменты из Атласа были помещены Ф.И. Буслаевым в его «Исторической хрестоматии церковнославянского и древнерусского языка», при этом в ходе доклада было продемонстрировано, что ученому удалось включить в свой труд отрывки из наиболее интересных, как выяснилось при подробном лингвистическом исследовании, глав этого сочинения.

В докладе профессора *М.Ю. Сидоровой* (Москва, МГУ) работа Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного языка» была рассмотрена как в контексте общего состояния лингвистики и лингводидактики середины XIX в., так и с точки зрения актуальности лингводидактических взглядов Буслаева для настоящего времени. Был показан антропоцентризм лингводидактической системы Буслаева, проявляющийся как в отборе содержания обучения, так и в методических приемах, и продемонстрирована научность этой системы, базирующаяся на сочетании функционального и сравнительно-исторического подходов. Особо были выделены положения лингводидактики Буслаева, которые, несмотря на свою очевидную продуктивность и обоснованность как с собственно

лингвистической, так и с психолого-педагогической точки зрения, заменены в современном школьном образовании на сомнительные «новаторские» идеи.

В докладе доцента *В.В. Кавериной* (Москва, МГУ) на материале первого и последнего изданий «Исторической грамматики русского языка» Ф.И. Буслаева были рассмотрены проблемы истории, теории и кодификации графики и орфографии; особое внимание уделялось теоретическому положению об изменении соотношения звуков и букв в диахронии, обоснованию правила правописания буквы Ѣ, особенностям употребления удвоенных согласных в русском письме.

Доцент *А.В. Уржа* (Москва, МГУ) обратилась к наблюдениям Ф.И. Буслаева над сохранением «признака вида в отглагольных именах», связанного с реализацией семантики кратности в существительных и прилагательных, которые современная коммуникативная грамматика называет неизосемическими. Оригинальные наблюдения Ф.И. Буслаева были рассмотрены в контексте современного представления о кратности как о функционально-семантической категории, воплощаемой при помощи разнотипных средств на уровне морфологии, синтаксиса, словообразования, лексики и текста; иллюстративным материалом стали варианты русского перевода неоднозначных в плане семантики кратности фрагментов англоязычного нарратива.

А.С. Улитова (Санкт-Петербург) отметила в своем выступлении, что многие выводы о порядке слов в древнерусских текстах, впервые сделанные Ф.И. Буслаевым в «Исторической грамматике русского языка», неоднократно подтверждались в ходе последующих исследований, в частности, ученый обнаружил некоторые закономерности словорасположения в атрибутивных словосочетаниях. Впоследствии лингвисты, не столько опровергая, сколько уточняя наблюдения Ф.И. Буслаева, пришли к выводу о необходимости изучения диалектных данных, где до сих пор сохраняются особенности словорасположения, исчезнувшие в литературном языке, например, зависимость порядка слов в атрибутивном словосочетании от одушевленности определяемого существительного.

Вечернее заседание началось с фундаментального доклада профессора *О.В. Никитина* (Москва, МГОУ), в котором освещались малоизвестные факты из биографии Ф.И. Буслаева в контексте научной традиции XIX в.: становление личности ученого в период его обучения в Императорском Московском университете, первые педагогические и лингвистические опыты, вхождение в передовые идеи компаративистики и др. Докладчик также продемонстрировал редкие архивные находки и публикации и рассказал о судьбе потомков Ф.И. Буслаева.

Профессор *А.Н. Качалкин* (Москва, МГУ) посвятил свое выступление вопросам, связанным с влиянием лингвистических воззрений Ф.И. Буслаева на тексты деловой речи, особенно сосредоточившись на трудностях жанровой классификации деловых текстов в синхронии и диахронии.

В докладе доцента *С.В. Алпатова* (Москва, МГУ) было проанализировано влияние идей ученого, изложенных в статье «О сродстве одного русского заклятия с немецким, относящимся к эпохе языческой» (1861) на формирование исследовательской парадигмы отечественной фольклористики XX–XXI вв. применительно к вопросу о типологическом сходстве, историко-генетическом родстве и культурных взаимовлияниях заговорных и нарративных мифопоэтических текстов типа «кость к кости, плоть к плоти, кровь к крови» разных этнических традиций.

Л.В. Фадеева (Москва, ГИИ) сосредоточила свое внимание на авторитете Ф.И. Буслаева как знатока древнерусской иконописи и книжных источников, фиксировавших сведения, необходимые для мастеров-иконописцев, предложив рассматривать его работы «Общие понятия о русской иконописи» и «Литература русских иконописных подлинников» как следствие общего интереса ученого к мировоззрению древнерусского человека, которое раскрывалось ему, в частности, и благодаря текстам-комментариям, фиксировавшим традиции, передававшиеся в среде иконописцев. Исходя из тезиса о неразрывной связи слова и изображения в древнерусской культуре, докладчик продемонстрировала, как легенда и икона взаимодействуют в традиции, предопределяя форму и содержание друг друга, отметив, что механизмы такого рода взаимодействия были рассмотрены и в работах учеников Ф.И. Буслаева, в частности, в обобщающем выступлении А.И. Кирпичникова «Взаимодействие иконописи и словесности народной и книжной» на VIII археологическом съезде в Москве (состоялось в 1890 г., опубликовано в 1895 г.).

Профессор *А.А. Пауткин* (Москва, МГУ), продолжая разговор об искусствоведческой проблематике в научных исследованиях Ф.И. Буслаева, подробно рассмотрел и проанализировал в своем сообщении критические отклики ученого на приобретшую в 1870-е годы широкую известность книгу французского реставратора и архитектора Э.Э. Виолле-ле-Дюка о русском искусстве допетровской Руси.

Доцент *А.В. Архангельская* (Москва, МГУ) обратила внимание на сюжет «исследователь женских хитростей» в статье Ф.И. Буслаева «Перехожие повести и рассказы»: ученый упоминал о нем в связи с одной из новелл «Истории о семи мудрецах» и привел параллели из персидской «Книги Попугая» Нахшаби и лубочной сказки «О купцо-

вой жене и прикащике», восходящей к одноименной стихотворной фацеции. В ходе выступления были продемонстрированы вариации фацециального сюжета в рукописной и печатной традиции и отмечены специфические черты свойственной этому произведению вариации мотива.

Все доклады сопровождались оживленным и заинтересованным обсуждением.

Anna V. Arkhangelskaia, Alexsei A. Pautkin

CONFERENCE DEDICATED TO THE 200TH ANNIVERSARY OF F.I. BUSLAEV, AT THE FACULTY OF PHILOLOGY, LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY

Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991

This is a chronicle of the conference dedicated to the 200th anniversary of F.I. Buslaev, held at the Philological Faculty of Moscow State University April 17, 2018.

Key words: F.I. Buslaev; conference; folklore; old Russian literature; the history of the Russian language; the grammar of the Russian language; the teaching of the Russian language.

About the authors: *Anna V. Arkhangelskaia* — Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of the History of Russian Literature of the Philological Faculty of Moscow Lomonosov State University (e-mail: arhanna@mail.ru); *Alexei A. Pautkin* — Doctor of Philology, Professor, Professor of the Department of the History of Russian Literature of the Philological Faculty of Moscow Lomonosov State University (e-mail: apautkin@yandex.ru).

Н.М. Стойнова

ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРЕПОДАВАНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
119019, Москва, ул. Волхонка, д. 18/2

На филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова прошла конференция, посвященная проблемам преподавания лингвистики. Обсуждались такие вопросы, как разработка новых учебных курсов, преподавание лингвистам нелингвистических дисциплин, организация двухступенчатой системы образования (бакалавриат и магистратура), интеграция выпускников в профессиональную деятельность, формы студенческой практики и др.

Ключевые слова: преподавание лингвистики; направление фундаментальная и прикладная лингвистика.

19–20 апреля 2018 г. на филологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Подготовка специалистов по фундаментальной и прикладной лингвистике: проблемы и решения».

Конференция была организована кафедрой теоретической и прикладной лингвистики совместно с Ассоциацией преподавателей и исследователей в области фундаментальной и прикладной лингвистики и Институтом языкознания РАН.

Темой научной встречи стали проблемы теории и методики преподавания по направлению 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (ФиПЛ). Обсуждалась, в частности, разработка новых учебных курсов; оптимальное соотношение дисциплин в учебном плане; преподавание лингвистам нелингвистических дисциплин; формы студенческой практики, в том числе привлечение студентов к научным и прикладным проектам и организация лингвистических экспедиций; проблемы интеграции выпускников в дальнейшую профессиональную деятельность; работа с абитуриентами и популяризация лингвистики.

Наталья Марковна Стойнова — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела корпусной лингвистики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (e-mail: stoynova@yandex.ru).

С устными докладами выступили 27 участников конференции из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Челябинска, Ижевска, Воронежа, Саратова, Перми, представлявшие основные вузы России, в которых ведется набор на данное направление, а также на профиль «Теоретическая и прикладная лингвистика» в рамках направления «Лингвистика», в основном готовящего преподавателей иностранных языков и переводчиков. Более 10 человек приняли участие в организованном в рамках конференции круглом столе.

На открытии конференции с приветственным словом выступили зам. декана по науке филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проф. *О.В. Александрова* и председатель оргкомитета конференции проф. *И.М. Кобозева*.

В рамках конференции было проведено шесть тематических заседаний. Заседание «Направление подготовки ФиПЛ: опыт преподавания» (под председательством И.М. Кобозевой) открыл *В.М. Алпатов* (Москва, МГУ), представивший обзор истории преподавания лингвистических и нелингвистических дисциплин на ОТиПЛе (ОСиПЛе) МГУ за 57 лет его существования. Доклад *О.А. Турбиной* (Челябинск, ЮУрГУ) был посвящен преподаванию ФиПЛ на кафедре общей лингвистики, открытой в 1998 г. в Южно-Уральском государственном университете: автор рассказала о сложностях, вставших перед кафедрой в 2010-е годы, которые совсем недавно наконец удалось преодолеть. Е.В. Рахилина и Ю.А. Ландер (Москва, НИУ ВШЭ) сделали доклад об одном из самых молодых и бурно развивающихся лингвистических образовательных центров — московской Школе лингвистике НИУ ВШЭ. Основное внимание в нем было уделено образовательным инновациям, широко вводимым в Высшей школе экономики, сложностям и успехам в их реализации при обучении лингвистике. Тематически к этому заседанию относился и прозвучавший на следующий день доклад *И.С. Николаева* (Санкт-Петербург, СПбГУ), в котором был представлена современная организация преподавания теоретической и прикладной лингвистики на старейшей кафедре данного профиля — кафедре математической лингвистики Санкт-Петербургского государственного университета.

Заседание «Направление подготовки ФиПЛ и смежные направления» под председательством *Е.В. Рахилиной* началось с доклада заведующего кафедрой ТиПЛ МГУ *С.Г. Татевосова* о том, насколько существующая программа ФиПЛ отвечает актуальным потребностям современной лингвистики. Следующих два доклада дополнили эту картину сведениями о лингвистических направлениях, смежных с ФиПЛ. *М.Б. Рукодельникова* и *Н.Р. Сумбатова* (Москва, РГГУ) рассказали о подготовке лингвистов-востоковедов в Институте лингвистики РГГУ, *И.И. Валуйцева* — о преподавании профиля

«Теоретическая и прикладная лингвистика» направления «Лингвистика» в МГОУ (Москва).

Заседание «Разработка учебных курсов для студентов ФиПЛ», которое вел *С.Г. Татевосов*, было посвящено деталям преподавания отдельных лингвистических курсов. *А.А. Кибрик* сделал доклад о многолетнем опыте преподавания курса «Дискурс» на отделении ФиПЛ МГУ и, в частности, о существенных изменениях, внесенных в курс при переходе на систему бакалавриата и магистратуры. *В.А. Баранов* (Ижевск, ИжГТУ) рассказал о преподавании историко-лингвистических дисциплин в Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова. Доклад был посвящен использованию в учебных целях исторических корпусов. *О.И. Максименко* (МГОУ, Москва) представила идею введения в учебный план дисциплины «Формализованная лингвистика», стирающей грань между прикладными и теоретическими дисциплинами, которые традиционно преподаются раздельно.

Специальное заседание, под председательством А.А. Кретова (Воронеж, ВГУ), было посвящено преподаванию лингвистам математики и прикладных дисциплин. *М.Р. Пентус* и *А.А. Сорокин* (МГУ, Москва) сделали сообщение на тему «Какая математика нужна лингвистам?»: обсуждался вопрос о том, в каком объеме необходимо преподавать лингвистам прикладные математические методы, которые они могут использовать непосредственно в своих исследованиях, и в каком — давать им более глубокие теоретические знания. *С.О. Шереметьева* и *О.И. Бабина* (Челябинск, ЮУрГУ) рассказали об опыте привлечения студентов-лингвистов к участию в проектах по разработке автоматизированных средств обработки естественного языка.

На следующем заседании (председатель *О.А. Турбина*) обсуждалось соотношение дисциплин и разных форм обучения в учебном плане и об организации двухступенчатой системы обучения (бакалавриат + магистратура). *В.П. Селегей* (Москва, РГГУ, МФТИ и фирма ABBYY) сделал сообщение на тему «Каких бакалавров мы ждем в магистратуре по компьютерной лингвистике (опыт преподавателя и работодателя)». Он описал ситуацию, когда в лингвистическую магистратуру поступают бакалавры с очень разным начальным образованием, разными целями и ожиданиями. *А.А. Кретов* (Воронеж, ВГУ) свое выступление посвятил поиску оптимального соотношения между практическим и теоретическим компонентами обучения. В докладе приводились примеры практических заданий (мини-исследований), интегрированных в теоретические лингвистические курсы, которые читаются в Воронежском государственном университете. *З.И. Резанова* (Томск, ТГУ) рассказала об опыте реализации гибкого модульного подхода в рамках магистерских программ «Ког-

нитивная лингвистика» и «Компьютерная лингвистика» в Томском государственном университете.

Последнее заседание конференции под председательством *А.А. Кибрика* (Москва, МГУ) развивало тему, уже затронутую во многих докладах предыдущих заседаний. Оно было специально посвящено такой форме обучения лингвистике, как участие студентов в научных проектах: и учебных, специально организованных, и серьезных, проводимых старшими коллегами. *А.А. Бонч-Осмоловская* (Москва, НИУ ВШЭ) выступила с докладом о реализации проектного метода обучения компьютерной лингвистике в Школе лингвистики НИУ ВШЭ. *О.Ю. Крючкова* (Саратов, СГУ) рассказала об обучении студентов Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского технологиям корпусной лингвистики. Основу обучения составляет прикладная работа по подготовке материалов для создаваемого в СГУ Саратовского диалектного корпуса. *К.И. Белоусов*, *Е.В. Ерофеева*, *В.Б. Кондаков* (Пермь, ПГУ) представили созданную в Пермском государственном университете информационную систему «Семограф» и рассказали о том, как она используется в преподавании лингвистики: работая с информационной системой, студенты в рамках разных учебных курсов проводят собственные мини-исследования. В докладе *О.В. Нагель* (Томск, ТГУ) обсуждались стратегии привлечения студентов в международные научные проекты, реализуемые в рамках магистерской программы «Когнитивная лингвистика» в Томском государственном университете.

В один из дней конференции был проведен круглый стол об учебных лингвистических экспедициях (ведущий *С.С. Сай*). Целями круглого стола был обмен опытом между представителями разных «экспедиционных школ» и передача опыта коллегам, которые еще только планируют организацию экспедиций для студентов.

В рамках конференции прошло специально приуроченное к ней общее собрание членов Ассоциации преподавателей и исследователей в области лингвистики (АПИФиПЛ) и желающих вступить в ассоциацию. В ассоциацию, в частности, вступили многие из участников конференции. Одним из решений, принятых в ходе собрания, было решение сделать такого рода научно-практические конференции регулярными (не реже, чем раз в три года).

Конференция завершилась неформальной дискуссией участников и слушателей о методах преподавания лингвистики в разных университетах России.

К началу конференции был подготовлен электронный сборник материалов, который будет выложен на сайте Ассоциации преподавателей и исследователей в области фундаментальной и прикладной лингвистики (АПИФИПЛ) по адресу apifipl.ru.

Natalia M. Stoynova

THE FIRST RUSSIAN CONFERENCE ON TEACHING FUNDAMENTAL AND APPLIED LINGUISTICS

Federal State Budgetary Scientific Institution V.V. Vinogradov
Russian Language Institute of RAS
18/2, Volkhonka str., Moscow, 119019

The philological faculty of Moscow State University has organized the first conference on the teaching fundamental and applied linguistics. Such questions as developing new courses, non-linguistic disciplines for linguists, the two-stage Bachelor/Masters program, the integration of graduate students into the professional occupation, different forms of student practice and many others were discussed.

Key words: teaching linguistics; fundamental linguistics; applied linguistics.

About the author: *Natalia M. Stoynova* — PhD, research fellow of the department of Corpus Linguistics, V.V. Vinogradov Russian Language Institute (e-mail: stoynova@yandex.ru).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В РЕДАКЦИЮ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 9. ФИЛОЛОГИЯ»

1. Рукописи следует представлять в формате .doc (Word 1997–2003) или .docx

2. Рекомендуемый объем предоставляемой к публикации статьи — для кандидатов и докторов наук — до 25 000 знаков с пробелами, для аспирантов и соискателей — до 20 000 знаков с пробелами с учетом двух списков литературы (см. пункты 7—8).

3. Шрифт Times New Roman. Размер шрифта: 12 пунктов в основном тексте, 10 пунктов в сносках. Междустрочный интервал: полуторный. Название статьи: 16 пунктов полужирным по центру страницы. Без автоматической расстановки переносов.

4. Текст рукописи предоставляется в виде единого файла. Рукопись условно делится на два блока: 1) блок русского текста; 2) блок английского текста.

БЛОК РУССКОГО ТЕКСТА (по порядку):

- фамилия и инициалы автора (либо авторов через запятую) — сначала указаны инициалы (без пробела между инициалами), затем фамилия;
- название статьи;
- место работы/учебы автора (полное официальное название организации, город, страна);
- текст аннотации/резюме (объемом не менее 200 слов); аннотация должна отражать основное содержание статьи, ее структуру и выводы;
- ключевые слова (до 20 слов, с поясняющих слов «Ключевые слова:...» через точку с запятой);
- основной текст статьи (с подрубриками, правила оформления текста см. ниже);
- список литературы (правила см. ниже);
- сведения об авторах (с подзаголовком «Сведения об авторах.»/«Сведения об авторе.» о каждом авторе: имя и отчество полностью, фамилия; должность, регалии, электронный адрес. Мобильный телефон автора или одного из соавторов исключительно для выпускающего редактора).

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА

- **Внутритекстовые ссылки** — в **квадратных скобках** фамилия автора/авторов (если ссылка идет на сборник статей, то указывается его полное название), год издания и, после двоеточия, номера страниц, если необходимо.

Пример:

В результате данного эксперимента [Pennebaker, 2011: 143–144] ученые установили, что придумывать истории так же полезно, как и описывать свой собственный травматический опыт, — это положительно сказывается на здоровье.

- **Рисунки, таблицы, схемы**, графики и пр. должны быть обязательно пронумерованы, и помещаться в печатное поле страницы.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

Список упорядочивается по алфавиту, вначале книги на русском языке, потом — на иностранных языках в порядке английского алфавита. Если в списке литературы оказывается несколько работ одного автора, изданных в один год, то к датам их издания добавляется буквенный индекс (2001a, 2001b, etc.); аналогично с внутритекстовыми ссылками.

Для **статьи в журнале или сборнике**:

ФИО автора / авторов **(не более пяти** ФИО; сначала фамилия, потом инициалы; без пробелов между инициалами, без запятой между фамилией и инициалами; если авторов более пяти — убрать последующие и после последних инициалов через пробел дать пояснение «et. al.»)). Название статьи // Название сборника/журнала. Год издания. Номер. Страницы.

Например:

Гуревич Д.Л. Лексические бразилизмы и их типы // Древняя и новая романия. 2016. № 1 (17). С. 45-56.

Кобозева И.М., *Лауфер Н.И.* Интерпретирующие речевые акты // Логический анализ языка. Язык речевых действий / Под ред. Н.Д. Арутюнова, Н.К. Рябцева. М., 1994. С. 63-71.

Для **книги**:

ФИО автора / авторов (так же, как для статьи). Название книги. Место издания, год издания. Например:

Rossari C. Les opérations de reformulation. Berne, 1991.

Для **коллективной монографии и других научных изданий с большим количеством авторов:**

Название издания / Под ред. И.О. Фамилия. Место издания, год издания. Например;

Русская грамматика / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1980.

Для **эл. ресурсов:**

ссылки на электронные ресурсы оформляются по аналогии с предыдущими разделами, только в конце добавляется точная ссылка на интернет-ресурс и дата обращения к нему. Например:

Пример:

Dabla-Norris E., *Minoiu C.*, *Zanna L.-F.* Business cycle fluctuations, large shocks, and development aid new evidence. [Washington, D. C.], International Monetary Fund, 2010. URL: http://site.ebrary.com/id/10437418 (accessed: 20.06.2014).

БЛОК АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТА (по порядку):

- автор/авторы (транслитерированные инициалы и фамилии через запятую, без пробела между инициалами в порядке: A.A. Ivanov) [правила транслитерации те же, что для списка литературы (см. ниже), за исключением тех случаев, когда автор настаивает на транслитерации своей фамилии не по ГОСТ в связи с тем, что его фамилия уже присутствует в базах данных в его варианте транслитерации];

- название статьи в переводе на английский (транслитерировать не нужно);
- аннотация на английском [по сути, это краткое изложение статьи, которое должно быть представлять собой самостоятельный текст на правильном английском языке, а не быть калькой русского варианта. Аннотация должна включать цель и задачи; материал и методы, результаты, выводы. Текст аннотации дается без приведения статистических данных (цифровых), без библиографических ссылок, по возможности без специальных аббревиатур (если есть, то единожды расшифровать). Объем аннотации не менее 200 и не более 300 **слов**];
- ключевые слова на английском (с поясняющих слов «Key words:...» через точку с запятой, каждое слово/фраза — со строчной буквы), которые должны отражать содержание статьи, включать общепринятые в дисциплине термины и другие важные коррелирующие с содержанием работы понятия;
- список литературы (References), который является транслитерированным оригиналом списка литературы из статьи (транслитерируются все русские слова в «романский» алфавит, см. ниже);
- сведения об авторах (с подзаголовка «About the authors.»/«About the author.» о каждом авторе: имя и отчество полностью, фамилия; должность, регалии, контактная информация).

Транслитерированный список литературы (References) включает все ссылки из «русского» списка в порядке оригинала (структура списка сохраняется — она равна той, что в списке литературы для русской печатной версии), но все русские буквы транслитерируются (см. ниже). Список включает также все ссылки на иностранные источники.

Библиографические ссылки в списке для английского блока оформлять по схеме:

- автор/авторы (**не более пяти** фамилий; сначала фамилия, потом инициалы; без пробелов между инициалами, без запятой между фамилией и инициалами; если авторов более пяти — убрать последующие и после последних инициалов через пробел дать пояснение «et al.»);
- название статьи, если оно русское, давать в транслитерированном виде и далее в квадратных скобках без разделения знаками препинания — название статьи в переводе на английский язык;
- далее через точку (**не** через две косые!) курсивом с прописной буквы — название журнала (транслитерированное и за ним в квадратных скобках с прописной буквы — переводное, как его определяет издатель журнала);
- далее через запятую — год, выпуск (том), номер (если есть и то, и другое, а номер/выпуск равен тому и дается в скобках, то перед скобками — пробел), диапазон страниц с уточнением «pp.»;
- в конце записи, если описано русскоязычное издание, после точки пояснить в скобках: «(In Russ.).»;
- если есть doi, то после точки указать doi:

Avtor A.B., Avtor V.G. Nazvanie stat'i [Перевод названия статьи]. *Nazvanie zhurnala*, год, выпуск, номер, pp. 00-00. (In Russ.). doi: 0000.

Avtor A.B., Avtor V.G., Avtor D.E., Avtor Zh. Z., Avtor I.K. et al. Nazvanie stat'i [Перевод названия статьи]. *Nazvanie zhurnala*, год, выпуск, номер, pp. 00-00. (In Russ.).

Avtor A.B., Avtor V.G., Avtor D.E. Nazvanie stat'i [Перевод названия статьи]. *Nazvanie zhurnala*, год, выпуск (том), номер, pp. 00-00. (In Russ.).

Если не статья, а **монография/книга**, то:

Автор, затем курсивом — транслитерированное название книги и в квадратных скобках без курсива — переводное название книги. Далее после точки — город, издательство (как его заявляет издатель), а если транслитерированное название в себе не несет указания, что это название издательства, например «Недра», то добавить «Publ.»), год. Далее после точки — количество страниц с уточнением «p.»:

Avtor A.B., Avtor V.G. Nazvanie monografii ili knigi [Перевод названия монографии или книги]. Название города на английском, *Nazvanie izdatelstva Publ*, год. 00 p.

Если другой тип издания, см.: Кириллова, О.В. Редакционная подготовка научных журналов по международным стандартам. Рекомендации эксперта БД Scopus. Ч. 1. М., 2013. С. 58–62. URL: http://elsevierscience.ru/files/kirillova_editorial.pdf

Статьи и книги, выпущенные на английском языке, в смысле пунктуации оформляются так же (где нужно, точки и запятые между частями библиографического описания, курсивом обозначается название журнала/сборника, а если непериодическое издание, то курсивом — название книги/монографии).

Ссылки на электронные ресурсы оформляются по аналогии с предыдущими разделами, только в конце добавляется точная ссылка на интернет-ресурс и дата обращения к нему.

Пример:

Dabla-Norris E., Minoiu C., Zanna L.-F. 2010. *Business cycle fluctuations*, *large shocks*, *and development aid new evidence.* [Washington, D. C.], International Monetary Fund. URL: http://site.ebrary.com/id/10437418 (accessed: 20.06.2014).

Frot E. 2009. *Aid and the financial crisis*: *Shall we expect development aid to fall?* Stockholm Institute of Transition Economics, Stockholm School of Economics. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1402788 (accessed: 28.05.2013).

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
на право использования научного произведения
в журнале «Вестник Московского университета.
Серия 9. Филология»

г. Москва

Автор (соавторы): _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____ ,
(ф. и. о. автора и всех соавторов)

именуемый(е) в дальнейшем по отдельности или совместно «Автор» или «Соавторы», с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице директора Издательского Дома (Типографии) МГУ Вераксы Александра Николаевича, действующего на основании доверенности №195-17/010-50 от 20.09.2017 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Автор (Соавторы) с момента вступления настоящего Договора в силу, предоставляет Издателю, на безвозмездной основе, на срок действия авторского права, предусмотренного действующим законодательством РФ, исключительную лицензию на использование созданного Автором (Соавторами) научного произведения, далее — Статьи, с названием _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____ ,
(название статьи)

одобренной и принятой к опубликованию на русском языке в журнале с названием **«Вестник Московского университета. Серия 9. Филология»**, именуемом в дальнейшем «Журнал», в пределах, пред-

усмотренных настоящим Договором, без сохранения за Автором (Соавторами) права выдачи аналогичных лицензий другим лицам.

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ и настоящим Договором, под использованием Статьи понимается:

воспроизведение Статьи и/или её отдельной части на русском языке в любой материальной форме, в том числе на бумажном и электронном носителе в виде отдельного произведения и/или в составе Журнала (-ов), и/или в базах данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению Издателя;

распространение Статьи и/или её отдельной части на любом носителе на русском языке по всему миру в виде отдельного произведения и/или в составе Журнала (-ов), и/или в базах данных Издателя и/или иных лиц, по усмотрению Издателя;

доведение Статьи или ее отдельной части до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к Статье из любого места и в любое время по собственному выбору, в том числе через Интернет

сублицензирование (выдача разрешений на использование Статьи и/или её отдельных частей) полученных по настоящему Договору прав третьим лицам, с уведомлением Авторов (Соавторов) об этом, путем размещения соответствующей информации на сайте Издателя.

1.3. Иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая патентные права на любые процессы, способы или методы и прочее, описанные Автором (Соавторами) в Статье, а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором (Соавторами), иными правообладателями.

1.4. Предоставление прав по настоящему Договору включает право на обработку формы предоставления Статьи для ее использования во взаимодействии с компьютерными программами и системами (базами данных), публикации и распространения в машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска (базы данных).

2. Автор (Соавторы) гарантирует, что:

2.1. Автор (Соавторы) является (-ются) действительным (-и) правообладателем (-лями) исключительных прав на Статью;

2.2. Автор (Соавторы) не передавали ранее и не будут передавать в будущем третьим лицам Права, предоставленные Издателю по настоящему Договору;

2.3. Статья является оригинальным произведением, не представлена на рассмотрение в другие издания, и не была опубликована ранее в других печатных и/или электронных изданиях (кроме публикации препринта (рукописи) Статьи на веб-сайте Автора (Соавторов) и/или в архиве (-ах) препринтов, например — таких как

arxiv.org), а также что Статья не является «заказным» или служебным произведением;

2.4. Статья содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и источники опубликования заимствованных материалов;

2.5. Автором (Соавторами) получены все необходимые разрешения на используемые в Статье результаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем (-лями) которых Автор (Соавторы) не является (-ются);

2.6. Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в соответствие с действующими законодательными актами РФ и ее опубликование и/или распространение Издателем не приведут к разглашению секретной (конфиденциальной) информации (включая государственную, служебную тайну).

3. Права и обязанности Автора (Соавторов):

3.1. Автор (Соавторы) обязуется (-ются):

3.1.1. Представить рукопись Статьи в редакцию Журнала в соответствии с Правилами для авторов, опубликованными на сайте Издателя или редакции Журнала.

3.1.2. В процессе подготовки Статьи к опубликованию:

соблюдать требования Издателя и/или редакции и/или редколлегии Журнала;

вносить в текст Статьи исправления, указанные рецензентами и принятые Редколлегией Журнала, и/или, при необходимости, по требованию редакции и/или редколлегии Журнала доработать Статью в сроки, согласованные дополнительно;

читать корректуру (-ы) Статьи в сроки, предусмотренные Издателем;

вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с необходимостью исправления допущенных в оригинале ошибок.

3.1.3. Не публиковать Статью в других печатных и/или электронных изданиях на русском языке и не распространять её без согласия Издателя;

3.1.4. Использовать электронную копию Статьи, подготовленную Издателем и переданную Автору (Соавторам), исключительно в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Автор (Соавторы) вправе:

3.2.1. Пользоваться печатными или электронными препринтами неизданной рукописи Статьи в форме и содержании, принятыми редакцией Журнала для опубликования. Такие препринты могут быть размещены в виде электронных файлов на веб-сайте Автора

(Соавторов) и/или, на защищенном внешнем веб-сайте работодателя Автора (Соавторов), и/или в архиве препринтов (например, arxiv.org), но не в коммерческих целях. При этом Автор (Соавторы) должен (-ы):

включить в препринт следующее предупреждение: «Это препринт Статьи, принятой для опубликования в (название Журнала, (С), авторское право (год), владелец авторского правам, указанный в Журнале)»;

обеспечить электронную ссылку на сайты Издателя, имеющие в адресной строке фрагмент «msu».

3.2.2. Безвозмездно фотокопировать или передавать коллегам копию напечатанной Статьи целиком или частично для их личного или профессионального использования, для продвижения академических или научных исследований или для информационных целей.

3.2.3. Использовать отдельные материалы из опубликованной Статьи в написанной Автором (Соавторами) книге.

3.2.4. Использовать отдельные рисунки и/или таблицы и/или отрывки текста из Статьи в собственных целях обучения или для включения их в другую работу, или для представления в электронном формате во внутренней (защищенной) компьютерной сети или на внешнем веб-сайте Автора (Соавторов) или его работодателя.

3.2.5. Включать материалы Статьи в учебные сборники для использования в аудитории, для безвозмездного распространения материалов студентам Автора (Соавторов) или сохранять материалы в электронном формате на локальном сервере для доступа студентов, как к части курса обучения, а также для внутренних обучающих программ в учреждении работодателя, но не для систематического распространения или свободного доступа.

4. Издатель обязуется:

4.1. За свой счет обеспечить рецензирование Статьи, научное, литературное и художественно-техническое редактирование, изготовление и/или обработку иллюстративного материала, изготовление бумажного и электронного оригинала-макета, воспроизведение и распространение Статьи в бумажной и/или электронной форме в соответствии с условиями настоящего Договора и графиком выхода Журнала.

4.2. Согласовывать с Автором (Соавторами) вносимую в Статью правку с учетом условий п.п. 2 и 3 настоящего Договора;

4.3. Предоставить Автору (Соавторам) корректуру верстки Статьи и внести обоснованную правку Автора (Соавторов).

4.4. Автору (Соавторам) PDF файл (электронный оттиск) Статьи после её опубликования при условии предоставления Автором (Соавторами) электронных адресов.

5. Издатель гарантирует:

неприкосновенность Статьи и защиту её от искажений;

международный стандарт полиграфических работ;

соблюдение личных неимущественных и иных прав Авторов (Соавторов).

6. Издатель имеет право:

6.1. При любом последующем разрешенном использовании Автором (Соавторами) и/или иными лицами Статьи (в том числе любой ее отдельной части, фрагмента), требовать от указанных лиц указания ссылки на Журнал, Издателя или иного правообладателя Журнала, Автора (Соавторов) или иных обладателей авторских прав, название Статьи, том, номер Журнала и год опубликования, указанных в/на Журнале.

6.2. По своему усмотрению размещать в СМИ и других информационных источниках (в т. ч. в Интернете) предварительную и/или рекламную информацию о предстоящей публикации Статьи.

6.3. Устанавливать правила (условия) приема и опубликования материалов в Журнале. Редколлегии Журнала принадлежит исключительное право отбора и/или отклонения материалов, направляемых в редакцию Журнала с целью их опубликования. Материальный носитель рукописи Статьи, направляемой Автором (Соавторами) в редакцию Журнала, возврату Издателем не подлежит. Редакция Журнала в переписку с Автором (Соавторами) по вопросам (мотивам) отклонения Статьи Редколлегией Журнала не вступает, рецензии не высылает.

6.4. Использовать Статью по своему усмотрению любыми способами, в пределах настоящего Договора.

7. Другие условия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу в случае и с момента вынесения Редколлегией Журнала решения о принятии Статьи к опубликованию и действует в течение срока, предусмотренного в п. 1 настоящего Договора. Если Статья не принимается к публикации или Автор (Соавтор) на стадии принятия решения Редколлегией отозвал рукопись, настоящий Договор утрачивает силу.

7.2. В соответствии со ст. 1269 ГК РФ Автор (Соавторы) имеют право отказаться от ранее принятого решения об обнародовании (воспроизведении) Статьи (право на отзыв) при условии возмещения Издателю причиненных таким решение убытков. Если Статья опубликована, Автор (Соавторы) также обязаны публично оповестить о ее отзыве. При этом Автор (Соавторы) вправе изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры Статьи, Журнала, возместив Издателю и третьим лицам (подписчикам) причиненные этим убытки.

7.3. В случае предъявления третьими лицами к Издателю требований (претензий, исков), связанных с нарушением исключительных авторских и/или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц при использовании Статьи Издателем, или в связи с заключением Автором (Соавтором) настоящего Договора, Автор (Соавторы) обязуется (-ются):

немедленно, после получения уведомления Издателя, приять меры к урегулированию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на стороне Издателя и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Издателя из числа ответчиков;

возместить Издателю понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, выплаченные Издателем третьему лицу суммы за нарушение исключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности, а также иные убытки, понесенные Издателем в связи с несоблюдением Автором (Соавторами) гарантий, предоставленных им (-и) по настоящему Договору.

7.4. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 ГК РФ, допускают и признают воспроизведение текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре и иных документах, связанных с его заключением, с помощью использования средств механического, электронного или иного копирования собственноручной подписи и текста Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны или оригинальный документ. Факсимильные (электронные) копии документов действительны и имеют равную юридическую силу наряду с подлинными.

7.5. В соответствии со ст. 428 ГК РФ настоящий Договор является договором присоединения (офертой), условия которого определяются Издателем, и может быть подписан другой стороной не иначе как путем присоединения к настоящему Договору в целом. Направление Автором (Соавторами) рукописи Статьи для опубликования в Журнале, считается акцептом, т.е. согласием Авторов (Соавторов) на опубликование Статьи в соответствии с условиями настоящего Договора и Правилами для авторов, с обязательным заключением Сторонами настоящего Договора на указанных условиях.

7.6. Все иное, прямо не урегулированное настоящим Договором, подлежит урегулированию Сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами (условиями) приема и опубликования материалов в Журнале (Правилами для авторов), действующими у Издателя на момент отправки Статьи в редакцию Журнала.

8. Реквизиты и Подписи Сторон:

Автор (Соавторы) (заполняется по каждому соавтору)**:**

Автор для переписки:
Фамилия: _____
Имя: _____
Отчество: _____
Паспорт №: _____
Выдан (кем, когда): _____
_____
Адрес (место регистрации и адрес для переписки):
_____
_____
Контактный телефон: _____
e-mail: _____

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие Издателю на сбор, хранение и обработку моих персональных данных, приведенных выше.

_____ _____
дата подпись

Автор (Соавтор):
Фамилия: _____
Имя: _____
Отчество: _____
Паспорт №: _____
Выдан (кем, когда): _____
_____
Адрес (место регистрации и адрес для переписки):
_____
_____
Контактный телефон: _____
e-mail: _____

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю своё согласие Издателю на сбор, хранение и обработку моих персональных данных, приведенных выше.

_____ _____
дата подпись

Издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

Директор Издательского Дома
(Типографии) МГУ _____ А.Н. Веракса

Редколлегия Журнала «Вестник Московского университета.
Серия 9. Филология»
Принято к публикации в № ____ за 20___ г.
(заполняется сотрудником редакции Журнала)

Главный редактор,
Декан филологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
профессор

«____» 20 г. _____ М. Л. Ремнева